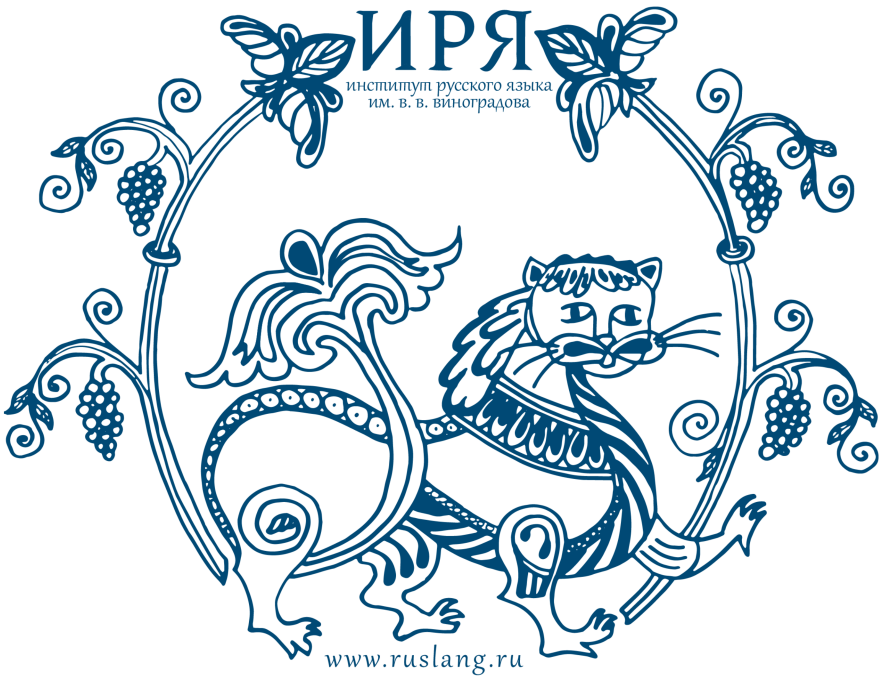
ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

1981

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«НАУКА»


ИРЯ
институт русского языка
им. в. в. виноградова
www.ruslang.ru

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА

ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 1981

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА 1983

Сборник состоит из трех разделов. Первый раздел посвящен проблемам обработки информации, исследованию категорий и систем моделирования. Основное содержание второго раздела — вопросы грамматики и словообразования. Описывается типология словообразовательных гнезд, рассматривается грамматический статус категории числа, проблемы изучения разговорной речи, грамматическая форма сложного предложения. В третьем разделе представлены работы по изучению структуры художественного языка: метра, звуковой организации, грамматическим и семантическим особенностям русского стиха, приемам сопоставительного анализа стихотворных текстов.

Ответственный редактор

доктор филологических наук

В. П. ГРИГОРЬЕВ

П $\frac{4602000000\text{-}140}{042\,(02)\text{-}83}$ 380-83—II

© Издательство «Наука», 1983 г.

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОВ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Н. Д. АРУТЮНОВА

ТОЖДЕСТВО ИЛИ ПОДОБИЕ?

1

Тождество или подобие? Есть ли нужда ставить этот вопрос применительно к категориям окружающего нас мира? Ведь тождество и подобие относятся не только к различным, но и к противопоставленным ситуациям действительности: человек остается самим собой, хотя в разные периоды земного странствия его облик меняется до неузнаваемости; в то же время он никогда не станет тождественным своему двойнику, даже если они всю жизнь походили друг на друга как две капли воды. Но и две капли воды не составляют тождества, поскольку тождественным в самом прямом смысле является только «то, что по числу одно» [1]. Один и тот же объект не может находиться в разных местах одновременно, сходные же предметы, напротив, не могут совпасть в одном пространстве, и только это обстоятельство с абсолютной достоверностью разрешает ситуации qui pro quo и создает алиби, если quo преступен.

Сходство предполагает нетождественность, тождество часто устанавливается вопреки несхожести. Вместе с тем вердикт о сходстве выносится на основе впечатлений, и потому сходство может быть обманчивым, а тождество входит в сферу точных (фактических) знаний. Первое субъективно, о нем можно спорить, второе объективно; оно не подлежит обсуждению и не нуждается в обосновании. Утверждения тождества, даже если они явились итогом эмпирического открытия, составляют необходимую истину [2].

Подобие может быть преходящим, тождество только константным.

Даже сходство между собой одних и тех же объектов колеблется: иногда они могут быть почти неразличимы, в другие же времена казаться очень разными. Между тем тождество не зависит от течения времени.

Сходство градуировано, тождество нет. Можно говорить о степени сходства (очень похож, мало похож), но не о степени тождества. Понятие тождества не разделено на градусы. Оно консти-

---

[1] *Аристотель.* Сочинения, т. 2. М., 1978, с. 495.

[2] *Kripke S.* Identity and necessity. — In: Naming, necessity and natural kinds. Ithaca, 1977.

туировано антонимической парой (тождественное — разное), т. е. дизъюнкцией (да ∨ нет). Сходство может быть не только установлено (впрочем не столь достоверно, как тождество), но и измерено. Тождество же допускает только констатацию. Сходство процессуально (скалярно), тождество — фактуально. Сходство может нарастать и уменьшаться, тождество неподвижно.

Итак, сходство отлагается на шкале, имеющей начало и конец: начало образовано отсутствием сходства, его нулем, понятием «ничего общего», конец упирается в понятие одинакового, неразличимого, зависимое от принятого интервала абстракции. Подобие, таким образом, может быть соотнесено с двумя парами альтернативных ситуаций, т. е. с наличием или отсутствием подобия (похожи — непохожи) и с наличием или отсутствием различий (одинаковы — неодинаковы), и некоторым (в принципе неограниченным) числом скалярных ситуаций, укладывающихся в представление о схожести.

Тождество не образует шкалы: между тождественностью и нетождественностью нет переходных ступеней. Оно соотносится только с двумя ситуациями действительности: тождественностью объекта самому себе и отсутствием тождества, то есть существованием одного или двух объектов, соотнесенных с данным языковым выражением. Проблема тождества предметов всецело принадлежит онтологии. Понятие тождества, подобно тени, постоянно сопутствует сущностям: No entity without identity 'Нет сущности вне понятия тождества'. Тождество устанавливается применением процедуры индивидуации, позволяющей отличить один объект от другого [3].

Тождество есть категория субстанции sub specie определенной формы (класса), оно устанавливается по отношению к индивидным объектам (реже, классам). Сходство создается признаками субстанции и устанавливается между разными объектами, обладающими бо́льшим или меньшим количеством общих черт (похож чем, какими чертами?). Обыденное сходство, интересующее людей (*Брат и сестра похожи друг на друга, Бухарест слегка напоминает Париж*), касается в основном предметов одного класса, а поэтическое уподобление часто сближает объекты разных категорий (*Горы похожи на белых слонов*). Тождество не может быть установлено между предметами, принадлежащими разным классам, и это делает его причастным к области существенных атрибутов субстанции. Различие в родовых признаках при единстве субстанции препятствует идентификации. Дерево (и даже древесина) не идентично полученной из него целлюлозе и изделиям из нее; кусок глины не тождествен вылепленному из него горшку, а мрамор — высеченному из него бюсту полководца. Тождество распадается, едва дело доходит до изменения формы существования

[3] *Castañeda H. P.* Identity and sameness. — Philosophia, vol. 5, 1975, N 1—2.

субстанции (родовых признаков), и только метаморфозы живых существ, происходящие в «невозможных мирах», преодолевают распад единством духа.

Отношения тождества могут соединять только кореферентные имена, обозначающие либо одного и того же индивида (*Межуев и есть зять Ноздрева*), либо один и тот же класс объектов (*Амидопирин — это и есть пирамидон*, *Тутовое дерево — это то же, что шелковица*). Отрицание тождества исключает кореферентность, но в то же время требует, чтобы референция «разъединяемых» имен была однотипна.

Отношения подобия не предполагают с необходимостью, чтобы соединяемые имя языковые выражения были однотипны по своей референции. Сходство может быть установлено между индивидами (*Катя — вылитая мать*), между индивидным объектом и типичным представителем (моделью, стереотипом) другого класса объектов (*Эта гора похожа на хамелеона*), между индивидом одного подкласса и типичным представителем другого вида, входящего в тот же широкий класс объектов (*Петя похож на испанца*), между разными видами или классами объектов (*Туя похожа на кипарис*, *Мельхиор напоминает серебро*, *Айва по виду сходна с яблоком*). В случае разнотипности сравниваемых объектов первый терм (уподобляемое, исходный пункт отношений подобия) обычно обладает определенной референцией, а второй — неопределенной: он может указывать на любого представителя того или другого класса объектов. Исключение составляет экспликативное уподобление (*Кабачки там выросли такие маленькие, как вот этот огурец*).

Итак, отношения подобия могут устанавливаться между объектами одной категории и между представителями разных классов. В первом случае констатация сходства не создает образа, во втором случае говорят об образном сравнении. (Образ в нашем понимании, основывается на нарушении границ естественных родов [4]). Отношения тождества, не преступающие категориальных границ, не создают образных представлений.

---

[4] В связи с пониманием образа как сравнения, нарушающего категориальные границы, возникает вопрос о сравнениях конкретных объектов с абстрактными категориями. Ср. — Вы давно видели этого деспота? — спросила она [Комиссаржевская], запихивая письмо обратно в конверт. — Что он — все такой же «воскресенье»? Она, как и Наташа Ростова, любила неожиданные сравнения: «Мережковский скучен, как понедельник»; Горький — «нечетный и ни на что не делится»; Белому она сказала: «Вы синий и невнимательный» (Н. Серебров).

Решение этого вопроса зависит от ряда факторов, в частности, от семантического типа абстрактных понятий (их элементарности или комплексности) и тех чувственных ассоциаций, которые они стимулируют. Сравнение человека с воскресеньем (праздником) и понедельником (началом будней), вероятно, можно считать образным, «нечетность» Горького повлечет за собой образ у одних слушателей, и не вызовет образных ассоциаций у других (видимо, *нечетность* будет ими интерпретирована как 'непарность'

Уподобление может нарушать границы естественных родов, но оно обычно придерживается границ общности, указывая на те признаки, которые послужили основанием сравнения. Все предикаты подобия открывают для этого подчиненную синтаксическую позицию: похож чем? сходен в каком отношении? напоминает какими чертами? подобен чем (благодаря чему)? и т. п. В предложениях сравнения общий признак ставится в доминирующую позицию предиката, образуя промежуточное звено между именами сопоставляемых объектов (*Бедняга стал к р а с н как рак*).

Предикаты тождества не имеют распространителей. Нельзя спросить о том, чем идентичен объект самому себе. Можно лишь задать вопрос о том, как была произведена идентификация: *Почему ты думаешь, что цыганочка Пресьоса и есть похищенная в младенчестве дочь коррехидора? Почему Л. Толстой думал, что старец Федор Кузмич в действительности был не кто другой как царь Александр I?* Такие вопросы относятся не к диктуму, образуемому отношением тождества, а к модусу.

Отношения сходства, если речь идет не о двух индивидах, входящих в один класс, асимметричны. Их асимметрия проявляет себя в логическом, синтаксическом и коммуникативном аспектах. Из того, что человек бывает похож своими поведенческими навыками на волка, не вытекает, что волк похож на человека. Можно сказать о двух однородных одушевленных объектах *Сестры похожи друг на друга*, но нельзя сказать *Человек и волк* (*люди и волки*) *похожи друг на друга*. Во всех тех случаях, когда отношения подобия устанавливаются между различными по своей референции именами, они не допускают инверсии. Ср.: *Петя похож на испанца* и **Испанец похож на Петю, Эта гора похожа на хамелеона* и **Хамелеон похож на эту гору*. Коммуникативная организация высказывания не позволяет инвертировать имена с однотипной референцией, ср. *Катя — вылитая мать* и **Мать — вылитая Катя*. Однако в этом последнем случае инверсия может не нарушать грамматической правильности предложения, ср. *Айва по виду сходна с яблоком* и *Яблоко по виду сходно с айвой*.

Отношения тождества симметричны в логическом и синтаксическом аспектах. Из того факта, что Москва — столица СССР, вытекает, что столицей СССР является Москва. Предложение тождества допускает синтаксическую инверсию, и только коммуникативная направленность высказывания может ей воспрепятствовать. Если адресат не знает, какой город является столицей СССР, то имя города должно занять место ремы (Столица СССР — Москва); если адресат не знает, что за город Москва, то в позицию ремы выдвинется дескрипция *столица СССР* (Москва — столица СССР).

или как 'неуравновешенность'). Что же касается «синевы» Белого, то это определение ставит вопрос о минимуме чувственно воспринимаемых признаков, достаточных для создания образа.

Итак, отношения тождества и подобия различаются между собой по ряду признаков. Отношения тождества объективны, фактуальны, неградуированы (статичны), константны, соединяют кореферентные имена, симметричны, не создают образа, не допускают синтаксического распространения. Отношения подобия субъективны, градуированы (динамичны), могут быть как константными, так и преходящими, могут соединять имена с разнотипной референцией, асимметричны, могут создавать образные представления, открывают зависимые синтаксические позиции, замещаемые признаковыми словами. Из этого сопоставления видно, что отношения подобия более экстенсивны: они допускают альтернирование ряда черт. Отношения же тождества более жестко детерминированы.

2

Сравнительный анализ понятий тождества и подобия важен для понимания природы тропов и других стилистических приемов. Он дает возможность выявить и осознать тот факт, что целый ряд так называемых «фигур речи» создается скрещиванием, гибридизацией указанных концептов. К числу гибридных тропов должна быть прежде всего отнесена метафора. Метафора создается тем, что подобию придается вид тождества. Переход от сравнения к метафоре есть в то же время переход от градуированного (скалярного) понятия к фактуальному. Метафора, подобно тождеству, только констатируется, она исключает измерение. Интенсификация метафоры, как и любого другого фактуального сообщения, достигается подтверждением ее истинности (*Он в самом деле заяц, действительно заяц*). Сравнение-уподобление подвижно и измеримо, метафора статична; она отражает остановившийся, лишенный внутренней динамики мир — мир сущностей. Метафора поэтому стремится уловить константные свойства объектов, «их душу», которую она, благодаря своей образности, делает доступной чувственному восприятию. Подобно тождеству, метафора не нуждается в экспликации признаков, послуживших основанием для сближения предметов. Можно сказать *Он сходен с ланью быстротой и легкостью бега*; *Он быстр и легок, как лань*; *Он подобен лани в быстроте бега*, но нельзя синтаксически развернуть метафору в предложения типа* *Он — лань быстротой бега* (*по быстроте бега, в быстроте бега, благодаря быстроте бега, по признаку быстроты бега*).

Отметим попутно, что неспособность к синтаксическому распространению отличает метафору и от метаморфозы — другого тропа, основывающегося на отношениях тождества, например: Хлестаков. *Как бы я желал, сударыня, быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную шейку* (Гоголь). Метафора бесцельна; она порождена игрой воображения; метаморфоза претендует на действительные преобразования, осуществляемые

с определенной целью. И тем не менее метаморфоза (она обычно заключена в модальную рамку ирреальности), как и метафора, выражает уподобление: *Я хотел бы быть платочком, чтобы обнимать вашу шейку = Я хотел бы обнимать вашу шейку подобно тому, как ее обнимает ваш платок* (подобно вашему платку). Однако, если суть метафоры состоит в «подавлении» указания на общий признак, метаморфоза сопровождается его экспликацией в форме обстоятельства цели.

* * *

Итак, предложения с метафорическим предикатом сходны с утверждениями тождества тем, что содержат фактуальное суждение (1), указывают на неградуированный (статичный) признак (2), дают константную характеристику предмета (3), не допускают синтаксического распространения признаковыми словами (4). Эти свойства помогают метафоре принять на себя номинативную функцию, т. е. стать постоянным именем той или другой категории предметов.

В отличие от тождества метафора субъективна (интуитивна). Она не имеет под собой фактических оснований (хотя и констатируется, как если бы она была фактом). Истинность метафорически выраженного суждения не может быть логически установлена, поскольку оно входит в «невидимого мира создаваемый язык» (если перефразировать строку из стихотворения барона Розена «Пастуший рог в Петербурге»: «Ты, несозданного мира существующий язык»). Но наиболее резко метафора противостоит тождеству своей образностью. Поскольку образность, как отмечалось, рождается из сопоставления объектов, принадлежащих разным классам, предикатная метафора не может быть кореферентна своему субъекту. Это сближает метафорический предикат с предикатом подобия: ср. *Петя — медведь* и *Петя подобен медведю*. Метафорическое имя обычно имеет референцию не к индивидному объекту, а к типичному представителю того класса предметов, в который субъект метафоры не может быть включен на рациональном основании. Поэтому метафорическое предложение асимметрично и в отличие от предложений тождества не допускает инверсии.

Различие в референции обычно обусловливает и различие в идентифицируемых, или сближаемых, признаках. Если в предложениях тождества утверждается совпадение субстанции и, следовательно, существенных (ингерентных) признаков индивидов (или классов), то в классической метафоре сближаются характерные черты единичного объекта, т. е. конститутивные признаки индивида, с ингерентными или, по крайней мере, типичными признаками другого рода объектов.

Иными словами, метафора основывается на сближении признаков, занимающих разное место в моделях сопоставляемых

объектов, и это отличает ее от сравнения, которое может сближать как разное, так и одинаковое [5].

Метафору искони принято рассматривать как сокращенное сравнение. Из сказанного выше явствует, что на переход от сравнения к метафоре налагаются определенные ограничения.

Не допускает преобразования в метафору сравнение с индивидным объектом: имена собственные могут приобрести нарицательный смысл, но они не порождают метафоры. Помимо того, что сравнение обычно в этом случае не преступает границ естественного класса, данный запрет объясняется еще и тем, что лексикализация значения имен собственных обычно не связана с образным представлением об индивиде. Когда человека называют лисой, то повадки этого животного, его хитрость и умение замести за собой следы, воспринимаются (хотя бы по началу) слитно с его образом. Тот же, кто называет человека, наделенного даром к изощренной политике, Талейраном, обычно даже не знает, каков собой был этот дипломат; и в этом нет греха, поскольку хитроумие Талейрана не было связано с его внешностью. То же произошло бы, даже если имя Талейран было бы применено не к хитрому политику, а, например, к хитрой обезьяне или лисе. Назвав Талейрана лисой, мы бы прибегли к метафоре, но назвав какую-нибудь лису Талейраном, мы бы не создали метафорического образа.

Не могут быть источником метафоры сравнения, ограниченные одним классом объектов. Внутриродовое подобие обычно не создает образа. Утверждение о сходстве плодов малины и ежевики не поведет к метафоризации значения соответствующих слов. Таким сравнениям нельзя придавать форму предложений тождества. Последние могли бы быть истолкованы в прямом (номинативном) смысле, ср.: *Ежевика по виду почти как малина* и *Ежевика — это малина*. Допустимо однако сказать *Губки у нее малина, глаза — вишенки*, и такое уподобление (мы отвлекаемся от его стилистической оценки) можно считать метафорой. Ср.: *Нос чайником, глаза — пуговки, брови — стрелки, волосы — еж, спина сужена, рост карликов* (Н. Кодрянская об А. М. Ремизове).

Функциональное уподобление, производимое в пределах одного широкого класса, также не достигает уровня метафоры. Сравнение директоров крупных предприятий с полководцами, а писателей с учителями жизни, сколь бы лестно оно ни было, все же не может расцениваться как метафора.

Однако если специализация объекта сопровождается видоизменением его облика, сопоставление между собой представителей разных функциональных подклассов может стать образным и приблизиться тем самым к метафоре. Так, назвать поэта лакеем значит не только обнажить его сущность, но и наглядно ее пред-

[5] *Miller G.* Images and models, similes and metaphors. — In: Metaphor and thought (ed. by A. Ortony), Cambridge UP, 1979.

ставить. Например: *В одной аудитории притворялся поэтом лакей, певший свои стихи о лифтах, графинях, автомобилях и ананасах* (И. Бунин. Старуха).

Не могут быть «сокращены» до метафоры сравнения, требующие экспликации своих оснований, т. е. тех свойств, которые дали повод для сближения разных предметов, например, *Мальчик был красен, как вареный рак* → **Мальчик был вареный рак.* Не допускает метафоризации и следующее изречение Козьмы Пруткова, для которого характерны афоризмы-уподобления: *Всякая человеческая голова подобна желудку: одна переваривает входящую в нее пищу, а другая от нее засоряется.*

Не метафоризуются сравнения, относящиеся к преходящим состояниям предмета, например: *Он был бледен, как полотно.* Именно поэтому нельзя ожидать метафоризации сравнений, следующих за глагольным (не связочным) сказуемым типа *Она зарделась, как маков цвет.*

Едва ли можно надеяться на появление метафоры из «поверхностных» сравнений, пусть даже остроумных и образных, но не претендующих на раскрытие сути вещей, например, нельзя конденсировать в метафору следующее сопоставление: *Небо, усеянное звездами, всегда уподоблю груди заслуженного генерала* (К. Прутков).

Но здесь от формальных запретов мы сделали шаг в сторону семантических фильтров, определяемых природой вещей, и тем самым вышли в область, не подлежащую ведению лингвистики. Сравнение доступно любому наблюдательному человеку, метафора — только мастеру. Поэтому естественно, что разрыв между этими тропами далеко не полностью объясняется указанными выше правилами.

Подводя итог сказанному, подчеркнем, что метафора синтезирует в себе черты двух достаточно четко противопоставленных друг другу концептов — тождества и подобия. Ее логическое основание тем самым содержит в себе исконное противоречие: в нем совмещено несовместимое.

3

Гибридизация тождества и подобия характерна не только для предложений метафорической псевдоидентификации (*Петя — заяц*) и для метафоры как основного тропа, ею объясняются фигуральные значения и косвенные коммуникативные смыслы собственно предложений тождества, которые могут служить для выражения максимума сходства; отрицание же тождества используется для минимизации подобия или максимализации тех изменений, которые претерпел объект.

Стилистические манипуляции с тождеством и подобием включаются тем самым в систему количественных тропов, таких как

гипербола, атенуация и другие виды «недоборов» и «переборов» (understatement и overstatement). Эти приемы связаны с гомогенными понятиями и состоят в нарушении чувства меры и количественных пропорций. В отличие от стереоскопической объемности (трехмерности) метафоры, апеллирующей более всего к воображению и ведущей к сути предмета или явления имагинативным путем, количественные тропы одномерны, скалярны, их применение свидетельствует о неисправности нашей измерительной техники, разогретой темпераментом.

Перекрещивание между собой разных по своей структуре понятий вызвано эволюционным движением мира, видоизменяющим предметы, но не нарушающим их тождества, т. е. объективной совместимостью идентичности и неподобности — внутренней и наружной (в пределах одного естественного класса). Один и тот же предмет по-разному проецируется на диахронической координате своего бытия; он также по-разному выглядит в разном ситуативном антураже. Например: И вместо свободно ведущего себя человека (в пылу нашего разговора он еще и вина плеснул на свою многострадальную рубашку) против меня сидел уже кто-то иной, ну растрепанный, ну грязный (мало ли на свете чудаков!), но явно принадлежащий к приличному европейскому обществу (Н. Ильина).

Идентификация разных ипостасей одного объекта требует преодоления времени и различий в ситуативной рамке зрительной памятью, синхронизирующей, вводящей в одно поле зрения и, наконец, совмещающей общие точки двух неодинаковых образов. В такого рода сопоставлении реализуется «один из наших чрезвычайно важных и нетривиальных врожденных концептуальных навыков, а именно способность распознавать тождество индивида при различных обстоятельствах и при различных направлениях развития событий» [6].

Рассмотрим более конкретно те количественные тропы, которые связаны с движением по шкале, образуемой тождеством — неидентичностью — подобием — несходством.

Выражение сомнения в тождестве предмета самому себе эквивалентно гиперболизации тех изменений, которые в нем произошли: действительность не совмещается с хранимым в памяти образом предмета (обычно лица). Например: *Не верилось, что эта черная, худая, востроносая женщина, то равнодушная, то бешеная, то тревожно-болтливая и откровенная с ней, как с равной, то вырывающая ей волосы, — барышня Тоничка* (И. Бунин). В этом предложении под именем собственным (*барышня Тоничка*) скрывается набор признаков, эксплицированных автором в предтексте, и не совпадающих с «наличными» (ср.: . . .*желто-смуглая, черноглазая,*

---

[6] *Хинтикка Я.* Логико-эпистемические исследования. М., 1980, с. 89.

похожая и на дедушку и на Петра Петровича барышня поминутно оправляла рукава легкого и широкого платья из оранжевого шелка, пристально смотрела в ноты и т. д.).

В такой ситуации очень естественны риторические полувопросы типа *Ужель та самая Татьяна. . .?*, опирающиеся на уверенность говорящего в безошибочности узнавания. Они выражают удивление величиной перемены: *Как изменилася Татьяна! Как твердо в роль свою вошла!* Формируя риторические вопросы об идентичности объекта, автор обычно прибегает к таким способам его номинации, которые фиксируют контрастирующие между собой признаки или по крайней мере черты, мешающие узнаванию. Например: *О, неужели эта бесстыжая женщина — та самая, от одного взгляда которой кипело добродетелью мое сердце?* (Ф. Достоевский); *Это бледное лицо, этот погасший взгляд, эти впалые щеки — неужели это та же Лиза, которую я видел две недели тому назад?* (И. Тургенев); *Неужели, — думал я, — эта женщина — та самая, которая явилась мне некогда в окне того далекого деревенского домика во всем блеске торжествующей красоты?* (И. Тургенев); *Неужели это был тот самый полоумный составитель жизнеописаний угодников, что жил в «Версале» двадцать три года назад?* (И. Бунин).

Дуализация единичного, своего рода «диалогизация предмета», усиливается в сообщениях об отсутствии у сопоставляемых образов одного объекта (лица) общих черт: *Я с изумлением смотрел на нее. Какая перемена произошла в ней. Между прежним ребенком и этой женщиной не было ничего общего* (И. Тургенев); *При каждом свидании с ним мне странным образом начинало казаться, будто мой любимый писатель Куприн, только что завоевавший себе всероссийскую славу, не имеет ничего общего с тем Александром Ивановичем, который вот сидит у себя в комнатенке без пояса, в линялой рубахе, надетой прямо на голое тело, мурлычит какую-то солдатскую песню и возится со своим затейливым «деревянным альбомом»* (К. Чуковский); *Я как-то встретил его на улице и внутренне ахнул: и следа не осталось от прежнего Куприна* (И. Бунин).

Наконец, минимизация общих черт, характеризующих разные «состояния» одного объекта, перерастает в отрицание тождества: *Лавиния уже не та девочка с румянцем юности на щечках* (Б. Окуджава); *Я был уже не тем человеком, каким они меня знали в течение трех недель* (И. Тургенев). В этом предложении нетождество совмещается с единством личности, о котором сигнализирует первое лицо анафорического местоимения (*тем человеком, каким они меня знали*). В нем, кроме того, формула тождества контаминирована с формулой подобия (ср. *тот, который* — формула тождества и *такой, какой* — формула подобия, *тот, какой* — контаминация тождества и подобия). Но в следующих предложениях тождество отрицается весьма решительно: *Я посмотрел ей*

в глаза. . . Господь милосердный! Это была не Лавиния! Предо мной сидела чужая женщина (Б. Окуджава). *Я что-то говорил, не глядя на него, и вдруг, нечаянно подняв глаза, чуть не крикнул: передо мной сидел не Блок, а какой-то другой человек, совсем другой, даже отдаленно не похожий на Блока. Жесткий, обглоданный, с пустыми глазами, как будто паутиной покрытый. Даже волосы, даже уши стали другие. И главное: он был явно отрезан от всех, слеп и глух ко всему человеческому. — Вы ли это, Александр Александрович? — крикнул я, но он даже не посмотрел на меня. Я и теперь, как ни напрягаюсь, не могу представить себе, что это был тот самый человек, которого я знал двенадцать лет* (К. Чуковский).

Сообщения, «дезидентифицирующие» одно и то же лицо, естественны и не останавливают на себе внимание адресата, когда речь идет о разных «сезонах» жизни человека. Точно так же, как мы не отождествляем один и тот же пейзаж, наблюдаемый в зимнее и летнее время, хотя на топографической карте он занимает одно и то же место, мы достаточно определенно различаем младенца, ребенка, подростка (отрока), юношу, зрелого мужа, пожилого человека и старика, хотя бы даже их личность идентифицировалась одним и тем же метрическим свидетельством. Сообщения о переходе человека из одной возрастной категории в другую принимают форму либо отрицательных таксономических предложений, либо (если предикат имеет при себе индивидуализирующее определение) отрицаний тождества, ср. *Петя уже не мальчик* и *Петя уже не тот мальчик, каким я его знал*, *Петя теперь не тот мальчик, которого вы видите на этой фотографии*. Такие предложения как бы «не дотягивают» до классических предложений тождества. Это заметно и по тому, что в них часто употребляется относительное местоимение *какой*, и по тому, что в них отрицается идентичность человека как представителя разных естественных родов (ребенка и взрослого человека, мальчика и мужчины, младенца и старика).

Изменения, происшедшие в человеке (субъекте восприятия) могут быть представлены как изменения в воспринимаемых объектах. Внутренние изменения проецируются во вне, например: *Мы втроем сошли с террасы. Весь этот мир, это небо, этот сад, этот воздух были не те, которые я знала* (Л. Толстой). Различие впечатлений от одного и того же констатируется как нетождество самих стимулов.

Отметим, что особую функцию может получить не только отрицание тождества одного и того же, но и отрицание тождества двух очевидно различных объектов. Оно имеет своей целью указать на отсутствие у лица или предмета некоторых свойств, характерных для другого лица или предмета или символизируемых его именем, например: *Нет, я не Байрон, Я — другой, Еще неве-*

домый избранник, Как он, гонимый миром странник, Но только с русскою душой (Пушкин); *Желая дать почувствовать профессорам, что я не Иконин и что меня смешивать с ним нельзя, я предложил взять еще билет* (Л. Толстой).

Отрицание тождества замещает собой отрицание подобия и в конечном счете отрицание присущности предмету некоторых свойств, для указания на которые открыта синтаксическая позиция псевдоцелевого предложения, например: *Я же не госпожа Тучкова, чтобы переть по намеченной раз и навсегда дороге, хоть тут тресни* (Б. Окуджава).

Указание на несходство объектов (*Я не такая, как госпожа Тучкова*: *Я не такой, как Иконин*) через отрицание их идентичности (*Я не госпожа Тучкова*; *Я не Иконин*) гиперболизирует, обостряет существующие между ними различия. В таких предложениях обычно дается контрастная оценка сопоставляемых объектов, в данном случае лиц, из которых одно представлено как пример для неподражания.

Предложения, отрицающие идентичность нетождественного, входят в один ряд с сообщениями об очевидно неверной таксономии объекта или о неверной интерпретации отношений между объектами (лицами), типа *Это тебе не молоток, чтобы гвозди забивать; Я тебе не брат и не сват, чтобы так со мной разговаривать; Ты мне не начальник, чтобы приказывать.*

В такого рода предложениях явно или имплицитно присутствует псевдоцелевое придаточное, обращающее внимание на ту ситуацию, которая сделала необходимым указание на очевидное. Высказывание имеет императивную направленность: *Это тебе не молоток, чтобы гвозди забивать=Не забивай этим предметом гвозди.*

Введение в фокус очевидного только тогда имеет смысл, когда оно получает либо иную информативную значимость, либо особое коммуникативное или стилистическое задание. В примерах первого рода (*Я же не Жанна Д'Арк*) сообщение о нетождестве двух очевидно различных персонажей заменяет собой сообщение об отсутствии между ними сходства, а точнее, об отсутствии у одного из них (субъекта), свойств, характерных для другого (термина сравнения). В примерах второго рода (*Я тебе не горничная, чтобы кофе в постель подавать*) сообщение о нетождестве, неверной таксономии или ошибочной интерпретации отношений между объектами замещает собой указание на некорректность или неадекватность действий или поведения адресата, которое могло бы быть уместным при других обстоятельствах. В обоих случаях констатация явного положения дел, опирается на некоторую пресуппозицию, состоящую в атрибуции кому-либо (обычно адресату) неверных представлений об объекте, его свойствах и отношениях к другим объектам (обычно лицам). Такие предложения имеют опровергающую направленность. Им аккомпанирует мотив

коррегирования *Не думай, что это так!; Ты напрасно думаешь, что это так!; Ты напрасно ведешь себя, как будто это так!.*

Даже будучи включенными в повествование, такие высказывания отвечают диалогическому принципу построения речи, поскольку они имплицируют не только существование адресата, но и наличие у него ложных представлений, нуждающихся в исправлении. Задача говорящего, таким образом, состоит не в том, чтобы убедить в чем-либо адресата, а в том, чтобы его переубедить. Адресат моделируется автором как инакомыслящий, заблудший.

Итак, отрицание тождества самому себе одного и того же предмета подчеркивает происшедшие в нем изменения, а отрицание тождества двух очевидно разных объектов подчеркивает их несходство (обычно по определенному признаку).

4

Рассмотрим теперь утверждения тождества. Если изменения в объекте могут быть переданы отрицанием тождества, как бы превращающим один объект в два, то отсутствие изменений в объекте-лице или окружающей его действительности могут быть выражены утверждением их идентичности самим себе, т. е. предложением тождества. Такого рода предложения в одном случае соответствуют действительному положению дел (когда речь идет об одном и том же лице или предмете), а в другом случае отражают ситуацию действительного нетождества (когда речь идет о предметах-признаках, т. е. компонентах, составляющих как бы неотъемлемую собственность определенного фрагмента мира).

В ситуации действительного тождества объекта самому себе идентификация имеет своей целью преувеличение его неизменности. Понятие тождества переносится с субстанции на признаки субстанции. Например: *Тот же был старый покровский дом с своею террасой с сдвижным столом и фортепианами в светлой зале и моею бывшею комнатой с белыми занавесками, и моими, как будто забытыми там, девичьими мечтами* (Л. Толстой).

Часто очевидная идентичность представляется как парциальная и устанавливается только для того, чтобы противопоставить стабильную, «окаменелую» оболочку объекта другой его части — «нутру», претерпевшему изменения (ситуация «тот же, да не тот»). Например: *Все та же и я, но нет во мне ни любви, ни желания любви. И он все тот же, только глубже морщина между бровей, больше седых волос в его висках, но глубокий внимательный взгляд постоянно заволочен от меня тучей* (Л. Толстой). В таких высказываниях не может быть использован ресурс уподобления (*Я все такой же*), поскольку он противоречил бы самому смыслу сообщения. Ситуация «тот же, да не тот» раскрывается через контрастирование тождества и отсутствия подобия, дающее нужный

эффект — «тот же, но другой — изменившийся, внутренне переродившийся».

Утверждение очевидного тождества может иметь своей целью и контрастирование неизменной застылости внешнего мира и его рутинного течения меняющемуся человеку (субъекту восприятия). Например: *А все то же: тот же сад виден в окно, та же площадка, та же дорожка, та же скамейка вон там над оврагом, те же соловьиные песни несутся от пруда, те же сирени во всем цвету, и тот же месяц стоит над домом: а все так страшно, так невозможно изменилось! Так холодно все то, что могло быть так дорого и близко* (Л. Толстой).

Выше отмечалось, что внутренние изменения в субъекте восприятия могут настолько преобразить его впечатления от окружающего мира, что он усомнится в его тождественности. Теперь видно, что та же ситуация может быть выражена и обратным способом, а именно подчеркиванием идентичности самих предметов и противопоставлением этой идентичности различиям в восприятии их человеком. Первый способ контрастирования стабильности мира и подвижности эмоциональных состояний человека, по-видимому, более характерен для ситуаций внутреннего подъема, озаряющих действительность; второй — для ситуаций внутреннего спада.

Утверждение тождественности самому себе того, что явно и недвусмысленно «по числу одно», может отвечать ситуации «не верю глазам своим», т. е. выражать удивление (радостное или огорченное) по поводу происходящего в действительности (*Неужели это действительно ты? Я не верил глазам своим: это действительно был он*). Например: *И это точно был он, который ровно и тихо ступая подле меня, бережно нес мою руку, и это точно была Катя, которая, поскрипывая, шла рядом с нами. И, должно быть, это был месяц на небе, который светил на нас сквозь неподвижные ветви* (Л. Толстой).

Констатация идентичности, однако, не предполагает с необходимостью, чтобы в отождествляемых картинах действительности фигурировали одни и те же реальные предметы. Например: *На привокзальной площади все те же цветы в железных ведрах, те же зеленые такси* (Алексин). *Мне бы напоследок любоваться улицами Рима, но справа машины, они же слева* (Н. Ильина). Постоянные компоненты, определяющие образ того или другого фрагмента действительности, осмысляются как его неотчуждаемая собственность. Это как бы превращает их из отдельных предметов в признаки того целого, в состав которого они входят.

Идентификация «деталей», определяющих общий облик предмета, может производиться не только применительно к разновременным состояниям одного и того же объекта, но и по отношению к разным объектам. Отождествление в этом случае интенсифицирует подобие. Например: *Между сестрами было большое семейное*

сходство: то же выражение, тот же нос, те же губы, только у Софьи Ивановны и нос и губы были потолще немного и на правую сторону, когда она улыбалась, тогда как у княгини они были на левую сторону (Л. Толстой). Идентификация частей разных «целых», производимая ради усиления их схожести, не исключает констатации существующих между ними различий. Приведем еще один очень характерный в этом отношении пример: *Горький кончил читать и поднялся из-за столика. Слушатели почтительно зааплодировали. Пока он доставал папиросу из портсигара карельской березы, перед ним как из-под земли вырос Миша Семякин. Оба они были до ужаса, именно до ужаса, похожи друг на друга. Одно и то же у обоих скуластое лицо с рыжеватыми усами, одна и та же у обоих высокая, слегка сгорбленная фигура с длинными руками, та же блуза и откинутые назад волосы. Но глаза и выражение лица были разные. Да и откуда было Мише Семякину взять ту подавляющую силу, с какой подлинный Горький, увидев Мишу, вдруг выпрямился — стальной до последнего мускула? . . .У Миши забегали глаза, цепляясь за соседей, но соседи от него отшатнулись. Его сходство с Горьким уменьшалось с каждой секундой, да и было ли оно вообще?* (Н. Серебров).

ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА
им. В.В. ВИНОГРАДОВА

Заметим попутно, что особенно широкими и свободными «полномочиями» обладает предикат тождества *одно и то же*. Он может выполнять обобщающую функцию, указывая на то, что названные в субъекте предметы образуют некоторое единство, например: *Мне все казалось в эти минуты, что как будто природа, и луна, и я, мы были одно и то же* (Л. Толстой).

В применении к различным абстрактным категориям этот предикат подчеркивает их максимальную близость и взаимообусловленность. Например: *Все мне говорило про красоту, счастье и добродетель, говорило, что как то, так и другое легко и возможно для меня, что одно не может быть без другого, и даже, что красота, счастье и добродетель — одно и то же* (Л. Толстой).

Точно так же, как идентифицируются разные предметы, принимаемые за одни и те же признаки общей картины, отождествляются и разновременные (и в силу этого нетождественные) «проявления» предметов (крики, скрип, пение соловья и т. п.). Например: *Подальше, на гумне, слышались те же голоса, тот же скрип колес и те же желтые снопы, медленно продвигавшиеся мимо забора. . . Вперед, на пыльном поле, тоже двигались телеги и те же виднелись желтые снопы, и также звуки телег, голосов и песен доносились издали* (Л. Толстой). Характерно, что там, где употреблены не имена, а собственно предикаты, исключающие формулу тождества (*тот же*), произведено не отождествление, а уподобление событий (*то же двигались телеги . . . и также звуки телег, голосов и песен доносились издали*).

www.ruslang.ru

Медленность течения жизни, стабильность ее форм, неизменность ее «предметного содержания», несущественность субстанциональных различий тех предметов, которые входят в качестве функциональных или орнаментальных деталей в тот или иной застывший «пейзаж», — все это выражается через отождествление объектов, производимое вне зависимости от их действительной идентичности.

Таким образом, стилистические функции предложений идентификации состоят в том, что признаковые характеристики (их неизменность или, наоборот, изменчивость) усиливаются через их замену характеристиками субстанциальными. Ситуация «ничто не ново под луной» выражается при помощи предложений тождества, а ситуация «ничто не вечно под луной» передается через отрицание тождества, причем в первом случае речь может идти о разных предметах, а во втором случае отрицается идентичность тождественного. Иными словами, сходство/несходство представляется как тождество/нетождество. Концепт тождества определяет форму предложений, а концепт подобия — их содержание.

5

Прием identitas pro similitudine (*тот, тот самый, тот же* вместо *такой, такой же, подобный*) имеет ряд разновидностей, определяемых природой отождествляемых (но не тождественных) объектов, или иначе, референцией соответствующих имен.

Так, может производиться не только идентификация индивидов, о которой говорилось выше, но и идентификация групп объектов (или их типичных представителей), цель которой состоит в подчеркивании их функционального или качественного сходства. Например: — *Не могут дворяне этими делами орудовать, — повторил он. — Да почему же? Почему? — чуть не закричал Калломейцев. — А потому, что они те же чиновники* (И. Тургенев). В приведенном примере употреблена ставшая стабильной формула максимальной интенсификации некоторого признака, ср.: *Да он тот же бандит, только что не грабит с ножом в руке.* Если отношения тождества требуют, чтобы соединяемые ими именные выражения были в равной степени референтны, то преобразование тождества в подобие снимает это условие. В предложениях типа *Он тот же бандит* второе существительное обладает мнимой референтностью: дейктическое местоимение указывает не на конкретный предмет, а скорее на класс предметов (стереотип класса), т. е. в конечном счете на некоторые признаки (обычно не все), свойственные данному классу.

Ослабление референции одного из термов можно наблюдать и в предложениях, осуществляющих идентификацию конкретного объекта (лица) с неким мифическим прототипом, аналогом, образом, заимствованным из фикции или реальности. Например:

— *Кто же выиграл? Один*[=только] *горбун, именно потому, что брал не акции, а наличные луидоры. Ну-с, я вот и есть тот самый горбун* (Ф. Достоевский); *У Островского в какой-то пьесе есть человек с большими усами и малыми способностями. Так это я* (А. Чехов); *А я, коли видели: висит человек снаружи дома в ящике на веревке и стену краской мажет, или по крыше, словно муха ходит — это он самый я и есть* (Н. Салтыков-Щедрин).

Функциональная или иная аналогия человека (конкретного лица) и персонажа (типа) доводится до своего логического предела отождествлением личности и модели.

Выше отмечалось, что радикальность изменений, происшедших в человеке, может быть выражена риторическим вопросом об идентичности объекта или предложением отрицания тождества. Если же производится конфронтация качеств, присущих некоторому лицу постоянно и независимо от его эволюции, то используются утверждения тождества. Например: *Когда мать подавала утром, перед тем как мне идти на службу, простылый кофей, я сердился и грубил ей, а между тем я был тот самый человек, который прожил перед тем месяц на хлебе и воде* (Ф. Достоевский).

При необходимости указать на диалектичность поведения одного и того же лица идентифицирующее местоимение ставится даже перед именем собственным. Например, *И тот же Иван, который умел вести себя так любезно с посторонними, часто бывал груб с женой и матерью; И нельзя было не верить в силу их* [слов], *как не мог не верить в нее и сам Клим, делавший порою прямо чудеса над одержимыми недугом, — тот же Клим, что так просто и скромно говорил, сидя после волхвования в прихожей, вытирая потный лоб платочком и опять принимаясь за чай* (И. Бунин). Дуализация персонажа, как ступень, предваряющая его идентификацию, позволяет поставить в отношения контраста качества и поступки, казалось бы несовместимые в одном лице. Логика таких высказываний состоит в следующем: такие-то свойства (действия, поступки, поведение и т. п.) обычно характерны для разных натур, можно было бы ожидать, что одно свойство исключает другое, они дизъюнктивны, а между тем они оказались присущи одному человеку. Акт идентификации выражает удивление различиями проявлений одной личности или противоречивостью его психики. Цель таких сообщений — подчеркнуть иррациональное начало человека, непредсказуемость его поведения, или просто указать на разные грани личности, иногда обусловленные различием в его жизненных амплуа. Например: *Так и запомнились мне два Куприна: один — отравленный вином, опустившийся, другой — бодрый, неутомимый, талантливый, молодо шагающий по своему гатчинскому весеннему саду, среди великолепных кустов буйно цветущей сирени* (К. Чуковский); *В классной Карл Иванович был совсем другой человек. Он был наставник*

(Л. Толстой). Если же человек остался верен самому себе и не совершил противоречащего своей натуре поступка, то такая ситуация констатируется достаточно распространенными предложениями ирреального отрицания тождества, например: *Василий Платонович не был бы Василием Платоновичем, если бы отказался от такого подарка* (В. Каверин).

Если речь идет о лице как об участнике реальной или потенциальной ситуации, то его свойства оцениваются по их соответствию предъявляемым к нему требованиям. Например: *А между тем Ефим был именно тем лицом, к которому, будь из чего выбирать, я бы обратился с таким предложением к последнему* (Ф. Достоевский). И в этом случае актом идентификации производится сопоставление качеств объекта, но не с другими его свойствами, а с теми, которые от него ожидаются, которые были бы желательны в тех или иных условиях, т. е. в конечном счете предложение тождества заключает в себе характеристику объекта: *Он как раз тот человек, который сможет добиться успеха в этом сложном деле*. В такого рода предложениях носитель признака — положительного или отрицательного — представляется как индивид, единичная в том или другом отношении личность, а не как член класса, ср.: *Он (не) тот человек, на которого можно положиться* и *Он (не) из тех людей, на которых можно положиться*, *Он (не) принадлежит к числу людей, на которых можно положиться*. Выбор предложения тождества отвечает стремлению к гиперболизации качества, как бы достигшего в одном лице максимальной концентрации.

Анализируемые предложения тождества представляют собой разновидность так называемых cleft sentences («расщепленных» предложений), распространенных во многих индоевропейских языках (тип. англ. It is Peter who came; He who came is Peter 'Это Петр пришел', букв. 'Тот, кто пришел, есть Петр'). Расщепленные предложения выделяются по двум основным признакам: 1) они соотносительны с простым предложением: Peter came → It is Peter who came; 2) одно из именных выражений, входящих в отношение тождества, является атрибутивной дескрипцией, которая, получив функцию темы, фиксировала свою референцию: He who came is Peter. Расщепленные предложения, широко представленные в германских и романских языках, обычно используются для того, чтобы поставить в позицию ремы, т. е. актуализировать, имя собственное или иное референтное выражение. По своей коммуникативной организации они эквивалентны русским предложениям с инверсией подлежащего и сказуемого (типа *Пришел Петр; Пластинку разбил я*) [7]. Атрибутивная

[7] Тонкие наблюдения над различиями между такого рода предложениями и подлинными предложениями тождества отмечены в статье: *Weiss D.* Identitätsaussagen im Russischen: ein Versuch ihrer Abgrenzung gegenüber

дескрипция занимает в таких предложениях позицию темы: He who committed the crime is Peter 'Этот преступник (тот, кто совершил это преступление) — Петр'. Рассмотренные выше предложения тождества отражают обратную коммуникативную ситуацию: в них имя собственное или его эквивалент остается в позиции подлежащего (темы), а атрибутивная дескрипция, извлеченная из предиката простого предложения, занимает место ремы (второго члена отношений тождества). Дескрипция в таких предложениях не относится ни к какому конкретному объекту. Определенность ее референции обеспечивается только тем, что зафиксированное в ней свойство объекта представлено как уникальное. Различие в коммуникативной организации двух видов расщепленных предложений дает себя знать в том, что референтность атрибутивной дескрипции в позиции ремы очень неустойчива. В тех случаях, когда качество не обозначено как предельное, референция к индивиду сближается с референцией к номинативному классу (т. е. классу, выделенному по определенному признаку или признакам): ср.: *Он — как раз тот человек, который может вам помочь* и *Он — такой человек, который может вам помочь*. Включение в номинативный класс равносильно характеризации объекта. Сказуемое характеризующего тождества приписывает лицу, наделенному определенным качеством, положение уникума, возводит его в ранг избранника, на котором «свет клином сошелся», что обычно является некоторым преувеличением. Если же атрибутивная дескрипция находится в позиции темы предложения тождества, то ее референция не может быть расшатана: дескрипция всегда сохраняет отнесенность к индивидуальному объекту.

Итак, рема идентификации, рассчитанная на гиперболизирующий эффект, входит в один ряд с простым глагольным сказуемым и сказуемым номинативной таксономии, выражающим характеризующее значение: *Петр сможет дать вам нужный совет* → *Петр как раз такой человек, который может дать вам нужный совет* → *Петр именно тот человек, который может дать вам нужный совет*.

Несоответствие наличных свойств желательным может быть выражено как отрицанием, так и утверждением тождества: ср.: *Он не тот человек, на которого можно положиться* и *Он как раз тот человек, на которого нельзя положиться*. Оба предложения гиперболизируют одну ситуацию: *на него нельзя положиться*. В первом случае отрицается тождество с положительным персонажем (тем, на кого можно положиться), во втором утверждается идентичность носителю отрицательного свойства. И то и другое эквивалентно указанию на отсутствие в субъекте искомого свойства.

---

anderen Satztypen. — В кн.: Slavistische Linguistik 1977. München, 1978, с. 239.

Установление идентичности человека носителю максимума отрицательного свойства обладает большей силой, чем отрицание его идентичности носителю высокой степени положительного качества. Утверждения тождества поэтому выражают более радикальное суждение, чем их отрицательные аналоги. Ср.: *Это не тот человек, который годится для выполнения данной задачи* и *Это как раз тот человек, который менее всего годится для выполнения данной задачи*. Оба члена приведенной пары выведены из простого отрицательного предложения: *Он не годится для выполнения этой задачи* → *Он не тот человек, который годится для выполнения этой задачи* → *Он как раз тот человек, который менее всего пригоден для выполнения этой задачи*. Отрицание тождества в этом ряду предшествует утверждению идентичности объекта носителю наиболее неприемлемого в заданных условиях свойства. Переход от отрицательного предложения к утвердительному не всегда прост: он может нуждаться в указании на предельность несоответствия данного объекта требуемому эталону. Ср.: *Он не тот человек, к которому я стал бы обращаться за советом* и *Он тот человек, к которому я обратился бы за советом в последнюю очередь; Он тот человек, который менее всего способен дать хороший совет, Он как раз тот человек, к которому я бы ни при каких обстоятельствах не обратился за советом*. Это, как кажется, подтверждает высказанное выше предположение о том, что в данном разряде высказываний утверждение тождества, притягивающее к себе указание на предельность несоответствия данного желаемому, категоричней его отрицания.

Таким образом, те предложения тождества, вторым членом которых является атрибутивная дескрипция, соотносительны с простыми предложениями характеризации. Они отличаются от этих последних значением предельности соответствия или, наоборот, несоответствия субъекта тем или другим требованиям.

Итак, хотя наиболее близким и естественным «партнером» для концепта тождества является понятие подобия, отношения тождества синтезируются также и с другими видами логико-синтаксических отношений — таксономией и характеризацией.

Хорошо известно, что стилистический эффект часто достигается благодаря нарушению законов логики. Но не всякое нарушение логических правил может оказать на получателя речи эстетическое или эмоциональное воздействие: нарушение логики имеет в художественном или «психологизованном» тексте свою логику, возможно, даже целую систему логики. В настоящей статье мы хотели привлечь внимание к явлению гибридизации, синтеза таких существенно различных логических концептов, как [illegible] и этим внести посильный вклад в разработку

Б. З. ЛОБАЧЕВ

О КАТЕГОРИЯХ ЭГО- И АЛЬТЕРЭГОЦЕНТРИЗМА

В принципе, любое сообщение в отличие от высказывания вообще, которое может и вовсе не иметь адресата, должно строиться с тем расчетом, чтобы в целом оно было понятно для слушающего. При этом говорящий исходит, конечно же, из имеющихся у него представлений о том, что собеседнику может быть известно, а что неизвестно в теме беседы, «на ходу прикидывает», в какой мере другой мог воспринять предложенную ему информацию и не понадобятся ли какие-либо уточнения. Со своей стороны и слушающий далеко не пассивен, ибо, пытаясь мысленно восполнить случайно упущенные или сознательно опущенные части информации, он в конечном счете стремится на основе своего жизненного опыта *создать наиболее полные собственные представления о том*, что же ему хотел сказать партнер по коммуникации.

Явление, о котором идет речь, получило название «коммуникативной рефлексии» (термин Г. Н. Мельникова). Такое определение удачно не только в первой своей части, но и во второй, так как коммуникативная рефлексия, по принципу связи частного и общего, восходит к рефлексии в философском смысле и тоже опирается на способность человека рефлектировать действительность, т. е. отражать в своем сознании явления окружающего мира и осмыслять результаты этого отражения. Вместе с тем коммуникативная рефлексия из-за участия в этом процессе как минимум двух мыслящих существ уже обладает своей спецификой. И в связи с этим нам хотелось бы обратить внимание на одно немаловажное обстоятельство: степень вовлеченности коммуникантов в процесс общения может варьировать таким образом, что то на долю говорящего, то на долю слушающего выпадает роль большей или меньшей рефлексивной активности. Случается, что говорящий предъявляет слушающему такие высокие требования в проявлении рефлексивной активности, которых он ожидать не вправе; тогда его собеседник вынужден задавать вопросы, а значит и оставлять уготованную для слушателя идеальную позицию безгласного получателя информации.

Чтобы избежать подобных «сбоев» в системе коммуникативной связи, от собеседников требуется четкое распределение ролей по степени проявления рефлексивной активности. При одном вид рефлексии главную роль должен брать на себя слушающий, пр другом — говорящий. И обе разновидности коммуникативно рефлексии существуют вполне реально. Это, во-первых, «эгоцен трическая» (Степанов 1965, с. 199—200) подача мысли, при кот рой в центр сообщения ставит себя говорящий; он предельн субъективен, исходит из позиции своего *Я* и, больше всего заб

тясь о самовыражении, целиком предоставляет собеседнику мобилизовывать все его дедуктивные способности для «усвоения» сказанного. А это значит, что при эгоцентрической подаче мысли, когда высказывание во многом оказывается имплицированным для слушающего, ему-то и отводится в процессе коммуникации наиболее ответственная роль.

И во-вторых, это такая подача мысли, которую мы назвали бы «альтерэгоцентрической», так как она, напротив, характеризуется возможно более полным учетом интересов слушающего, как бы образующего центр сообщения, ибо и само сообщение оценивается уже не с точки зрения непосредственного *Я*, а через призму *Я*, «примерившегося» к *Ты* собеседника, в результате чего его *Ты* обретает статус «второго *Я*», или в латинской терминологии alter ego. Очевидно, что при столь сложной задаче альтерэгоцентрическое высказывание должно максимально эксплицироваться усилиями говорящего, соответственно ему и принадлежит в процессе коммуникации главная роль. Зато роль слушающего значительно упрощается, ибо степень его рефлексивной активности ослабевает, как только говорящий начинает все оценивать с позиции своего собеседника. Сравним две фразы: одну, словно безадресную, обращенную не то к себе, не то к другим, «*Извиняюсь, я* дал книгу?» и другую, целенаправленную «*Извините, вы* получили книгу?». Совершенно ясно, что получатель информации, являясь гипотетическим получателем книги в первом случае и очевидным — во втором, предпочел бы вторую, «ты-центрическую» фразу за ее бо́льшую эксплицированность и, следовательно, менее трудоемкую работу по расшифровке смысла высказывания.

«Ты-центризм» представляет собой лишь первую ступень альтерэгоцентризма, или, если угодно, является его предпосылкой, создавая уже фактом его существования некий прообраз альтерэгоцентрической модели, для полной реализации которой достаточно, чтобы угол зрения слушающего, отраженный в «ты-центрической» фразе, еще и совпадал с позицией самого говорящего. Получается, таким образом, что декодирование фраз альтерэгоцентрического типа, например: *Идешь. . . глядишь. . .* *натляде́ться не можешь*! также имеет алгоритм, прежде всего удобный для слушающего. Сначала имеется в виду *ты* (собеседник), потом *я* (говорящий), затем остальные.

К сожалению, в академической «Грамматике русского языка» 1980 г. (далее — АГ-80) местоимения *я* и *ты* никак не дифференцируются по их абстрагирующей способности, а значит, и по естественности их употребления в обобщающем смысле. Однако, на наш взгляд, симптоматично уже то обстоятельство, что обобщающие потенции *ты* (даже несмотря на то, что имплицитное его употребление почему-то в расчет не принималось) раскрыты в прекрасном «полнокровном» примере из А. С. Пушкина: Услышишь

[illegible] окончания, в которых имплицировано

ты, подчеркнуты мной. — *Б. Л.*) суд глупца и смех толпы холодной, Но *ты* останься тверд, спокоен и угрюм. *Ты* царь: Живи один. Дорогою свободной Иди, куда влечет *тебя* свободный ум. Причем, число подобных примеров легко можно было бы умножить, а для иллюстрации аналогичного употребления *я* в русской литературе при всем ее богатстве и разнообразии не нашлось ни одного яркого и самобытного примера. Вероятно, поэтому пришлось прибегнуть к переводной сентенции *Я* человек и ничто человеческое *мне* не чуждо (АГ-80, с. 533); ср. с известным изречением римского автора Теренция Homo *sum*, humani nihil a *me* alienum puto.

Соображения о принципиальном характере выбора того или иного способа подачи мысли в языках разных систем, с учетом наблюдаемой в них диспропорции в пользу либо эгоцентрической, либо альтерэгоцентрической тенденции, привели нас к убеждению, что не так уж был неправ Ш. Балли, когда говорил о том, что есть языки, удобные для говорящего, и языки, более приспособленные для слушающего. Единственная оговорка, которую мы считаем нужным ввести, носит по существу методологический характер. Дело в том, что при решении вопроса об удобстве/неудобстве каждого отдельно взятого языка для отправителя или получателя сообщения от исследователя требуется известная доля отстраненности. Поэтому тут следует исходить не из субъективной оценки носителя данного языка, который мог «свыкнуться с неудобствами» настолько, что не только не воспринимает их как таковые, но и принимает их за «удобства», — а из более объективных критериев третьего лица, для которого сопоставляемые языки, хотя и в достаточной мере изучены, тем не менее остаются одинаково иностранными, чужими языками. И примечательно, что выводы, вытекающие из наших наблюдений за степенью вовлеченности коммуникантов в процесс общения, прямо противоположны заключению Ш. Балли, который, как известно, считал, что «французский язык в гораздо большей степени, чем немецкий, является языком „общительным", ориентирующимся на слушающего и стремящимся избавить его от излишних усилий» (Балли 1955, с. 81).

Правда, в своем утверждении швейцарский лингвист руководствовался понятиями, которые у него связывались исключительно с явлением сегментации. Но дело не в этом. Напомним, что Ш. Балли, при относительно свободном владении немецким, в первую очередь был прекрасным знатоком французской разговорной речи. Поэтому в его интерпретации самого по себе верного факта, согласно которому сегментация характерна скорее для французской фразы, нежели немецкой, он был далек от необходимой объективности суждения. Иначе, он пришел бы к тому же выводу, что и мы, поскольку при оценке языка выходит, что и по параметру сегментации, точно так же как по степени проявления

рефлексивной активности со стороны коммуникантов, французский язык более ориентирован на говорящего, чем на слушающего. По-французски легче сказать, чем быть понятым. Ибо и сегментация, в которой прежде всего тонко отражается эмоциональное состояние говорящего, позволяет отправителю сообщения говорить так, как он чувствует, а не так, как слушающему удобно воспринимать смысл сказанного. Ср. нем. *Sein Sohn ist gekommen* и фран. Il est arrivé, *son fils*. В отличие от немецкого слушающего, которому уже из начала фразы ясно, о ком идет речь (а именно это актуально в высказывании, когда действие легко предсказуемо), французский собеседник сразу понимает лишь то, что говорящий взволнован, спешит объявить новость и делает это сумбурно, что в его состоянии естественно, как-то даже принято и собственно стало нормой речевого поведения французов.

Диапазон этой нормы очень велик: от трагической фразы из Расина Il tombe, *mon fils* до размеренного повествования в жанре французской песни у Ж. Беко Il avait poussé par hasard Dans notre cour sans le savoir Comme un aveugle dans le noir. . . *Mon arbre*. Последний пример показателен и в другом отношении. Здесь продемонстрированы «технические возможности» явления сегментации на французской почве, видно, насколько ощутимой может быть задержка в назывании собственно объекта мысли. Именно в приеме ретардации с его временным умалчиванием существенных деталей фразы особенно хорошо просматривается единая психологическая основа общения, на которой строится и явно выраженная, т. е. посредством местоимения *я*, эгоцентрическая подача мысли. Ведь существенной чертой эгоцентризма тоже является знание, хотя не фрагментарное, как у слушающего, а целостное, но только «про себя и для себя» той части информации, о которой слушающий может только догадываться.

Итак, сегментация есть одно из частных проявлений эгоцентризма. Присутствие, равно как и отсутствие, усиленной сегментации в каком-либо языке косвенно свидетельствует о силе или слабости эгоцентрических тенденций в данном языке. Так, эгоцентризм французского языка подтверждается тенденцией к усиленной сегментации. При желании можно было бы увеличить число примеров до бесконечности. В русском же языке аналогичная тенденция выражена слабо, что однако не означает, будто следов нарочито запоздалого называния объекта мысли там нельзя обнаружить вообще.

Напротив, в повести И. С. Тургенева «Вешние воды», например, эффект ретардации очень ярок: Часу во втором ночи *он* вернулся в свой кабинет. *Он* выслал слугу. . . Никогда еще *он* не чувствовал такой усталости телесной и душевной. *Он* сам не знал, для чего *он* это делал, *он* ничего не искал — *он* просто хотел каким-нибудь внешним занятием отделаться от мыслей, *его* томивших (с. 35—36). На две первые страницы повести приходится

36 местоимений 3-го л. преимущественно *он*, реже *его*, *ему*, прежде чем выясняется, кто же *он*. Надо полагать, что необычность этого приема сознавалась и И. С. Тургеневым, потому что уже на третьей странице повести, переходя к общепринятому повествованию, писатель как бы задним числом, но все же вынужден сделать оговорку: Вот что вспомнил *он*. Но нужно сперва сказать *его* имя, отчество и фамилию (с. 37) [1]. Впрочем, в русской литературе прием ретардации этого типа так и не привился. Но чем объяснить появление французского литературного приема у И. С. Тургенева, авторский язык которого в основном, действительно, «строго следовал за литературной нормой» (Будагов 1967, с. 47)? Можно предположить, что длительное пребывание русского писателя за границей, которое, должно быть, обычно заставляло его по контрасту еще острее чувствовать норму русского языка, на этот раз дало о себе знать и выразилось в новаторском перенесении на русскую литературную почву приемов, характерных для французской литературы.

В этом смысле очень интересна оценка, данная «Вешним водам» русской критикой: поразила «изобретательность и стилистические чудеса» (Анненков 1898, с. 18—19); примечательно и то, что французские писатели, напротив, не заметили новаторства этой повести и говорили лишь о редком «знании жизни» и «умении» автора рассказать о виденном (Flaubert 1975, p. 96—97). В столь непохожих реакциях на одно и то же художественное произведение, как в зеркале, видна «национальная принадлежность» приема ретардации, которым воспользовался И. С. Тургенев. Ретардация (от франц. retard 'опоздание') и по происхождению, и по интенсивности применения остается преимущественно французским приемом изложения мысли. Узко синтаксически это стимулируется тенденцией французской фразы к сегментации, или «многоядерности» (Мельников 1972, с. 143—144), а в более широком плане, охватывающем психологию процесса коммуникации, получает развитие уже в рамках общей тенденции французского языка к эгоцентрической подаче мысли.

Теперь, исходя из представлений о языке как о некой системе, будет естественно предположить, что в русском языке дело обстоит иначе; сравнительно слабые проявления эгоцентризма и сегментации должны в нем компенсироваться яркой тенденцией к альтерэгоцентрической подаче мысли. С целью проследить динамику развития этого сложного явления в русском языке, а затем сопоставить его со своим более скромным аналогом во французском, мы снова обратимся к произведениям художественной литературы. Ибо, как справедливо заметил В. П. Григорьев, обращение к «анализу языка „текущей" поэзии, прозы и драматургии» может создать более солидную базу для теоретических обобщений

[1] Указанием на особенность повествования в «Вешних водах» автор обязан любезности Н. А. Кожевниковой.

(Григорьев 1979, с. 8). В поэзии, однако, все языковые явления выступают в осложненном виде, драматургия же имеет своей спецификой прямой диалог между действующими лицами. И поскольку нас интересуют абстрагирующие потенции 2-го л., а оно встречается чаще всего в авторской речи, в данной статье основное внимание будет сосредоточено на прозе.

Возьмем себе за правило пытаться проникнуть в творческий замысел художника, чтобы понять, насколько задача, которую он ставит, обусловливает и выбор средства. Так, рассказ И. С. Тургенева «Лес и степь» замыкает известный сборник рассказов «Записки охотника», под которым нужно было подвести черту особого рода с тем, чтобы окончательно приобщить читателя к охоте или по крайней мере разделить с ним чувство любования природой. И это намерение писателя видно с первых же строк: Но, положим, *вы* не родились охотником: *вы* все-таки любите природу: *вы*, следовательно, не можете не завидывать *нашему* брату. Здесь еще сохраняется оппозиция авторского *мы* (нашему)/ читательскому *вы*, но далее она стирается, когда после слов: Слушайте. Знаете ли *вы*, какое наслаждение выехать весной до зари? идет *описание* природы, перемежающееся ощущениями автора: *Вы* выходите на крыльцо. . . Вот *вы* сели. . . *Вы* едете. . . *Вам* холодно немного. *Вы* закрываете лицо воротником, *вам* дремлется. Но вот *вы* отъехали версты четыре (с. 146—147). Ясно, что писатель хочет *вас*, читателя, приобщить к его ощущениям, но он так ловко подменяет авторское *я* читательским *вы*, что создается впечатление, будто все описываемое происходит именно с *вами*, а уж автор со своим *я* отходит на второй план и лишь незаметно сопровождает *вас*, находя слова для *вашего* восприятия этого мира. В терминах поведения та же мысль резюмируется следующим образом: на самом деле в попутчики берет *вас* он, но из деликатности делает вид, что это он *ваш* попутчик: Вот наконец и *ваша* изба. Сквозь окошко видите *вы* стол, накрытый белой скатертью, горящую свечу, ужин. . . А то *велишь* заложить беговые дрожки и поедешь в лес на рябчиков (с. 150). По последним двум фразам можно судить и о том, как происходит не то, что переход от *вы* к *ты*, а незаметное «соскальзывание» на разговорную форму обращения. Естественность в этом месте рассказа более интимной формы подготовлена многократным употреблением формы *вы*, что создавало ту экспозицию во времени, которая была необходима для вхождения автора в более тесный контакт с читателем. Не в последнюю очередь стиранию грани между *вы* и *ты* способствовала и скрытая, выводимая только из глагольных окончаний, имплицитная форма лица. К тому же общепринятость имплицитного *ты* в функции обобщения в известной мере гарантирует от ошибочного принятия собеседником этой формы обращения на свой счет. Все это объясняет, каким образом при единичном употреблении местоимений невторого лица на семи с небольшим страницах повествования могло

уместиться до 46 *вы* и *ты*. И нет никаких сомнений, что общая тональность рассказа выдержана в духе альтерэгоцентризма.

Здесь необходимо оговорить принципиальное различие описанных нами явлений от давно известных «синтаксических приемов интимизации» (Булаховский 1954, с. 455—458). В своей книге о русском литературном языке 1-ой половины XIX в. Л. А. Булаховский действительно перечисляет созвучные альтерэгоцентризму некоторые приемы «интимизации», начиная с обращения, которое он характеризует как средство риторической патетики, восходящее к античности и ко времени французского классицизма (например, Ты спознала, непреклонная красавица, грусть), и кончая повелительным наклонением, приглашающим читателя дать и свою оценку тому, что сообщает автор (например, Разберите сердце девушки, воспитанной в семейном заточении). Но тут же, без какой-либо дифференциации, им приводятся примеры, иллюстрирующие, скорее, прямо противоположную, эгоцентрическую подачу мысли. Ср. с фразой из пушкинской «Метели»: Но вернемся к добрым ненарадовским помещикам, — в которой *мы* — это не альтерэгоцентрическое *вы* и *я*, а эгоцентрическое *я* и *вы*, так как до этого места повествование велось от авторского 1-го л. Да и сама постановка вопроса было такова, что Л. А. Булаховский, наблюдая «изящную игру» автора читательским интересом, говоря о «режиссере»-писателе, имеющем, следовательно, в своем распоряжении и «актеров», или приемы интимизации, конечно же, имел в виду не лингвистическую сторону явления, а эстетически обусловленный набор литературно-стилистических приемов, бывших в ходу у писателей 1-ой половины XIX в. Естественно поэтому, что он не мог фиксировать внимание на определении наиболее существенного вида коммуникативной рефлексии для русского языка в целом, включая и литературу, где мы ищем подтверждения силы именно альтерэгоцентрической тенденции.

Вместе с тем мы далеки от мысли отрицать за литературой потенции к самостоятельному развитию, более или менее независимому от особенностей того или иного языка. Нельзя не заметить, что в литературе всех народов в основном укоренились одни и те же типы повествования: либо от 3-го л., либо, если речь идет о подлинных мемуарах или вымышленных воспоминаниях, от 1-го л. Это представляет собой как бы внелингвистическую и наднациональную литературную универсалию. Но уже в пределах самой универсалии существует немало национальных различий в традиционных приемах литературного обыгрывания тех или иных местоименных употреблений, а это неотделимо от особенностей языка. Поясним нашу мысль на примере местоимения 3-го л. Обычным его употреблением является анафорическое, когда в повествовании местоимение следует за именем героя. Имя, вероятно, нуждается в такой замене, чтобы несколько разнообразить номина-

цию, так как местоимение не называет, а лишь указывает с большой экономией языкового материала (как правило, оно короче имени). К тому же при малых размерах местоимения стилисты легче мирятся с его повторами, чем с повторами имени, и это, должно быть, связано с его неноминативным, «неприметным» характером. Что же меняется, если в повествовании местоимение не следует за именем героя, а предшествует ему? В этой так называемой препаративной функции местоимение по мере ретардации имени перестает выражать конкретное лицо и приобретает значение обобщенного образа. Если же эту особую роль местоимения 3-го л. «примерить» к обычному «амплуа» французского il и русского *он*, то выяснится, что на эту роль больше подходит французское местоимение как достигшее крайних пределов абстракции (на il строятся французские безличные обороты). Таким образом, следуя принципу соответствия типа повествования специфике языковых средств, можно вывести правило: во французском типе повествования возможны оба варианта в позиции имени и местоимения (сначала Jacques, затем il и сначала il, а потом уж Jacques); зато в русской литературе принят лишь один вариант, анафорический, т. е. сначала *Иван* и только потом *он*. Отход от этого правила в русском языке может быть расценен как некоторая искусственность или «изобретательность» (см. уже приводимый пример тургеневских «Вешних вод»).

Однако же и в русском языке должно быть местоимение, которое в силу своей обобщающей способности наделено широкими стилистическими потенциями. Таким местоимением несомненно является *ты*, а также вежливая форма 2-го л. *вы*. В верности этого факта языка можно было убедиться и на как бы случайных отдельных примерах из АГ-80 и книги Л. А. Булаховского и на примере далеко не случайного, а сознательного многократного употребления 2-го л. И. С. Тургеневым в рассказе «Лес и степь». Все эти внешне разрозненные явления объединены единым внутренним стимулом, ибо опорой для них служит очень существенный в русском языке альтерэгоцентрический вид коммуникативной рефлексии. Только так можно объяснить литературоведческий парадокс, загадка которого состоит в том, что и у других русских писателей, совсем не похожих на Тургенева и даже придерживающихся прямо противоположного авторского кредо, мы встречаем тот же прием повествования от 2-го л.

Например, у А. П. Чехова в начале рассказа «В родном углу» также заметно это подчеркнутое употребление *вы*: Поезд уже ушел, покинув *вас* здесь. . . Около станции пустынно и нет других лошадей, кроме *ваших*. *Вы* садитесь в коляску и катите по степной дороге, и перед *вами* мало-помалу открываются картины. . . *Ваш* кучер рассказывает что-то (с. 244). Далее это абстрактное *вы*, вмещающее читателя, автора, кого угодно, сводится в рассказе к вполне конкретному лицу: За Верой Ивановной выехали на

тройке. . . — Все как было, — сказала Вера и т. п. Переход от местоимения к имени напоминает здесь прием ретардации в тургеневских «Вешних водах» с той, однако, существенной разницей, что Чехов, — если отвлечься от не столь важного несоответствия в лицах: *вы* — 2-е л., *Вера Ивановна* — 3-е л., — все-таки выбирает в русском языке более подходящее обобщающее средство. Сделанный здесь выбор местоимения 2-го л. не просто органически связан с авторским замыслом, просматривающимся в самом заглавии рассказа, не просто мотивирован тем общим чувством «родного угла», под воздействием которого с первых же строк смыкаются позиции рассказчика, читателя и героини, а еще и прежде всего обусловлен главной линией развития русского языка (Мельников 1971), которую мы видим в альтерэгоцентризме.

В целом развитие русской литературы дает нам возможность проследить динамику роста альтерэгоцентрических тенденций в русском языке, ибо неслучайно писателям разного периода не в одинаковой степени удавалось ухватить и выразить через художественное слово суть национального своеобразия русской речи. Если у И. С Тургенева мы еще частично наблюдаем «вы-центризм» в его простейшем виде, а А. П. Чехов, полностью снимая противопоставление позиций автора, читателя и героини, все-таки сохраняет при этом отчуждающую форму вежливости *вы*, то в творчестве И. А. Бунина альтерэгоцентризм русской речи получает наиболее полное и законченное выражение. Так, рассказ «Антоновские яблоки» с самого начала ведется Буниным от 2-го л., в интимной или лучше сказать доверительной форме *ты*; Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мякины, бодро идешь домой к ужину мимо садового вала. Поздней ночью. . . еще раз пробежишь в сад. Шурша по сухой листве, как слепой, доберешься до шалаша. Вскинешь кверху тяжелую, как лом, одностволку и с маху выстрелишь. Долго глядишь в его (неба. — *Б. Л.*) темносинюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под ногами. Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому. . . . Не утерпишь — велишь поскорее закладывать лошадь, а сам побежишь умываться на пруд. . . .С наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла (с. 185—186). Здесь приведена выборка глагольных словоформ 2-го л. ед. ч. с двух первых страниц рассказа, но при наблюдаемом равномерном распределении этих форм от начала и до конца повествования по ней можно составить представление о тексте в целом. Всего же в рассказе насчитывается до 50 употреблений 2-го л. ед. ч., и примечательно, что все они имплицитные, за исключением одного случая, когда местоимение *ты* было вынуждено как бы раскрыться в эксплицитном употреблении. Ср.: Гикнешь на лошадь и помчишься по лесу. . . Выскочишь из лесу, увидишь на зеленях стаю собак и еще сильнее поддашь киргиза, пока, наконец,

не перева*лишься* в другой остров. . . .И кажется, что *ты* попал в какие-то заповедные чертоги (с. 191).

Экспликация *ты* в последней фразе вызвана, по всей видимости, нежелательной нейтрализацией лица в окончании глагола прошедшего времени, тогда как глагольные окончания настоящего и будущего ясно указывают на лицо, что делает употребление местоимения избыточным. И думается, что сам факт предпочтения в 49 случаях из 50 глаголов настоящего и будущего времени говорит о том, что именно полускрытая, выводимая лишь из глагольных окончаний форма лица более всего и приспособлена для выражения обычно повторяющихся действий, которые могут совершаться и тобой и мной, вообще всеми людьми на свете. «Жизнеспособность» имплицитного *ты* в обобщающей функции проявляется и в том, что оно может, не эксплицируясь, выражать даже прошедшее время. Происходит это при помощи особого слова *бывало*, служащего лексическим переключателем грамматически выраженных настоящего и будущего в реальный план прошедшего. Так преодолеваются функциональные ограничения, накладываемые грамматической формой: И мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком. Когда, *бывало*, едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне. . . Пока, *бывало*, доедешь до этой усадьбы (с. 188). Я сейчас еще чувствую, как жадно и емко дышала молодая грудь холодом ясного и сырого дня под вечер, когда, *бывало*, едешь с шумной ватагой (с. 191). Из последней фразы видно, что роль неприметного словечка *бывало* не сводится к переключению на план прошедшего, оно еще служит своеобразным реле, обеспечивающим возврат от личных реминисценций к постоянной линии общечеловеческих восприятий бытия. Обрыв этой линии до конца рассказа, отчасти подготовленный короткими разрывами в альтерэгоцентрической канве текста, мотивирован психологически, ибо автор преступает грань, уже не позволяющую ему надеяться, что найдется читатель, который бы разделил с ним чувство умиления даже перед картинами, «нищенской мелкопоместной жизни» (с. 194). И таким образом, если повествование как бы о любом и для каждого временами прерывается, чтобы за несколько страниц до конца рассказа уже бесповоротно уступить место эгоцентризму, то произойдет это не потому, что средства выражения альтерэгоцентрической мысли в русском языке оказались не вполне совершенными, а лишь потому, что в самой мысли время от времени проступали личные мотивы, которые в конечном счете и возобладали над общечеловеческими.

Теперь посмотрим, насколько альтерэгоцентризм характерен для французского языка, и обратимся к роману современного французского автора М. Бютора «Поворот» (La Modification). В нем речь идет о несостоявшемся повороте в судьбе сорокапятилетнего мужчины, имеющего молодую возлюбленную. Перспектива

собственного перерождения представляется ему сомнительной, и он не решается на отказ от привычного существования в кругу своей семьи. Описываемая история во Франции до такой степени типична, что Бютору, вероятно, захотелось, чтобы читатель узнал в герое себя, как в зеркале; и для верности он снимает ширму того условного авторского *я*, которым читатель обычно отгорожен от псевдобиографического персонажа романа. Благодаря этому оригинальному приему читатель как бы остается наедине с самим собой. С первой же строки он, автор и персонаж неразличимы: *Vous* avez mis le pied sur la rainure de cuivre. . . (p. 9). И уже вторая фраза представляет собой вершину того стиля, в котором выдержан весь роман от первой и до последней страницы: *Vous vous* introduiser par l'étroite ouverture en *vous* frottant contre ses bords, puis, *votre* valise couverte de granuleux cuir sombre couleur d'épaisse bouteille, *votre* valise assez petite d'homme habituée aux longs voyages, *vous* l'arrachez par sa poignee collante, avec *vos* doigts qui se sont echauffés, si peu lourde qu'elle soit, de l'avoir portée jusqu'ici, *vous* la soulevez et *vous* sentez *vos* muscles et *vos* tendons se dessiner non seulement dans *vos* phalanges, mais dans *votre* épaule aussi, dans toute la moitié du dos et dans *vos* vertébres depuis *votre* cou jusqu'aux reins (p. 9).

В одном лишь предложении насчитывается 15! местоимений 2-го л. мн. ч., или вежливой формы, что в целом совпадает с исключительной насыщенностью альтерэгоцентрическими местоимениями первых страниц в уже рассмотренных нами рассказах русских писателей. Далее следует довольно однородный текст с часто повторяющимся местоимением vous, к концу же романа его удельный вес несколько снижается. Впрочем, этим и исчерпывается сходство русского и французского явлений.

Дело в том, что построение романа М. Бютора «Поворот» от 2-го л. представляется в значительной степени искусственным. Это далеко и от французской литературной традиции, и от французского живого разговорного языка. Соответственно такой необычный тип повествования не остался незамеченным как со стороны литературоведов, так и со стороны лингвистов. В послесловии к роману Бютора М. Лери, например, совершенно справедливо отмечает «необычность приема» (procédé inusité) и, предугадывая возможную реакцию читателя, соглашается, что средство, с помощью которого автор хотел с каждым из них установить прямой контакт, могло показаться «искусственным» (artificieux) (Leiris 1962, p. 288). И действительно, во всей французской литературе такой тип повествования не встречался ни разу, не распространился он и после появления данной книги Бютора. В этом смысле роман «Поворот» явление авангардистского плана, оно единично и составляет некое исключение из правила. Но все ли сводится к литературной традиции? И не кроется ли истинная причина в языке?

М. Коэн, проявляющий особое внимание к инновациям во французском языке, также не проходит мимо этого явления и, рассматривая его уже в языковом аспекте, отмечает исключительную редкость замены je на vous (Cohen 1966, p. 73). При этом заметим, что замены личных местоимений на неопределенно-личное on, напротив, довольно часты и являются нормой разговорного стиля, а само по себе on в обобщающей функции очень употребительно во французских пословицах (Лобачев 1980), в сентенциях и максимах, встречается оно также и в литературных произведениях. Что же касается обратных замен, на возможность которых также указывает Коэн — речь идет о замене неопределенно-личного on на личное vous или tu — то такое «замещение» крайне редко, что несомненно позволяет квалифицировать первый случай как фамильярный, а второй — как просторечный. И нам представляется, что уже отсюда, от закрепленного за некой парой местоимений определенного стилистического «амплуа». . . просматривается путь к тем стилистическим ассоциациям, которые способно вызвать в нас заменяющее местоимение при том, что род замены может быть иным: скажем, в фамильярно-разговорном общении конкретное vous способно вытеснить форму обобщения on, а в модернистской литературе — обобщенное je.

Для сравнения напомним, что в русском языке прием замены *я* на *ты* в обобщающей функции по частотности употребления сопоставим разве только с привычной прямой заменой je на on, но никак не с редко встречающейся во французском языке парой местоимений с альтероцентрической направленностью, где je меняется на vous или на tu. И в русской литературе, точно так же, как и в разговорной речи, 1-е л. ед. ч. довольно часто подменяется местоимением *ты* или *вы* как более вежливой разновидности 2-го л. Таким образом, и в языке, и в литературе русское обобщающее *ты* в отличие от французского обобщающего tu — не просторечная и не грубая форма, а лишь та, в которой не маркирован признак вежливости.

Принцип идентичной стилистической маркированности местоимений в разговорной и литературной сферах хорошо согласуется с идеей синкретизма языка и литературы. В свете же обозначенного единства языковых и литературных предписаний и запретов становится ясным, почему в русской классической литературе при нехарактерном для нее виде эгоцентризма, который мы встречаем в «Вешних водах», насчитывается немало примеров альтероцентрического типа повествования и почему, с другой стороны, во французской литературе, исключительно богатой примерами эгоцентрических построений, редчайший роман другого толка — это «Поворот», и принадлежит он перу модерниста.

Итак, в отношении самих видов рефлексии синкретизм языка и литературы установлен: причем, за основу мы брали разговорную сферу языка как наиболее естественную форму его существо-

вания. Но поскольку традиционно устная речь противопоставлялась письменной, необходимо проверить, не сказывается ли специфика соотношения разговорной речи (далее — РР) и речи художественной литературы (далее — РХЛ) на степени распространения альтерэгоцентрических тенденций по языку в целом. Заметим, что в разных языках РР отличается от РХЛ в большей или в меньшей мере, поэтому наметившаяся в XX в. общая тенденция к сближению этих двух категорий во французском языке протекает несколько более бурно, чем в русском (Гак 1977, с. 280; Лобачев 1980а). И однако есть очевидное противоречие в факте редкого использования формы 2-го л. во французской литературе при относительной ее близости к РР, равно как и в факте частого употребления форм 2-го л. в русской литературе при более ощутимой дистанции между РР и РХЛ. Впрочем, образовавшееся противоречие легко разрешимо при одном условии. Достаточно предположить, что альтерэгоцентрические тенденции во французской РР имеют не большее хождение, чем во французской литературной сфере, поэтому при всей их близости первой просто «нечего передать» во вторую; с другой стороны, русской РР альтерэгоцентризм присущ настолько, что и значительное расстояние, отделяющее ее от РХЛ, не может помешать переносу разговорного употребления 2-го л. в русскую литературную сферу. На фоне в данном случае малосущественного противопоставления РР и РХЛ естественно предположить, что в системе языка существует особая область, фокусирующая альтерэгоцентрические тенденции, по отношению к которой все остальные функционально-речевые сферы составляют эгоцентрическую оппозицию.

Идя от восприятия письменной формы речи, можно, вслед за М. Бютором, выделить, например, «прочтение информации» (lecture de renseignement), так читаются газеты, и «прочтение искусства» (lecture artistique), так читаются романы или поэмы. «Слова, — пишет он, — разбросанные по страницам романа, не более, чем указатели дороги, которую в конечном счете избирает сам читатель. Он уже, хотя и по указке автора, вызывает в своем воображении людей, окружающую обстановку, предметы и картины природы. В результате, прочтение искусства приводит в движение гораздо более значительные ресурсы нашего ума, нежели прочтение информации» (Butor, p. 312). В этом высказывании, правда, еще в нерасчлененном виде, но уже есть указания на то, что способ нашего прочтения обусловлен спецификой употребленного языкового материала. Но в чем заключена эта специфика? Отсутствие ответа на поставленный вопрос дает основание говорить о необходимости более четкого противопоставления речи информативной и речи художественной.

С этой целью разложим РР и РХЛ на термины-компоненты, соответствующие как элементам противопоставления речь информативная / речь художественная, так и основным функциям языка,

информативной и аффективной. В этом случае о РР можно сказать, что она информативность сочетает с аффективностью, а РХЛ скорее наоборот, аффективность дополняет известной долей информативности. Т. е. при одинаковом наборе функций РР и РХЛ различаются лишь расстановкой акцентов, а именно тем, какой из двух аспектов, творческий или коммуникативный, вынесен вперед. Заметим также, что в речи с ярко выраженной информативной функцией естественно придерживаться такого вида коммуникативной рефлексии, который наиболее полно отвечал бы потребностям информации. Основное же требование к информации — скорость и легкость восприятия — не в последнюю очередь зависит от степени сближения позиций пишущего и читающего. Вот почему, например, язык рекламы, зашедший так далеко в ее принципиально льстивой подаче на манер «все для вас», может успешно служить интернациональным образцом альтерэгоцентризма. Иначе говоря, в определенной функционально-речевой сфере, где информативность сочетается с эмоциональным воздействием на получателя информации, любой отправитель сообщения, будь то русский или француз, следует альтерэгоцентрической подаче мысли. Таковы положения, общие для всех языков, ибо в этих условиях происходит стирание различий между потенцией и регулярными реализациями системы в реальной речи.

Вместе с тем, другие функционально-речевые сферы разносистемных языков поддаются дифференциации по степени «затронутости» со стороны альтерэгоцентрических тенденций. Так, напомним, что, вопреки благоприятным условиям сближения РР и РХЛ во французском языке, альтерэгоцентрическая подача мысли отмечалась лишь в РХЛ, да и то в единичном случае. Эта значит, что у французов альтерэгоцентризм ограничен сферой информативной речи и не распространяется ни на РХЛ, ни тем более на РР.

В русском же языке, как уже говорилось, наоборот, несмотря на сохранение все еще ощутимой дистанции межу РР и РХЛ, альтерэгоцентризм неоднократно обнаруживал себя в художественных произведениях. Следовательно, для русских он не ограничивается сферой информативной речи, но распространяется еще и на РХЛ. Если же принять во внимание синкретическую связь литературы с языком, а также учесть первостепенность информативной функции для РР, то напрашивается естественный вывод о том, что в русском языке альтерэгоцентрическая тенденция не просто отражает какое-то «имманентное» свойство его РХЛ, но органически вытекает из особенности его РР. Это умозаключение подтверждается хотя бы тем фактом, что в основу самого продуктивного класса русских пословиц легли модели предложений с имплицированным местоимением *ты*, например: По одежке протягивай ножки, Что посеешь, то и пожнешь и т. п. (Лобачев 1980).

Суммируя все наши наблюдения, подчеркнем следующее:

в условиях русского языка с его не столь жесткими рамками выбора того или иного вида коммуникативной рефлексии типично французское противопоставление либо информативность, либо художественность несколько нейтрализуется. Таким образом, альтерэгоцентрическая подача мысли, ограниченная исключительно информативной речевой сферой во французском, но не встречающая сколь-нибудь значительных межстилевых барьеров в русском языке, во всех частях его системы выступает как весьма существенный универсальный вид рефлексии.

ЛИТЕРАТУРА

Анненков П. В. Переписка И. С. Тургенева с П. В. Анненковым. — Русское обозрение. № 3, М., 1898.
Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955.
Будагов Р. А. Литературные языки и языковые стили. М., 1967.
Булаховский Л. А. Русский литературный язык 1-й половины 19 века. М., Учпедгиз, 1954.
Гак В. Г. Сравнительная типология французского и русского языков. Л., Просвещение, 1977.
Григорьев В. П. Поэтика слова. М., 1979.
Лобачев Б. З. Сопоставление русских и французских пословиц с точки зрения их расхождений в плане выражения. — В кн.: Семантика и грамматика языковых единиц. М., УДН, 1980.
Лобачев Б. З. К вопросу взаимодействия устного и письменного типа речи. — В кн.: Актуальные проблемы истории и филологии. Труды IV научно-теоретической конференции молодых ученых и специалистов ист.-филол. ф-та УДН, сб. № 10, ИНИОН, 1980а.
Мельников Г. П. Типы означаемых языкового знака и детерминанта языка. — В кн.: Проблемы семантики. М., Наука, 1971.
Мельников Г. П. Детерминантная классификация языков и языки банту. — В кн.: Африканский этнографический сборник IX. Л., Наука, 1972.
Русская грамматика. Том. 1. М., 1980.
Степанов Ю. С. Французская стилистика. М., 1965.
Butor M. Sa contribution au débat «Pourquoi et comment lisez-vous?» organisé par le Cercle Ouvert le 9 octobre 1956. — In: La Modification suivi de Le Réalisme mythologique de Michel Butor par Michel Leiris. Paris, Union Générale d'Editions, 1962.
Cohen M. Encore des regards sur la langue française. Paris, Editions sociales, 1966.
Flaubert G. Correspondance. Paris, Editions Gallimard, 1975.
Leiris M. Le Réalisme mythologique de Michel Butor. — In: La Modification suivi de. . . Paris, Union Générale d'Editions, 1962.

Литературные источники

Бунин И. А. Антоновские яблоки. — Собр. соч., т. 1, М., 1956.
Тургенев И. С. Вешние воды. — Собр. соч., т. 8. М., 1978.
Тургенев И. С. Лес и степь. — В кн.: Записки охотника. М., 1978.
Чехов А. П. В родном углу. — Собр. соч., т. 8. М., 1956.

М. А. ПРОБСТ

ДВЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЗВУКОВЫЕ СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ КАК СИСТЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

К теме настоящего исследования приводят работы, посвященные рассмотрению языка как определенной системы моделирования внешней среды, системы, которая удовлетворяет ряду ограничений, а также работы, изучающие характеристические свойства текста в зависимости от вида системы коммуникации, в которой функционирует текст.

В этой связи возникает вопрос о сравнительном изучении различных систем коммуникаций, используемых в живой природе. В данной работе исследуется лишь один вид коммуникаций, а именно — звуковая система коммуникации.

Работа состоит из трех частей: в первой части рассматриваются два типа, два способа моделирования, используемых в естественных системах сигнализации, и проводится сравнительный анализ этих типов систем моделирования. Во второй части сравнивается звуковая система сигнализации высших животных с звуковой системой сигнализации человека, с человеческой речью. И, наконец, в третьей части рассматриваются вопросы, связанные с возможными путями перехода от звуковой системы животных к языку человека, причем существенным является указанное направление перехода.

1. В нашей работе (8) мы уже разбирали некоторые вопросы, касающиеся систем коммуникаций. В данной работе мы будем придерживаться той же точки зрения на эти вопросы, но для удобства читателя ряд понятий кратко повторим.

Под системой коммуникации мы понимаем определенную систему, которая обеспечивает передачу некоторых объектов как материальной природы, так и идеальной (сообщение); частью такой системы является способ организации и формирования передаваемого объекта, а также и способ его приема. Для того чтобы можно было говорить о системе коммуникации, нужно знать не только то, что и как передается, но и цели и задачи, реализуемые данной системой. Существенным является то, что система коммуникации всегда связана с определенной системой «потребителей», которую эта система коммуникации «обслуживает».

Некоторым частным случаем, а часто и просто частью системы коммуникации, является система сигнализации. Действительно, речь человека, а это, конечно, есть система сигнализации, есть часть всей системы коммуникации, с помощью которой происходит общение в человеческом коллективе. Но в то же время система

сигнализации есть частный, специализированный вид системы коммуникации, предназначенный для передачи именно сигналов. Речь человека — это звуковая система сигнализации. Система сигнализации всегда обслуживает сообщество или коллектив, причем само существование сообщества или коллектива невозможно без системы сигнализации.

Под системой сигнализации будем понимать совокупность сигналов вместе со способом образования цепочек сигналов — сигнальных рядов, причем каждый сигнал и каждый сигнальный ряд рассчитаны на то, чтобы вызвать определенную реакцию, определенные действия со стороны принимающего этот сигнал или сигнальный ряд. Необходимо помнить, что связь между принимаемым сигналом и ответной реакцией на него лишь условна, т. е. подающий сигнал может лишь рассчитывать на определенную реакцию со стороны принимающего, но ответная реакция принимающего, вообще говоря, может не совпадать с той, на которую рассчитывал отправитель сигнала, и эта условность зависит также и от обслуживаемого системой сообщества или коллектива. В системе сигнализации должны быть правила построения сложных сигналов из простейших. Другими словами, в системе сигнализации имеется алфавит или несущее множество, на котором определены отношения вместе с аксиомами, которые регулируют взаимосвязи между различными отношениями, дающие возможность строить новые сложные сигналы из «знаков» алфавита.

Отметим следующее важное свойство системы сигнализации: сигнал всегда является лишь образом передаваемой ситуации, образом объекта, но это не сам объект. Можно говорить о сигнале тревоги, о пищевом сигнале и о многих других сигналах, но именно о сигналах, а не о самих объектах. Следовательно, сигнал в системе сигнализации является образом, моделью того, о чем нужно сообщить. Поэтому систему сигнализации можно рассматривать как определенную систему моделирования. Существенным является то, что соотношение между сигналом и его прообразом всегда условно и вне определенной системы сигнализации может нарушаться и полностью исчезать. Конвенциональность сигнала и всей системы сигнализации в огромной степени определяется сообществом или коллективом, который обслуживается данной системой сигнализации.

Под моделированием системы M_1 с помощью системы M_2 будем понимать отображение φ: $M_1 \to M_2$. Множество M_1 будем называть множеством прообразов, а множество M_2 — множеством образов, моделей или моделирующей системой. Мы предполагаем, что на множествах M_1 и M_2 заданы определенные отношения и что отображение φ является гомоморфизмом относительно некоторых отношений, заданных на M_1. Но при этом на M_2 могут быть отношения, которым ничего не соответствует в M_1. Тогда моделирование есть поиск отображений φ относительно выделенных от-

ношений, определенных на M_1. Сам поиск отображения φ может быть многошаговым и достаточно сложным.

С другой стороны, если множество M_2 задано вместе с отношениями, аксиомами и преобразованиями, т. е. со структурой своих отношений, то можно считать, что потенциально уже заданы все возможные объекты в M_2, которые построены с помощью отношений и аксиом. Тогда поиск в M_2 образа для заданного объекта из M_1 должен свестись к перебору объектов M_2, для того чтобы найти такой объект в M_2, который соответствовал бы по гомоморфизму φ, т. е. по заданным отношениям, нужному объекту из M_1.

В силу того, что нас будут интересовать не произвольные системы моделирования, а лишь системы моделирования, используемые как высшими животными, так и человеком для целей восприятия внешней среды, для лучшего взаимодействия со средой, отметим два важных факта: во-первых, совокупность возможных ситуаций во внешней среде значительно больше, чем совокупность ответных реакций живого организма и значительно больше возможностей сигнальных систем, которые используют животные; во-вторых, ответная реакция живого организма на воспринимаемый сигнал должна поступать в течение ограниченного временного промежутка, вне зависимости от того, был ли воспринимаемый сигнал активным, т. е. подавался членом объединения организмов, или пассивным, т. е. не имел адресата. Если из первого факта следует, что отображение φ, осуществляющее моделирование, есть отображение «в» и существует много ситуаций и объектов внешней среды, на которые живой организм выдает одну и ту же ответную реакцию, то из второго — следует, что задача существования и выживания живого организма в среде ставит задачу минимизации времени поиска ответной реакции.

Рассматривая различные системы моделирования, мы приходим к вопросу о поиске принципов сравнения систем моделирования. Мы можем считать, что различия между разными системами моделирования определяются либо в различиях множеств M_2, либо различиями в отображениях φ, ибо все живые организмы моделируют вообще говоря одну и ту же среду, т. е. множество M_1, и структура отношений, на нем определенных, остается неизменной.

Обычно при моделировании используется один из двух принципов — непрерывность или дискретность. Будем считать, что все элементы из M_1 связаны друг с другом отношениями (часто в этом случае множество называют непрерывным) и на M_1 задана система покрытий, т. е. система подмножеств, которые могут пересекаться друг с другом. Если отображение φ сопоставляет каждому элементу системы покрытий в M_1 определенный объект в M_2 и отображение φ определено лишь на системе покрытий, то такую систему моделирования будем называть кусочно-непре-

рывной. Если же для построения образа элемента системы покрытий нужно провести разбиение этого элемента и каждому элементу разбиения сопоставить определенный элемент из M_2, причем на совокупности таких элементов из M_2 определены отношения, соответствующие отношениям на элементах разбиения в M_1, то такую систему моделирования будем называть дискретной. При первом способе моделирования имеется как бы множество шаблонов и все разнообразие моделируемой области передается с помощью этого набора шаблонов и при этом не анализируется внутренняя структура самого шаблона. При дискретном способе элемент системы покрытий разбивается на части и из образов таких частей «собирается» модель так, чтобы она была «подобна» элементу системы покрытий, т. е. структура этой модели являлась бы образом структуры прообраза на основании отображения φ.

Важной характеристикой системы моделирования является возможность для разных объектов из M_2 иметь один и тот же прообраз в M_1. Если в системе M_2 не существует таких объектов, то такую систему моделирования будем называть однозначной. В противном случае — неоднозначной или системой моделирования с множественностью образов. Для характеристики системы моделирования важными являются параметры структуры отношений этой системы, т. е. местность отношений, их число, свойства аксиоматики, преобразований. Эти свойства не учитывают того, где и как «работают» системы моделирования. Поэтому мы рассмотрим еще некоторые свойства систем моделирования.

Мы уже отмечали, что задача моделирования может быть рассмотрена как поисковая задача — найти по заданному объекту в M_1 соответствующий объект в M_2, причем соответствие определяется гомоморфизмом φ, т. е. совокупностью тех свойств, отношений, которые нужно «сохранить» в M_2. В этом случае можно говорить об эффективности поиска, о минимизации перебора. Но стремление к эффективизации поиска может привести к использованию специальных средств сокращения перебора: это могут быть специальные виды «памяти», специальные вспомогательные структуры, и многое другое. Использование специальных вспомогательных средств ведет к усложнению системы моделирования, к увеличению доли вспомогательных «бюрократических» средств, к снижению надежности и эффективности. Поэтому при сравнении систем моделирования естественно отдавать предпочтение тем системам, которые обходятся минимумом вспомогательных средств при прочих равных условиях.

И, наконец, важной чертой системы моделирования являются ее адаптивные возможности, т. е. возможности моделировать новые внешние условия, т. е. измененное M_1, при сохранении основы структуры самой системы моделирования.

Представляется важным отметить следующие следствия из указанных свойств систем моделирования, которые имеют место для естественного языка человека.

Во-первых, в силу того, что языковая система, т. е. язык как формальный аппарат и совокупность текстов, написанных на языке, все время изменяется, и в силу необходимости удовлетворить условиям эффективности и минимальности в языковой системе появляются элементы, которые являются как бы свертками более сложных конструкций, причем эти новые элементы-свертки используются наравне с прочими элементами языковой системы. Примером этого могут служить и появление сложных слов, и появление терминов, местоимений. . .

Во-вторых, в силу неоднозначности языковой системы как системы моделирования в ней появляются такие элементы, конструкции, которые можно было бы назвать псевдомоделями и которые служат средством уменьшения перебора, а также и для реализации специальных свойств системы моделирования, например линейности. Псевдомодели есть такие объекты в M_2, которым не может соответствовать в M_1 ни один объект. Такова роль вводных слов, местоимений, наречий.

Мы уже отмечали, что системы сигнализации являются частным случаем систем коммуникаций и именно таким, с помощью которых осуществляется связь и координация действий между членами сообществ животных, между членами людских коллективов. Поэтому, говоря о звуковой системе сигнализации, разумно говорить о звуковой системе сигнализации в условиях сообщества или коллектива. Отметим, что при собственно акте коммуникации также имеет место моделирование, так как для того, чтобы партнер верно воспринял передаваемое ему сообщение, нужно «представлять» партнера, моделировать его. Поэтому вид той совокупности, которую обслуживает данная система сигнализации, структура и ее особенности накладывают дополнительные ограничения на систему сигнализации, рассматриваемую как систему моделирования. Например, наличие в сообществе или в коллективе иерархии приводит к появлению этикетных форм не только в поведении, но и в системе сигнализации. Заметим, что ряд этикетных форм в системе сигнализации можно отнести к псевдомоделям, так как им может ничего не соответствовать в моделируемой области.

Если сказанное выше применить к естественному языку человека, то можно выделить следующие характерные свойства языка как системы моделирования в условиях коллектива:

а) условия I-VI, о которых говорилось в работе (7);

б) язык есть система моделирования, обладающая множественностью образов, моделей, что увеличивает «изобразительные» возможности системы и дает возможность использовать язык в ряде новых условий и что расширяет сферу применимости языка;

в) язык есть система моделирования с семантикой, со смыслом. В однозначной системе моделирования, по нашему мнению, о смысле можно говорить лишь на уровне мотивации, цели. В системе с множественностью образов необходим контроль за правильностью моделирования, соответствия между M_1 и M_2, иначе по модели в M_2 трудно судить о прообразе. Именно поэтому и появляется специальная «субстанция», позволяющая осуществить контроль за правильностью моделирования и дающая возможность выделить в модели те свойства, которые отражают свойства моделируемой области, т. е. M_1. Эта «субстанция» и есть смысл, смысловое многообразие. Причем она не есть часть языка, рассматриваемого как формальный аппарат. Смысловое многообразие непрерывно в отличие от языка как формального аппарата, который дискретен. С этим тесно связаны вопросы о мышлении и о различии в работе правого и левого полушарий головного мозга, см. (3).

Какие преимущества дает введение в систему моделирования смыслового многообразия? Во-первых, позволяет проводить классификацию объектов системы не только на основе конструктивных свойств, но и с помощью различных смысловых аспектов, что особенно важно в системе с множественностью образов. Во-вторых, в силу непрерывности смыслового многообразия удается в дискретной по формальному аппарату системе моделирования сохранить в модели непрерывность моделируемой области. И хотя в естественном языке человека есть ряд средств для передачи связности и непрерывности, примером чего могут служить предикаты типа глагольных форм, все же основную нагрузку по передаче непрерывности выполняет смысловое многообразие. В-третьих, с помощью смысла языковая система значительно больше связана с особенностями того коллектива, который она обслуживает. Действительно, те отношения, которые сложились в человеческих коллективах в ходе их исторического развития накладывают именно смысловые ограничения на использование различных единиц языковой системы. С этим мы сталкиваемся при исследовании древних текстов, когда невозможно полностью восстановить исследуемый текст из-за неполного знания особенностей коллектива, к которому принадлежал текст. Это же мы наблюдаем и сейчас при исследовании научных текстов с их специфической структурой и лексикой или при исследовании терминосистем, см., например, (2). И, наконец, оперируя со смыслом текста мы можем воспользоваться аппаратом ассоциаций, т. е. соответствий в первую очередь не по конструкциям, а на основе функционально-смысловых свойств, используя при этом различные черты «памяти» коллектива.

Благодаря введению смыслового многообразия языковая система становится мало привязанной к конкретности данной внешней среды и становится аппаратом для таких сложнейших действий человека, как сознание и мышление.

В заключение этого раздела хотелось бы отметить, что хотя система сигнализации животных носит преимущественно однозначный характер и для нее почти теряет всякое значение понятие смысла сигнала, сигнального ряда, кроме как мотивации поведения, отсюда не следует, что животные не могут производить ряд действий, основанных на процессах, близких к сознанию. Об этом подробно и убедительно говорится в (4), об этом же свидетельствуют многие работы по обучению человекообразных обезьян см (6) и (11).

2. В этой части работы мы хотим сопоставить звуковую систему сигнализации животных с звуковой системой сигнализации человека, т. е. с его речью. Такое сопоставление мы сделаем в виде таблицы.

СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ ЖИВОТНЫХ	СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА
1. Набор сигналов в основном врожденный.	1а. Набор сигналов приобретается в течение всей жизни.
2. В процессе овладения системой происходит лишь научение, т. е. соотнесение сигналов с внешней ситуацией.	2а. В процессе овладения системой происходит обучение, т. е. выяснение принципов построения новых сигналов и новых сигнальных рядов.

Замечание. Под сигнальным рядом мы понимаем определенным образом построенную цепочку из отдельных сигналов.

3. В процессе моделирования части внешней среды, ситуации используется, кроме звукового канала, и ряд других систем сигнализации и каналов, причем вне зависимости от информационных возможностей в разных ситуациях преимущество отдается разным системам сигнализации. Поэтому образ-модель ситуации многомерен в силу множества каналов.	3а. В основном используется лишь звуковой канал, причем чем больше идет развитие речи и языка индивидуума, тем меньше становится роль других систем сигнализации по сравнению с речью и языком. Поэтому образ—модель ситуации в основном одномерен, так как другие системы сигнализации подавлены языком и речью.
4. Вся моделируемая область «покрывается» совокупностью окрестностей-ситуаций, которым соответствуют определенные сигналы или цепочки сигналов. Отсюда кусочно-непрерывный способ моделирования.	4а. Для построения модели части области-ситуации в ней выделяются определенные части, которым сопоставляются элементы системы сигнализации. Эти образы частей ситуации «стягиваются» в единую модель с помощью аппарата отношений. Отсюда дискретность языка как формального аппарата.

Замечание. Мы предполагаем, что вся моделируемая область является непрерывной в том смысле, что все части этой области находятся во взаимосвязи с помощью различных функциональных соотношений.

5. Отдельным сигналам в сигнальном ряду не соответствуют части моделируемой ситуации.	5а. Отдельным сигналам сигнального ряда соответствуют части моделируемой ситуации, что свидетельствует о дискретности модели.
6. Модель ситуации относится только к данному моменту времени.	6а. Модель ситуации может относиться к произвольному моменту времени, для чего используются отношения, изменяющиеся по времени.
7. На множестве сигналов определены лишь отношения частичного порядка, нет дополнения и есть лишь простая форма сравнения — наложение.	7а. На совокупности сигналов определена развитая система отношений с аксиоматикой и правилами вывода. Есть развитая система сравнений по разным наборам признаков.
8. Сигнальный ряд, являющийся моделью ситуации, есть линейная последовательность сигналов.	8а. Сигнальный ряд, являющийся моделью ситуации, есть линейная последовательность сигналов, на которой определены отношения.
9. Почти не происходит пополнения совокупности сигналов в течение ряда поколений.	9а. Происходит пополнение и «изменение» простейших «сигналов», в частности, за счет замены «сложного» сигнала новым «простейшим», примером чего являются процессы словообразования и введения терминов.
10. Так как в системе сигнализации есть лишь два «слабых» отношения и так как моделируемая ситуация не подлежит разбиению, то нет функциональных соотношений и нет времени.	10а. Система сигнализации функционального типа, ее основой являются отношения, время. Моделируемая ситуация может неограниченно подвергаться последовательному разбиению, так как аппарат отношений позволяет свести всю совокупность частей в единое целое.
11. Каждой моделируемой ситуации почти всегда соответствует только один сигнальный ряд. Варианты возможны лишь в силу отношения частичного порядка.	11а. Каждой моделируемой ситуации соответствует много сигнальных рядов за счет различных способов разбиения и за счет использования различных отношений.
12. Соответствие между моделируемой ситуацией и сигналом близко к однозначному. Поэтому можно говорить о цели, мотивации сигнального ряда, но не о его смысле. О некоторых исключениях будет говориться в следующем разделе.	12а. Для системы характерна множественность образов моделируемой ситуации. Почти неограниченная множественность моделей для одной ситуации, огромная синонимия ведут к тому, что понятие о смысле сигнального ряда становится центральным, возникает вопрос о способе выражения смысла.
13. Система не обладает избыточностью и поэтому слабо при-	13а. Огромная избыточность аппарата системы дает возможность

способлена для моделирования новых ситуаций.	моделировать всевозможные ситуации и компенсировать слабое использование других каналов.
14. Понятие «память системы» можно использовать лишь как место и способ хранения и выдачи информации, т. е. ситуаций и сигналов.	14а. Память есть не только место и способ хранения, но и способ установления связей, ассоциаций между различными ситуациями и различными сигнальными рядами, «разорванными во времени и в пространстве».
15. Информация от поколения к поколению передается в основном генетически.	15а. Информация от поколения к поколению передается коллективом, обществом с помощью своей «коллективной памяти». Влияние коллектива на систему сигнализации очень велико.

Замечание. Мы считаем, что одним из характеристических свойств текста является следующее свойство: почти любой текст можно так разбить на части, что отдельным элементам этого разбиения будут соответствовать части моделируемой ситуации.

16. Сигнальный ряд не есть текст.	16а. Сигнальный ряд есть текст.
17. Система сигнализации неотделима от той среды, в которой существует сообщество.	17а. Система сигнализации не привязана только к той среде, в которой существует коллектив; она может существовать вне конкретной среды и служить не только для целей моделирования ее.
18. Система сигнализации служит для целей совместной борьбы за существование.	18а. Система сигнализации служит не только для коммуникации, но является основой для описания и познания мира.

Заканчивая сравнение систем сигнализации животных и человека, хочется привести следующую цитату из Тейяр де Шардена: «. . . рефлексия — это приобретенная сознанием способность сосредоточиться на самом себе и овладеть самим собою как предметом, обладающим своей специфической устойчивостью и своим специфическим значением, — способность уже не только познавать, а познать самого себя. . . Рефлектирующее существо, в виду самого сосредоточения на самом себе, внезапно становится способным развиваться в новой сфере». И далее: «Разумеется, животное знает. Но, безусловно, оно не знает о своем знании — иначе оно бы давным-давно умножило изобретательность и развило бы систему внутренних построений, которая не ускользнула бы от наших наблюдений» (9).

3. В этом разделе мы хотим исследовать вопрос о возможных путях перехода от кусочно-непрерывной системы сигнализации типа сигнализации животных к дискретной системе сигнализации типа языка человека. Но предварительно сделаем ряд следующих замечаний.

Замечание. 1. Хотя язык человека как система моделирования есть дискретная система, нельзя ни в коем случае сказать, что человек полностью отказался от непрерывного способа моделирования. В пользу последнего говорят и факты о работе правого полушария головного мозга человека, и факты о различных этапах мышления человека, и глубинные структуры в тексте и речи. Можно говорить о дискретности языка как аппарата, но в то же время само построение текста по заданной ситуации, само построение языковой модели отражаемой ситуации невозможно без непрерывности, без анализа непрерывности. Можно считать, что во всех тех случаях, когда человек сталкивается с задачей, в которой нужно охватить всю ситуацию в целом, мозг человека работает на непрерывном уровне, и лишь подробный анализ, проводимый в большей степени на дискретном уровне, приводит в итоге с помощью дискретного аппарата системы сигнализации к дискретному по конструкции тексту, но с непрерывной семантикой.

Замечание 2. Среди ранее отмеченных особенностей анализируемых систем сигнализации выделим те черты, которые являются по нашему мнению центральными для задачи поиска возможных путей перехода от одной системы к другой. Кусочно-непрерывная система сигнализации является системой с однозначным или почти однозначным соответствием между моделируемой ситуацией и образом ее в системе сигнализации. Дискретная система с почти неограниченной совокупностью образов для одной моделируемой ситуации невозможна без введения понятия «смысл», о чем бесцельно говорить для кусочно-непрерывной системы. Введение в систему смысла позволяет выделить среди громадной совокупности образов в системе те образы, которые можно соотнести с одной ситуацией, являющейся внешней по отношению к системе сигнализации, к моделирующей системе.

Замечание 3. Дискретная система сигнализации вместе с ее развитым аппаратом отношений, рассматриваемая как система моделирования, является значительно более эффективной по сравнению с кусочно-непрерывной системой в силу следующих причин: во-первых, избыточность дискретной системы позволяет использовать систему в значительно большем числе случаев чем кусочно-непрерывную без существенных изменений в структуре, о чем хорошо свидетельствует история языков мира; во-вторых, дискретная система позволяет охватить значительно большую область применимости как «в глубь» так и «в ширь»; в-третьих, дискретная система невозможна без развитого аппарата отношений со своей аксиоматикой, что приводит к отрыву системы от конкретности моделируемой области и открывает возможности для использования дискретной системы сигнализации не только для целей коммуникации, но как кодирующей системы для описания и всевозможных явлений в природе, и для рефлексии, т. е. для описания самого человека, и для описания самой системы сигнализации (о чем говорилось выше).

Но «платой» за эффективность дискретной системы с ее множественностью образов и развитым аппаратом отношений является усложнение системы и за счет усложнения грамматики и за счет введения смысла.

По нашему мнению, основой для перехода от кусочно-непрерывной системы сигнализации к дискретной является нарушение однозначности соответствия между моделируемой ситуацией и ее образом, моделью, т. е. сигналом и сигнальным рядом. Дело тут в следующем. Появление в системе нескольких образов для одной ситуации естественно приводит к необходимости проведения факторизации всей совокупности образов в системе на основе сопо-

ставления модели с ее прообразом. Другими словами, вся совокупность образов в системе разбивается на классы и в один класс относятся те объекты, которые имеют общий прообраз в моделируемой области. Факторизация служит способом сохранения соответствия между моделируемой областью и ее моделью, ибо это соответствие почти исчезает при множественности образов. Но появления фактор-классов в системе приводит, с одной стороны, к появлению смысла как некоторой «субстанции», которая объединяет разные модели в один фактор-класс и приписывает модели ее фактор-класс. Появляется как бы «знак» своего фактор-класса, что открывает возможность для введения слова. С другой стороны, сам фактор-класс не есть модель. Появляются в системе объекты, непосредственно не связанные с моделируемой ситуацией. Система сигнализации становится менее привязанной к конкретной моделируемой области. Сам фактор-класс уже является отдельным элементом во всей уже дискретной совокупности фактор-классов. Появление фактор-класса приводит к факторизации и в моделируемой области, и появление слова об этом свидетельствует. И, наконец, появление фактор-класса невозможно без расширения набора отношений, без дополнения, чтобы с помощью отношений связать части в единое целое. Конечно, в языке человека все далеко не так идеально, не все так строго выдерживается. Мы говорим об некоторой идеальной схеме, которая во многих своих частях имеется, по нашему мнению, в языке.

Отметим еще, что множественность образов и факторизация среди совокупности образом могут приводить к следующему явлению. Имеющиеся отношения в кусочно-непрерывной системе сигнализации и невозможность полного проведения факторизации приводят к тому, что на совокупности фактор-классов появляется иерархическая структура, причем могут возникнуть несколько иерархических структур, базирующихся на разных основаниях. В кусочно-непрерывной системе сигнализации, какая используется животными, почти нет иерархии, в то время как для языка человека это — характерное явление. Об этом свидетельствует и многозначность в фонетике (архи- и гипер-фонемы), в морфологии совпадение падежных флексий для разных падежей у существительных, и синонимия в лексике и ряд других феноменов.

Нам представляется, что появление иерархических структур в системе сигнализации требует специального рассмотрения. Под иерархической структурой на совокупности элементов мы понимаем такое упорядочение элементов, при котором между элементами устанавливается отношение подчиненности и вводятся уровни иерархии, т. е. множества элементов, находящихся в одинаковом отношении подчиненности. Само понятие упорядоченности является очень важным для всего живого. «Средство, при помощи которого организм поддерживает себя постоянно на достаточно высоком уровне упорядоченности, равно на достаточно низком

уровне энтропии, в действительности состоит в непрерывном извлечении упорядоченности из окружающей его среды» (10). Само существование живого организма есть способ борьбы против равновесного состояния или состояния максимальной энтропии. В этой связи мы можем рассматривать систему сигнализации как поисковую систему, которая на предъявляемый ей запрос—внешнее воздействие — ищет ответную реакцию. Для существования живого организма в среде, для его адаптации к среде живой организм должен искать нужную ответную реакцию, нужное поведение. И чем сложнее воспринимаемая организмом среда и чем более точно возможно приспособление к среде, тем сложнее становится поведение, тем труднее и сложнее становится поиск нужной ответной реакции, нужного поведения. По нашему мнению, одним из «энергетических» принципов существования живого организма является поддержание времени поиска ответной реакции на определенном уровне. И появление иерархических структур в живых организмах и в системах, обслуживающих их, служит этой цели. Введение иерархической структуры на совокупности поисковых элементов сокращает перебор, так как полный перебор производится лишь внутри одного класса, а иерархическая структура дает возможность такого класса. Эволюционное развитие живых организмов показывает рост иерархии в структуре и функционировании живых организмов, появление иерархических структур в сообществах, которые сами по себе есть способ для лучшего приспособления к среде.

Но введение иерархии увеличивает сложность системы и требует специальных средств управления иерархической структурой. Появление такого «бюрократического» аппарата ведет к уменьшению эффективности системы, к снижению ее надежности и устойчивости. Заметим, что число различных иерархических классов и уровней иерархии в любой эффективно работающей поисковой системе всегда соразмерно с числом элементов в одном классе: например, при большом числе уровней иерархии и малом числе классов иерархическая поисковая система становится мало эффективной. Следовательно, «сложность» иерархической системы должна быть не слишком большой по сравнению с общим числом поисковых элементов. И не случайно, что в «развитых» естественных системах имеется несколько иерархических структур, дающих возможность вести как бы несколько параллельных поисков. Об этом свидетельствуют факты физиологического строения высших животных и ряд явлений в языке человека. Для языка человека характерно, что многие единицы языка принадлежат сразу нескольким классам. Об этом мы уже говорили при обсуждении факторизации. С другой стороны, появление терминов в языке, сложных слов, и других «сверток» возможно вызывается стремлением понизить слишком большую сложность в языковой системе. Возможно, стремлением иметь несколько иерархических струк-

тур на множестве элементов можно объяснить тот факт, что для человека характерна принадлежность не только к одному коллективу, а сразу к нескольким — к семье, к производственному и к конфессиональному коллективам.

Возвращаясь к проблеме пути возможного перехода от системы сигнализации кусочно-непрерывного типа к дискретной отметим, что ранее приведенные рассуждения носили гипотетический характер, они касались того, каковы бы могли быть пути перехода от одной системы к другой. Но можно указать ряд особенностей в звуковой системе сигнализации высших животных и ряд фактов в истории человека, которые свидетельствовали бы о зачатках тех принципов, о которых мы говорили ранее. Мы остановимся лишь на одной особенности звуковой системы сигнализации, которая представляется нам очень важной.

У высших животных, и в особенности у высших приматов, сообщество имеет довольно сложную иерархическую структуру. В сообществе имеется несколько уровней иерархии и особи в сообществе распределяются по этим уровням. Члены сообщества могут менять свое положение в иерархии и закрепление иерархической структуры осуществляется в создании этикетных форм поведения. Возникновение этикетных форм поведения хорошо известно и весьма хорошо изучено для очень многих видов живых организмов. Но появились сведения о наблюдающихся случаях наличия этикетных форм сигнализации у шимпанзе (об этом см., например, в (5). Другими словами, этикетные формы поведения нашли свое отражение в системе звуковой сигнализации. Это означает, что в некоторых случаях коммуникации выбор конкретного сигнала для подачи его адресату определяется не только моделируемой ситуацией, но и адресатом, местом адресата в иерархической структуре сообщества. Конечно, этикетные формы в языке человека хорошо изучены. Но нам представляется важным отметить следующее: если в системе сигнализации имеется несколько сигналов, которые соответствуют одной и той же внешней ситуации, внешней по отношению к «собеседникам», а употребление каждого из таких сигналов определяется положением адресата в иерархии сообщества, то мы уже имеем дело с появлением многозначности соответствия между внешней ситуацией и ее моделью в системе сигнализации и с возможностью факторизации на совокупности сигналов. Отметим, что появление иерархической структуры невозможно без отношения эквивалентности, что приводит к факторизации и нарушению однозначности в системе и к появлению множественности образов.

Таким образом, отражение и закрепление иерархии сообщества в звуковой системе сигнализации в виде различных звуковых сигналов, относящихся к этикетным формам, представляют возможность для начала перехода от кусочно-непрерывной звуковой системы сигнализации к дискретной. Представляются очень

важными соображения о речеподобности звуковых сигналов обезьян капуцинов, высказанные в (1).

Нам кажется, что появление в звуковой системе сигнализации этикетных форм ведет к расчленению системы сигнализации на различные функциональные планы. С этим мы встречаемся в языке человека, в котором можно выделить как язык обыденной, повседневной коммуникации, так и язык науки, предназначенный для узкой области применимости и для определенного коллектива и который обычно бывает сильно формализован и обладает довольно бедной лексикой и грамматикой, а также и язык поэтический с его специфическим «видением мира» и с громадным использованием аппарата ассоциаций.

В заключение автор хочет выразить свою благодарность Ю. В. Кнорозову, который поставил перед автором задачу о соотношении между системами сигнализации животных и человека и с которым автор неоднократно обсуждал эту проблему, и Е. Л. Гинзбургу за его многократное обсуждение проблематики и текста статьи.

В списке литературы указаны лишь некоторые работы по теме статьи. Обширная библиография содержится в (3) и (11), а также и в (6).

ЛИТЕРАТУРА

1. *Гершуни Г. В., Богданов Б. В., Вакарчук* и др. О коммуникационных сигналах обезьян cebus capucinus (эволюционный аспект). — Журнал эволюционной биохимии и физиологии, т. XIII, № 6, 1977.
2. *Головин Б. Н.* Типы терминосистем и основания их различия. — В кн.: Термин и слово. Горький, 1981.
3. *Иванов В. В.* Чет и нечет. М. Сов. радио, 1978.
4. *Крушинский Л. В.* Биологические основы рассудочной деятельности: эволюционный и физиолого-генетический аспекты поведения. М., МГУ, 1977.
5. *Ван Лавик-Гудолл, Дж.* В тени человека, М., Мир, 1974.
6. *Линден Ю.* Обезьяны, человек и язык. М., Мир, 1981.
7. *Пробст М. А.* О преобразованиях в системе текстов. — В кн.: Лингвистика и поэтика. М., Наука, 1979.
8. *Пробст М. А.* Текст в системах коммуникаций. — В кн.: Проблемы структурной лингвистики. М., Наука, 1981.
9. *Тейяр де Шарден.* Феномен человека. М., Прогресс, 1965.
10. *Шредингер Э.* Что такое жизнь? М., Атомиздат, 1972.
11. How animals communicate. Rd. by Th. Sebeok. Indiana University Press. 1977.

Б. В. СУХОТИН

КЛАССИФИКАЦИИ И СМЫСЛ

Специфическая обработка информации, называемая классифицированием, играет важную роль как в прикладных, так и в общих работах по лингвистике. В результате классифицирования элементы некоторого множества $S=\{s_i\}$ — множества объектов — получают новые имена.

В простейшем случае классифицирование сводится к построению отображения $\varphi : S \to N$ объектов из S на множество имен $N=\{n_j\}$, где множество имен обычно существенно меньше, чем множество объектов. Подмножество имен, отображающихся в одно и то же имя n_j, называется классом c_j. Отображение, возникающее при классифицировании, однозначно в одну сторону; таким образом, классифицирование порождает разбиение D множества объектов S на классы.

Если при отображении φ некоторые объекты не отображаются ни в какое имя, то можно считать, что им соответствует пустое имя $\varkappa$. Такие отображения будем называть неполными. Если φ взаимно однозначно, то соответствующие имена будем называть собственными.

В более сложных случаях на множестве объектов определяется более одного отображения, и, следовательно, одному объекту сопоставляется более одного имени. Систему таких именующих отображений мы будем называть классификацией K. Если классификация содержит только одно именующее отображение, то она будет называться «элементарной». Элементарной классификацией k будет называться также именующее отображение, входящее в состав «неэлементарной» классификации.

Количество классов разбиения D, отображающихся в непустые имена при элементарной классификации k назовем объемом v классификации k. Мы будем также говорить, что k делит S на v классов. Элементарные классификации, являющиеся неполными отображениями, также называются неполными. Они играют важную роль при изучении так называемых «иерархических» классификаций. Введение неполных классификаций позволяет говорить о нетривиальных классификациях «на один класс».

Очевидно, что при наличии нескольких отображений в составе классификации имена, соответствующие одному объекту, уже допускают некоторое взаимное расположение, например, на листе бумаги. В результате такого расположения мы получаем «именующие выражения» или «составные имена».

Именующие отображения, лежащие в основе классификаций, могут задаваться совершенно произвольно. Уже в этом случае

классифицирование бывает полезным. Оно сокращает количество имен, необходимых для идентификации объектов; при этом, правда, не различаются объекты, отображающиеся в одно и то же именующее выражение, а иногда строятся именующие выражения, не соответствующие никакому объекту. Поэтому, добиваясь сокращения используемого количества имен, необходимо следить, чтобы классификация оставалась достаточной для идентификации объектов.

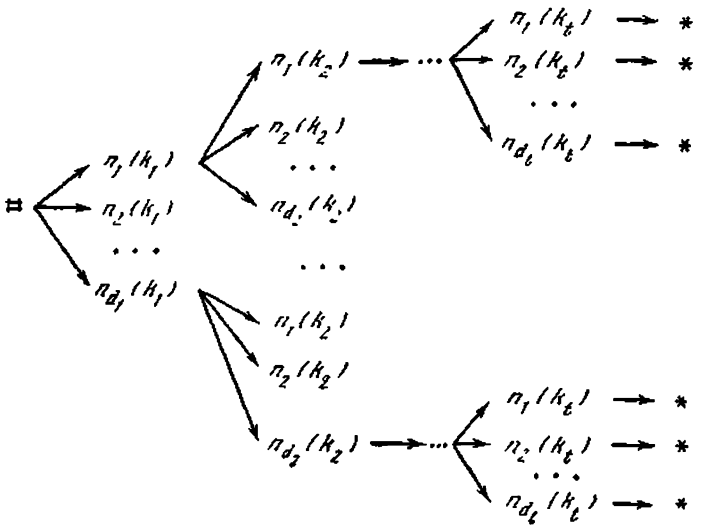
Классификация K называется достаточной для идентификации объектов из S (или просто достаточной), если каждому объекту s_i соответствует некоторое именующее выражение m_j, при этом никакому m_j не соответствует более одного объекта s_i.

Разумеется, особенно интересны случаи, когда именующие отображения определяются так, что одним и тем же именем называются объекты, обладающие каким-нибудь общим существенным свойством. Тогда классифицирование оказывается способом представления знаний об объектах, или таким называнием, при котором назвать — значит понять объект. В этом случае наилучшим или правильным классифицированием является такое, которое опирается на существенные свойства, необходимые и достаточные для идентификации объектов. Классифицирование такого рода мы назовем «мотивированным». Мотивированному классифицированию посвящена обширная литература. Подход автора к этой проблеме излагается в предшествующей публикации [1]. Однако настоящая статья призвана обратить внимание на интересные проблемы, связанные в основном с произвольными именующими отображениями.

Как мы уже упоминали, произвольное классифицирование полезно тем, что сокращает количество имен, необходимых для именования объектов. С этой точки зрения наилучшей классификацией является та, для которой это сокращение максимально. Очевидно, что в общем случае наилучшая классификация не может быть элементарной. Если элементарная классификация достаточна, то она содержит столько имен, сколько объектов, и следовательно, не обеспечивает никакого сокращения. Если отказаться от достаточности, то наилучшей классификацией окажется тривиальная классификация на единственный класс, равный S.

Нетрудно заметить, что при использовании неэлементарных классификаций уже необходимо учитывать структуру, или «синтаксис», именующих выражений даже для того, чтобы решить, сколько имен требуется для описания одного объекта. Пусть именующее выражение есть просто множество имен, сопоставленных данному объекту. Иначе говоря, имена, составляющие именующее

[1] *Сухотин Б. В.* Классификация лингвистических единиц на заранее не заданное число классов. — В кн.: Лингвистика и поэтика. М., 1979.



выражение, не повторяются и не упорядочены. Тогда строение именующих выражений, соответствующих классификации $K=\{k_1, k_2, \ldots, k_t\}$, можно представить в виде дерева (рисунок).

Здесь выражение $n_i(k_j)$ означает i-тое имя в списке N_j имен элементарной классификации k_j. Никакие два имени $n_i(k_j)$ и $n_p(k_q)$ не совпадают, если $i\neq p$ и $j\neq q$. Каждому именующему выражению соответствует набор вершин, считываемых вдоль некоторой ветви этого дерева, начинающейся символом $\#$ и кончающейся символом $*$ ($\#$ и $*$ в этот набор не входят).

Рассмотрение дерева показывает, что общее количество именующих выражений равно

$$w=\prod_{j=1}^{t} d_j,$$

где $d_j=|N_j|$ — количество имен в элементарной классификации k_j, а общее количество имен равно

$$v=\sum_{j=1}^{t} d_j.$$

Эти два выражения можно записать по-другому. Во-первых, учтем, что некоторые d_j могут быть равны между собой, иначе говоря, некоторые классификации k_j на α классов могут встретиться β раз; во-вторых, формально можно допустить наличие

классификаций, встретившихся 0 раз. Тогда все k_j можно будет упорядочить по числу классов, на которое они делят S:

$$w = \prod_{\alpha}^{\infty} (d_\alpha)^{\beta_\alpha}.$$

Замечая, что $d = \alpha$ имеем:

$$w = \prod_{\alpha}^{\infty} \alpha^{\beta_\alpha}, \tag{1}$$

аналогично:

$$v = \sum_{\alpha}^{\infty} \alpha\beta_\alpha. \tag{2}$$

Здесь все β_α, начиная с некоторого β_t, равны 0.

Если количество объектов $|S| = B$, то условие достаточности классификации K можно выразить следующим неравенством:

$$\prod_{\alpha}^{\infty} \alpha^{\beta_\alpha} \geqslant B. \tag{3}$$

При взаимнооднозначном именовании $w = B$.

Приведем пример. Пусть множество S_{10} состоит из десяти объектов. При элементарной классификации и взаимнооднозначном именовании мы должны использовать десять имен:

$$N = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j\}.$$

В результате классифицирования двумя элементарными классификациями на 2 и на 5 классов мы можем получить десять именующих выражений, используя семь имен (табл. 1).

Таблица 1

Классификация	k_1		k_2				
Имя класса Состав класса	x a, b, c, d, e	y f, g, h, i, j	p a, f	q b, g	r c, h	s d, i	t e, j

Именующие выражения: $\{x, p\} \equiv a$, $\{x, q\} \equiv b$, $\{x, r\} \equiv c$, $\{x, s\} \equiv d$, $\{x, t\} \equiv e$; $\{y, p\} \equiv f$, $\{y, q\} \equiv g$, $\{y, r\} \equiv h$, $\{y, s\} \equiv i$, $\{y, t\} \equiv j$.

Мы видим, что в этом примере количество именующих выражений равно количеству объектов. Их число определяется формулой (1).

$$B = w = \Pi\alpha^{\beta_\alpha} = 2^1 \cdot 5^1 = 10$$

(множители вида α^0 не выписываются). Общее число имен определяется по формуле (2):

$$w = \sum \alpha\beta_\alpha = 2 + 5 = 7.$$

Формулы 1—3 позволяют записать задачу сокращения количества имен, необходимых для идентификации объектов из S в следующем виде: для данного множества объектов S построить классификацию K, такую, что

$$\prod_{\alpha}^{\infty} \alpha^{\beta_\alpha} \geqslant B \text{ (условие достаточности)}, \qquad (4)$$

$$\sum_{\alpha}^{\infty} \alpha\beta_\alpha \to \min \text{ (оценочная функция или качество классификации).}$$

Выражение $\sum_{\alpha}^{\infty} \alpha\beta_\alpha$ мы будем теперь обозначать также символами Q (K) или Q. В дальнейшем мы будем рассматривать вопросы, связанные с нахождением наилучших классификаций, т. е. таких, которым при данном B соответствует минимум Q. Однако прежде, чем перейти к этим вопросам, необходимо обратить внимание на то, что обычно структуру именующих выражений считают совсем иной, а значит и вопрос о качестве классификаций решается иначе.

Дело в том, что обычно именующие выражения рассматриваются не как множества имен, а как кортежи, в силу чего имена в пределах именующего выражения могут повторяться. При этом число различных имен можно сократить не только до двух (как нередко делается), но даже до одного. Так, применение четырех двоичных классификаций позволяет описать множество S_{10} из десяти объектов (табл. 2).

Таблица 2

Элементарные классификации	Объекты										
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
k_1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
k_2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	(A)
k_3	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	
k_4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	Именующие выражения										

Здесь 0 означает принадлежность объекта к первому классу i-той элементарной классификации, 1 — ко второму. Элементар-

ные классификации $\{k_1, k_2, k_3, k_4\}$ составляют классификацию K_A. С помощью единственного символа описание десяти объектов задается так:

$$\begin{array}{lll} a=1 & e=11111 & h=11111111 \\ b=11 & f=111111 & i=111111111 \\ c=111 & g=1111111 & j=1111111111 \\ d=1111 & & \end{array} \qquad (B)$$

Нам представляется, однако, неправомерным считать, что в примере (A) число имен равно 2, а в примере (B) — одному. В примере (A) приходится различать одинаковые имена, стоящие на различных позициях в кортеже. В частности, объекты b и c описываются внешне одинаковыми именами и в равных количествах, но стоящими в кортеже на разных местах. Номера этих мест (позиций) можно отождествить с именами элементарных классификаций. Приписывая эти имена символам 0 и 1, мы получим именующие выражения следующего вида:

$$\{\{0, k_1\}, \{0, k_2\}, \{0, k_3\}, \{0, k_4\}\}, \{\{0, k_1\}, \ldots, \{1, k_4\}\}.$$

Если множество имен классификаций пересекается с множеством имен классов, например, те и другие суть номера, то именующие выражения должны состоять из кортежей:

$$\{\langle 0, 1\rangle, \langle 0, 2\rangle, \langle 0, 3\rangle, \langle 0, 4\rangle\}, \{\langle 0, 1\rangle, \langle 0, 2\rangle, \langle 0, 3\rangle, \langle 1, 4\rangle\} \ldots$$

Множества $\{n_i, k_j\}$ или кортежи $\langle n_i, k_j\rangle$ «выполняют роль имен» в том смысле, что они находятся во взаимнооднозначном соответствии с именами, представленными на дереве (см. рисунок). Поэтому число таких выражений также определяется формулой (1).

Теперь, учитывая, что именующие выражения могут состоять не только из имен, но и из выражений описанного вида, мы можем ввести понятие «элемента именования» ν:

$\nu = n$; (простой элемент именования)

$\nu = \{n, k\}$;

$\nu = \langle n, k\rangle$.

Здесь n — имя некоторого класса элементарной классификации.

Пример (B) допускает двоякое истолкование. Если приписать каждой единице ее номер от начала кортежа, то полученные выражения, например $\{\langle 1, 1\rangle, \langle 1, 2\rangle, \langle 1, 3\rangle\}$, можно будет рассматривать как выражения вида $\langle n, k\rangle$, где k — номер неполной классификации на 1 класс; однако количество единиц можно воспринять и как номер класса в единственной классификации на 10 классов, чему соответствуют простые элементы именования.

Второе толкование предпочтительнее, т. к. первое не охватывается формулой (1).

Рассмотренные примеры показывают, что количество элементов именования неизменно относительно различных способов построения именующих выражений и определяется формулой (1). Если именующие выражения строить по типу кортежа, а имена классов задать одним и тем же списком для всех элементарных классификаций, то формула (2) примет особенно простой вид:

$$v = Q = \alpha\beta.$$

Здесь α — количество имен классов, β — количество классификаций.

В лингвистической литературе кортеж обычно называется текстом, имена, образующие кортеж, — буквами, словами или словоформами, список имен называется алфавитом или словарем. В литературе по теории информации кортеж именуется сообщением, имена, составляющие кортеж — символами или словами, списки символов — алфавитами. В пределах данной работы нам хотелось бы сохранить равнозначность терминов «текст» и «кортеж», а сообщение отождествить с именующим выражением, которое не обязательно строится по типу кортежа.

Тема настоящей статьи имеет определенную связь с простейшими понятиями теории информации. Как известно, в теории информации важную роль играет экспоненциальная зависимость между числом w возможных сообщений $M = \{m_i\}$ типа кортежа и объемом алфавита:

$$w = \alpha^{\beta}. \qquad (5)$$

Здесь β — длина сообщения, $\alpha = |A|$ — объем алфавита, $w = |M|$ — количество возможных сообщений.

С развиваемой точки зрения m_i именуют объекты s_i из множества S («события»); $|A|$ можно воспринять как количество классов в каждой из β элементарных классификаций. В силу условия достаточности объем множества сообщений не должен быть меньше объема множества событий.

Для записи текстов из M можно выбирать алфавиты разного объема. Естественно, при этом будет изменяться длина текста, определить которую можно, решив уравнение (5) относительно β:

$$\beta = \log w / \log \alpha.$$

Весьма важны следующие варианты этого уравнения: $\beta \log \alpha = \log w$ и $\log \alpha = \log w / \beta$. При равной вероятности сообщений из M величина $\log w$ определяет информацию каждого m_i, величина $\log \alpha$ измеряет среднюю информацию на символ. Таким образом, при равной вероятности сообщений одна и та же величина

информации характеризует сообщения (тексты) длина и алфавит которых связаны соотношением (5). Можно заметить, что эта величина в конечном счете определяется объемом множества событий (по условию достаточности), а длина текста и алфавит «подстраиваются» для организации сообщений, способных именовать события из S.

В настоящей работе мы обращаем внимание на другую числовую характеристику сообщения: количество элементов именования, определяемое для сообщения типа кортежа с единым алфавитом выражением $Q=\alpha\beta$. Одинаковое значение величины Q характеризует сообщения, эквивалентные относительно процедуры именования, как бы оценивая субъективный фактор выбора некоторого количества классификаций и классов в этих классификациях. Так, например, сообщению, содержащему два символа из трехбуквенного алфавита соответствует то же значение Q, что и сообщению из трех букв двухбуквенного алфавита. Информация же в этих сообщениях не одинакова.

Величину Q мы предлагаем считать оценкой количества «абстрактного смысла» сообщения, осознавая определенный терминологический риск этого предложения. Далее мы приведем дополнительные аргументы в пользу такого словоупотребления.

Пусть $M(Q)$ есть множество сообщений, содержащих одно и тоже количество абстрактного смысла. Количеством «конкретного смысла» или просто «смыслом» мы будем называть минимальное количество элементов именования, используемых для построения множества $M(Q)$ при наличии некоторых ограничений. Наиболее естественным и важным является ограничение количества объектов (событий), требующих идентификации (условие достаточности). Таким образом, конкретный смысл возникает, например, в оптимизационной задаче (4). Прологарифмировав первое выражение системы (4), мы прийдем к следующей формулировке:

$$\begin{cases} \sum \beta_\alpha \log \alpha \geqslant \log B \\ \sum \beta_\alpha \alpha \to \min. \end{cases}$$

Иными словами, ограничение, задаваемое первым выражением, есть ограничение на количество информации, а саму задачу можно описать как «определение смысла сообщения, информация которого не меньше заданной величины». Помимо ограничения на количество информации, особое значение имеют ограничения на «существенность», или «осмысленность» классов. Они имеют место в случае мотивированных классификаций, о которых мы упоминали выше. Соответствующие ограничения можно называть содержательными или смысловыми. Очевидно, что при наличии смысловых ограничений минимум Q не может быть таким глубоким, как при их отсутствии. Поэтому можно предложить еще одну

характеристику смыслового характера — «относительный смысл»:

$$\Delta Q = Q^* - Q.$$

Здесь Q^* есть смысл при наличии, а Q — при отсутствии смысловых ограничений. ΔQ оценивает смысл, привносимый смысловыми ограничениями.

Мы склонны полагать, что развиваемое представление о смысле, по крайней мере частично, соответствует представлению о смысле, восходящему к Г. Фреге, а информация соответствует тому, что он называет «денотативным значением».

Дальнейшее изложение будет посвящено исследованию основной оптимизационной задачи

$$\begin{cases} \prod \alpha^{\beta_\alpha} \geqslant B \\ \sum \alpha\beta_\alpha \to \min. \end{cases}$$

Напомним, что все числа здесь — целые неотрицательные, $\alpha > 1$. Предварительно полезно рассмотреть более простую задачу, имеющую определенное эвристическое значение:

$$\begin{cases} \alpha^\beta = B \\ \sigma\beta \to \min, \end{cases}$$

где α и β могут принимать любые положительные вещественные значения. Минимум $Q = \alpha\beta$ в этом случае находится весьма просто. Приравняем производную Q' нулю:

$$Q' = \alpha'\beta + \alpha\beta' = 0.$$

Логарифмируя $\alpha^\beta = B$ находим: $\beta = \log_m B / \log_m \alpha$.
Далее имеем:

$$\alpha' \frac{\log_m B}{\log_m \alpha} + \alpha \left(\frac{\log_m B}{\log_m \alpha}\right)' = 0;$$

$$\frac{\log_m B}{\log_m \alpha} - \frac{\alpha \log_m B}{\log^2 \alpha \cdot \alpha \cdot \ln m} = 0; \qquad \frac{1}{\log_m \alpha \cdot \ln m} = 1;$$

$$\log_m \alpha \cdot \ln m = 1; \qquad \ln \alpha = 1; \quad \alpha = e.$$

Мы видим, что максимальное сокращение количества элементов именования для именующего выражения типа кортежа достигается при $\alpha = e$, $\beta = ln\ B$, откуда $Q = elnB$. Естественно, e не может служить точной мерой оптимального количества букв в алфавите (количества классов в элементарной классификации), однако имеет место аналогичное утверждение для целых чисел.

Для достижения минимума Q при описании множества объектов мощности B достаточно пользоваться либо только двоичными, либо только троичными, либо (вперемешку) двоичными и троичными элементарными классификациями.

Это утверждение в дальнейшем мы будем называть основной теоремой. Нетрудно убедиться, что только двоичных или только троичных классификаций недостаточно для достижения минимума Q. Например, для описания множества из 27 объектов нужно взять не менее 10 двоичных имен, так как $2^5=32$, а 2^4 равно еще только 16. Однако то же множество объектов описывается девятью троичными символами, так как $3^3=27$. С другой стороны, для описания 4 объектов достаточно 4 двоичных символов ($2^2=4$) и не менее 6 троичных ($3^3=9$). Для описания множества из 18 объектов комбинация из 6 троичных и двух двоичных символов дает лучший результат, чем чисто двоичное или чисто троичное представление: $18=3^2\cdot 2$; $Q=3\cdot 2+2=8$; $2^4<18<2^5$; $Q(2^5)=10$; $3^2<18<3^3$; $Q(3^3)=9$.

Путь к доказательству основной теоремы довольно сложный. Назовем натуральным представлением числа B выражение $\Pi_N=\prod_{\alpha}^{\infty}\alpha^{\beta_\alpha}$, где $\alpha=2, 3, \ldots, \infty$; β_α — целое неотрицательное число (в частности, 0) и $\Pi\alpha^{\beta_\alpha}=B$; назовем 2,3-представлением представление вида $2^{\beta_2}3^{\beta_3}$, где все $\beta_4, \ldots, \beta_\infty$ равны 0, а по крайней мере один из показателей β_2, β_3 не равен нулю. Представления задают число и структуру именующих выражений некоторой классификации, достаточной для идентификации (описания) B объектов.

Введем понятие несводимого 2,3-представления. Для этого заметим, что три двоичные классификации всегда «с пользой» можно заменить двумя троичными. Действительно, $3^2>2^3$; в то же время $Q(3^2)=Q(2^3)=6$; значит, не увеличивая Q, путем замены трех двоичных классификаций двумя троичными мы увеличиваем количество объектов, доступных описанию.

Поэтому имеет смысл использовать три типа 2,3-представлений: I тип: 3^b, II тип: $2\cdot 3^b$, III тип: $2^2\cdot 3^b$ ($b=0, 1, 2, \ldots$). Представления указанных трех типов и будут называться несводимыми 2,3-представлениями. Говоря о 2,3-представлениях в дальнейшем мы будем иметь в виду несводимые представления.

Доказательство строится по следующему плану:

Т. 1 доказывает, что не существует двух 2,3 — представлений $\Pi_{2,3}$ и $\Pi'_{2,3}$ с одинаковой оценкой Q.

Т. 2 доказывает, что из $\Pi_{2,3}>\Pi'_{2,3}$ следует $Q(\Pi_{2,3})>Q(\Pi'_{2,3})$.

Т. 3 доказывает, что из $\Pi_N>\Pi_{2,3}$ следует $Q(\Pi_N)>Q(\Pi_{2,3})$. Здесь Π_N — натуральное представление.

Т. 4 доказывает, что для любого $\Pi_{2,3}=2^a3^b$ можно построить представление $\Pi'_{2,3}=2^c3^d$ такое, что $Q(2^c3^d)=Q(2^a3^b)\pm 1$ ($d\geqslant 1$).

С помощью представлений основная теорема записывается так: Для любого Π_N существует $\Pi_{2,3}$ такое, что $\Pi_{2,3}\geqslant\Pi_N$ и $Q(\Pi_{2,3})\leqslant Q(\Pi_N)$.

Для доказательства некоторым образом выбираются представления $\Pi_{2,3}$ и $\Pi'_{2,3}$, при этом $\Pi_{2,3}\geqslant\Pi_N>\Pi'_{2,3}$. Т. 4 позволяет выбрать

их так, что $Q(\Pi_{2,3}) - Q(\Pi'_{2,3}) = 1$. По Т. 3 из $\Pi_N > \Pi'_{2,3}$ следует $Q(\Pi_N) > Q(\Pi'_{2,3})$, а значит, с учетом целочисленности, $Q(\Pi_N) \geqslant Q(\Pi'_{2,3}) + 1$, т. е. $Q(\Pi_N) \geqslant Q(\Pi_{2,3})$.

Ниже приводим доказательства теорем.

Т. 1. Не существует двух различных несводимых $2, 3$ — представлений с одинаковой оценкой Q.

Возьмем представления 2^a3^b и 2^c3^d с оценками $2a + 3b$ и $2c + 3d$. Если типы представлений совпадают, то и сами представления совпадают:

$$3b = 3d \to b = d$$

$$2 + 3b = 2 + 3d \to b = d$$

$$4 + 3b = 4 + 3d \to b = d$$

Пусть 2^a3^b имеет тип I, 2^c3^d — тип II, тогда:

$$3b = 2 + 3d \to 3b - 3d = 2, \quad b - d = 2/3,$$

что невозможно, поскольку b и d — целые числа. Остальные комбинации дают:

I, III $\to b - d = 4/3$ II, I $\to b - d = 2/3$

II, III $\to d - b = 2/3$ III, I $\to d - b = 4/3$

III, II $\to d - b = 2/3$

Т. 2 Если $2^a3^b > 2^c3^d$, то $2a + 3b > 2c + 3d$, где 2^a3^b и 2^c3^d — несводимые представления.

Девять случаев в зависимости от типов представлений соответственно таковы:

1) I, I: $3^b > 3^d \to b > d \to 3b > 3d$;

2) I, II: $3^b > 2 \cdot 3^d \to 3b > 2 + 3d$.

Действительно, $b > \log_3 2 + d \to b - d > 0$.
Предположим, что $3b \leqslant 2 + 3d$, тогда $b - d < 2/3$.
Это невозможно, так как $b > d$, a, b и d — целые числа.

3) I, III: $3^b > 4 \cdot 3^d \to 3b > 4 + 3d$;

$$b > \log_3 4 + d; \quad b - d > 1{,}26.$$

Предположим, что $3b \leqslant 4 + 3d$, тогда $b - d \leqslant 4/3$.
Между 1,26 и 1,33 нет целых значений.

4) II,I: $2 \cdot 3^b > 3^d \to 2 + 3b > 3d$; $\log_3 2 + b > d$;

$$3\log_3 2 + 3b > 3d \to 1{,}89 + 3b > 3d,$$

значит и подавно $2 + 3b > 3d$.

5) II, II: $2 \cdot 3^b > 2 \cdot 3^d \to 3^b > 3^d \to b > d \to 2 + 3b > 2 + 3d$.

6) II, III: $2 \cdot 3^b > 4 \cdot 3^d \to 2 + 3b > 4 + 3d$

Этот случай сводится к случаю 2.

7) III, I: $4 \cdot 3^b > 3^d \to 4 + 3b > 3d$; $\log_3 4 + b > d$; $d - b < 1{,}26$. Пусть $4 + 3b \leqslant 3d$, тогда $d - b \geqslant 4/3$, что противоречит предыдущему неравенству.

8) III, II: $4 \cdot 3^b > 2 \cdot 3^d \to 4 + 3b > 2 + 3d$.

Этот случай сводится к случаю 4.

9) III, III: $4 \cdot 3^b > 4 \cdot 3^d \to 3^b > 3^d \to b > d \to 3b > 3a \to$
$\to 4 + 3b > 4 + 3d$.

Т. 3. Если натуральное представление $\Pi_N = \Pi\alpha^{\beta_\alpha}$ больше 2, 3 — представления $\Pi_{2,3} = 2^a 3^b$, то оценка Π_N больше оценки $\Pi_{2,3}$, т. е.

$$\prod_\alpha \alpha^{\beta_\alpha} > 2^a 3^b \to \sum_\alpha \alpha\beta_\alpha > 2a + 3b.$$

Не нарушая общности, вместо произвольного $\Pi_{2,3} = 2^a 3^b$ ($\Pi_{2,3} < \Pi_\Lambda$) можно взять наибольшее представление $\Pi^H_{2,3} = 2^a 3^v$ ($\Pi_N > \Pi^H_{2,3} > \Pi_{2,3}$), поскольку в силу Т. 2 $2u + 3v > 2a + 3b$ ($a \neq u$, $b \neq v$), и в силу Т. 1 это наибольшее представление единственно. Имеются три случая соответственно типам $2^a 3^v$.

1) Тип I. $\Pi\alpha^{\beta_\alpha} > 3^v \to \Sigma\beta_\alpha > 3v$.

Выражение $\Pi\alpha^{\beta_\alpha} > 3^v$ логарифмируем по основанию 3: $\Sigma\beta_\alpha \times \times \log_3 \alpha > v$, и умножаем на 3:

$$\Sigma 3\beta_\alpha \log_3 \alpha > 3v.$$

Докажем, что

$$\Sigma\alpha\beta_\alpha > \Sigma 3\beta_\alpha \log_3 \alpha \qquad (D).$$

Исследуем это неравенство для каждого слагаемого:

$$\alpha\beta_\alpha > 3\beta_\alpha \log_3 \alpha;$$

сокращаем на β_α: $\alpha > 3 \log_3 \alpha$, т. е. $\log_3 3^\alpha > 3 \log_3 \alpha$.

Потенцируем: $3^\alpha > \alpha^3$.

Для $\alpha = 2, 3, 4$ имеем:

$$\alpha = 2 \to 9 > 8; \quad \alpha = 3 \to 27 = 27; \quad \alpha = 4 \to 81 > 64.$$

Для остальных α докажем по индукции от противного.

Пусть $3^\alpha > \alpha^3$ верно, а $3^{\alpha+1} > (\alpha + 1)^3$ неверно, т. е. $3^{\alpha+1} \leqslant (\alpha + 1)^3$. Последнее выражение преобразуем к виду:

$$3^\alpha \leqslant \frac{\alpha^3}{3} + \alpha^2 + \alpha + 1$$

и вычтем из неравенства $3^\alpha > \alpha^3$, получим

$$0 > 2/3\,\alpha^3 - \alpha^2 - \alpha - 1/3 \quad \text{или}$$

$$0 > 2\alpha^3 - 3\alpha^2 - 3\alpha - 1 \qquad (F).$$

Корни последнего неравенства найдем приближенно методом интервалов. Многочлен меняет знак на отрезке $[2, 3]$; первый корень $\alpha_1 \approx 2{,}261$, остальные корни — комплексные. Неравенство (F) неспра-

ведливо для $\alpha > 2{,}261$, т. е. искомое неравенство (D) справедливо по крайней мере для $\alpha \geqslant 3$. Далее, в силу транзитивности имеем:

$$\Sigma\alpha\beta_\alpha > \Sigma 3\beta_\alpha \log_3 \alpha \;\&\; \Sigma 3\beta_\alpha \log_3 \alpha > 3v \to \Sigma\alpha\beta_\alpha > 3v.$$

2) Тип II. Доказать $\Pi\alpha^{\beta_\alpha} > 2 \cdot 3^v \to \Sigma\alpha\beta_\alpha > 2 + 3v$.
Логарифмируем выражение $\Pi\alpha^{\beta_\alpha} > 2 \cdot 3^v$ и, умножая на 3, получаем:

$$\Sigma 3\beta_\alpha \log_3 \alpha > 3 \log_3 2 + 3v.$$

Перенося $3 \log_3 2$ влево и прибавляя к обеим частям 2, имеем:
$\Sigma 3\beta_\alpha \log_3 \alpha - 3 \log_3 2 + 2 > 2 + 3v$.

Неравенство (D'), аналогичное (D) из предыдущего случая, выглядит так:

$$\Sigma\alpha\beta_\alpha > \Sigma\beta_\alpha \log_3 \alpha + 0{,}107 \quad (0{,}107 \approx 2 - 3 \log_3 2) \qquad (D')$$

или, при рассмотрении отдельно каждого «реального» слагаемого, для которого $\beta_\alpha \geqslant 1$:

$$\alpha > 3 \log_3 \alpha + 0{,}107/\beta_\alpha.$$

Здесь обе части разделены на β_α. Данное неравенство справедливо, если верно следующее: $\alpha > 3 \log_3 \alpha + 0{,}107$.

Потенцируя, имеем $3^\alpha > \alpha^3 \cdot 1{,}125$, что дает для $\alpha = 2, 3, 4$ (G):

$\alpha = 2 \to 9 = 8 \cdot 1{,}125 = 9$;

$\alpha = 3 \to 27 < 27 \cdot 1{,}125 = 30{,}375$;

$\alpha = 4 \to 81 < 64 \cdot 1{,}125 = 72$.

Таким образом, для $\alpha = 4$ неравенство выполняется. Для следующих значений α утверждение докажем по индукции. Допустим, что неверно:

$$3^{\alpha+1} > (\alpha + 1)^3 \cdot 1{,}125,$$

т. е. верно $3^{\alpha+1} \leqslant (\alpha + 1)^3 \cdot 1{,}125$, или после деления на 3: $3^\alpha \leqslant (\alpha + 1)^3 \cdot 0{,}375$. Вычтя это неравенство из (G), получим:

$$0 > 0{,}75\alpha^3 - 1{,}125\alpha^2 - 1{,}125\alpha - 0{,}375.$$

Многочлен меняет знак на отрезке $[2, 3]$; дальнейшие действия и выводы аналогичны первому случаю.

Можно заметить, что нарушение неравенства (D') для $\alpha = 2, 3$ в сумме не превосходит избытка для $\alpha = 4$, поэтому (D') справедливо, начиная с $\alpha = 2$, если имеются $\alpha \geqslant 4$. Если же таких α нет, то утверждение справедливо в силу Т. 2 также начиная с $\alpha = 2$.

3) Тип III. Доказать $\Pi\alpha^{\beta_\alpha} > 4 \cdot 3^v \to \Sigma\alpha\beta_\alpha > 4 + 3v$.
Логарифмируем $\Pi\alpha^{\beta_\alpha} > 4 \cdot 3^v$, получим $\Sigma\beta_\alpha \log_3 \alpha > \log_3 4 + v$; умножим на 3:

$$\Sigma 3\beta_\alpha \log_3 \alpha > 3 \log_3 4 + 3v,$$

Сопоставляем поэлементно:

$$3\beta_\alpha \log_2 \alpha > 3 \log_3 4 + 3v.$$

Аналогично предыдущим случаям получаем (D''):

$$3^a > \alpha^3 \cdot 1{,}262 \qquad (D'').$$

Для $\alpha = 2, 3, 4, 5$ имеем:

$\alpha = 2 \to 9 < 8 \cdot 1{,}262 \approx 10{,}096;$

$\alpha = 3 \to 27 < 27 \cdot 1{,}262 \approx 34{,}074;$

$\alpha = 4 \to 81 > 64 \cdot 1{,}262 \approx 80{,}768;$

$\alpha = 5 \to 243 > 125 \cdot 1{,}262 \approx 157{,}750.$

Доказательство по индукции приводит к неравенству:

$$0 > 0{,}84\alpha^3 - 1{,}262\alpha^2 - 1{,}262\alpha - 0{,}42,$$

которое меняет знак на отрезке $[2, 3]$. Дальнейшие действия аналогичны предыдущим. Нарушения справедливости неравенства (D'') для $\alpha = 2, 3$ несущественны. При наличии $\alpha \geqslant 5$ избыток уже для $\alpha = 5$ превышает недостаток для $\alpha = 2, 3$. При отсутствии таких α случай охватывается Т. 2, поскольку $2^{\beta_1}3^{\beta_2}4^{\beta_4} = 2^{\beta_1+2\beta_4}3^{\beta_2}$.

Т. 4. Для каждого несводимого $2, 3$ — представления $\Pi_{2,3} = 2^a3^b$ ($b \geqslant 1$) существует несводимое $2, 3$ — представление $\Pi'_{2,3}$, оценка которого на 1 больше (меньше) оценки $\Pi_{2,3}$.

Имеющиеся 6 случаев представлены следующей таблицей:

	$\Pi_{2,3} < \Pi'_{2,3}$			$\Pi_{2,3} > \Pi'_{2,3}$		
Тип $\Pi_{2,3}$:	3^b	$2 \cdot 3^b$	$4 \cdot 3^b$	3^b	$2 \cdot 3^b$	$4 \cdot 3^b$
$\Pi'_{2,3}$:	$4 \cdot 3^{b-1}$	3^{b+1}	$2 \cdot 3^{b+1}$	$2 \cdot 3^{b-1}$	$4 \cdot 3^{b-1}$	3^{b+1}
$Q(\Pi_{2,3})$:	$3b$	$2+3b$	$4+3b$	$3b$	$2+3b$	$4+3b$
$Q(\Pi'_{2,3})$:	$3b+1$	$3+3b$	$5+3b$	$3b-1$	$1+3b$	$3+3b$

Основная теорема. Для любого Π_N существует $\Pi_{2,3}$ такое, что $\Pi_{2,3} \geqslant \Pi_N$, $Q(\Pi_{2,3}) \leqslant Q(\Pi_N)$.

Пусть 2^c3^b — некоторое представление, такое, что $2^c3^b \geqslant \Pi_N$. Без потери общности можно считать, что 2^c3^b таково, что любое $2, 3$ — представление 2^e3^d с меньшей оценкой, чем 2^c3^b, уже меньше Π_N, т. е.

$$2c + 3d < 2a + 3b \to 2^c3^d < \prod_\alpha \alpha^{\beta_\alpha}.$$

Пусть 2^e3^d — ближайшее по оценке снизу к представлению 2^c3^b. Тогда, в силу Т. 4 оценка $Q(2^e3^d)$ меньше $Q(2^c3^b)$ ровно на единицу. Однако в соответствии с Т. 3 из $\Pi\alpha^{\beta_\alpha} > 2^e3^d$ следует, что $\Sigma\alpha\beta_\alpha > 2c + 3d$.

Отсюда $\Sigma\alpha\beta_\alpha \geqslant 2c + 3d + 1$, т. е. $\Sigma\alpha\beta_\alpha \geqslant 2a + 3b$.

Я. Я. ШАЛАМОВ и др.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СЛОВАРЕЙ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛОВА, КАК СОЧЕТАНИЯ ИЗ ДВУХ СОГЛАСНЫХ БУКВ И ЕДИНСТВО УЗБЕКСКОГО, ЭРЗЯ-МОРДОВСКОГО, НОРВЕЖСКОГО И ИНДОНЕЗИЙСКОГО ЯЗЫКОВ

Определим слово, как последовательность двух согласных букв, разделенных или не разделенных гласной буквой, и проанализируем содержание четырех словарей: узбекско-русского, эрзянско-русского, норвежско-русского и индонезийско-русского, именуемых в дальнейшем сериями и содержащих соответственно свыше или около 40000, 15000, 77000 и 45 000 словарных статей, именуемых в дальнейшем событиями. При просмотре отбирались события, когда сочетанию букв, определяющих событие, соотносится n определений. Число определений n, зафиксированных данным событием, зависит как от природы события, так и от размера словаря, определяющего эффективность регистрации всех значений n. Это различие в эффективности регистрации устранялось изменением уровня регистрации. Для первой серии было отобрано 25 событий с $n \geqslant 9$; для второй 26 событий с $n \geqslant 5$; для третьей 39 событий с $n \geqslant 13$, и для четвертой 40 событий с $n \geqslant 12$.

Отобранные события обладают рядом особенностей:

а) большинство отобранных событий является словом в определенном выше смысле, т. е. начинается с согласной буквы и содержит в своем составе минимум две согласные буквы;

б) процент событий, начинающихся с буквы Т, превышает ожидаемое приблизительно на порядок. Ожидаемым распределением считается равновероятное появление любой буквы;

в) слово ТР присутствует во всех сериях, причем вклад данного слова превышает ожидаемое вероятностное значение.

Рассмотрим словарные статьи, соответствующие ТР событиям:

а) в первой серии было отобрано три события: *тер* — 1. 'собирать, убирать'; 2. 'укладывать' . . . с $n=9$; *торт* 'тянуть, тащить' . . . с $n=13$ и *тур* 'стоять, находиться' . . . с $n=13$;

б) во второй серии максимальное значение $n=14$ соответствует событию *таргамс* 'вытащить, вынуть, тянуть'. . .

в) в третьей серии, кроме двух событий: *трекке*[1] 'тянуть на буксире, тащить, волочить' с $n=19$ и *трекк* 'тяга, вытяжка' с $n=15$, в отобранное число событий входят два слова ДР: *дра*

[1] В настоящем разделе применена унифицированная форма записи событий разных серий на основе русского алфавита.

'тянуть, тащить' с $n=13$ и *драг* 'затяжка, глоток' ... с $n=21$;

г) в четвертой серии присутствует словарная статья *тарик* 'тянуть, тащить, волочить' с $n=17$.

Считая распределение событий с n большим некоторого n минимального равномерным, получаем вероятность случайного наложения двух событий из разных серий $W \sim 10^{-3}$. Для четырех независимых серий $W \sim (10^{-3})^3$.

В заключение выпишем набор значений n, соответствующих найденным событиям.

I. *торт* 1. тянуть, тащить; натягивать, протягивать; 2. возить, тянуть, тащить; 3. притягивать (напр., о магните); 4. втягивать, тянуть (напр., втягивать воздух, вдыхать, о печной тяге); 5. взвешивать; 6. натягивать, надевать; 7. привлекать, вовлекать; 8. испытывать, чувствовать; 9. подавать, подносить, дарить; 10. молоть (зерно); 11. убавлять; 12. перегонять, курить; 13. В сочетаниях образует сложные глаголы.

II. *таргамс* 1. вытащить, вынуть; 2. извлекать, выдергивать; 3. дергать (коноплю, лен); 4. рыть, вырыть, отрыть; 5. привлечь (к суду, к ответственности); 6. притянуть (напр., о магните); 7. втянуть; 8. растянуть; протянуть; 9. разоблачить; 10. добывать (торф и т. п.); 11. тянуть (за что-л.); 12. тянуть (струну и т. п.); 13. затянуть (песню и т. п.); 14. курить.

III. *трекке* 1. тащить, тянуть, волочить, вести, тянуть на буксире; 2. в сочетаниях — надевать; 3. тянуть, бросать жребий; 4. выхватывать из ножен (саблю, шашку); 5. привлекать, вовлекать, втягивать; 6. тащить (зубы); 7. ловить рыбу удочкой; 8. перелетать, тянуть (о вальдшнепах), переселяться (о животных), идти (о косяках рыб); 9. притягивать (о магните); 10. вдыхать (воздух); иметь тягу (о печи); 11. раздуваться (о парусах); 12. проноситься (об облаках, о грозе); рассеиваться (о дыме, тумане), вытягивать; 13. промокать, протекать, давать течь (о судне); 14. обивать, обтягивать (мебель и т. п.); покрывать чехлом; 15. вычитать, удерживать (из зарплаты); 16. заводить (часы); 17. ходить (в шахматах); 18. волочить, вытягивать, прокатывать (проволоку); 19. проводить, прочертить (линию).

трекк 1. тяга; 2. поток воздуха, сквозняк; 3. перелет, тяга (птиц), миграция, ход (рыбы); перелетная стая (птиц), переселяющееся стадо (животных); 5. ход (в шахматах); 6. черта, контур, очертание; 7. черта лица; 8. маневр, ловкий шаг; 9. обивка, чехол (мебели); 10. футляр (для музыкальных инструментов); 11. упряжь; 12. вытяжка, экстракт; 13. вычет, удержание; 14. мазок (кисти); 15. рейс;

дра 1. тянуть, тащить, вести; 2. таскать, драть (за волосы); 3. выхватывать, обнажать (саблю, шашку, кинжал); 4. притягивать (о магните); 5. привлекать, пленять, очаровывать; 6. вдыхать (воздух); 7. вращать, крутить; 8. заводить (часы); 9. извле-

кать (пользу), делать (заключение); 10. пожимать, подергивать (плечами), налегать (на весла); 11. проводить (черту, линию); 12. медлить (с ответом), растягивать (слова); 13. уезжать, отправляться.

драг 1. вдох, вдох и выдох; 2. затяжка (при курении); 3. глоток; 4. взмах веслом; 5. черта; 6. черта характера; 7. выражение лица, облик; 8 подергивание мускулов лица, тик; 9. схематический чертеж; 10. очертание, контур; 11. ровное и плавное движение; 12. течение, поток воды; 13. тяга, порыв, дуновение ветра; 14. морской прибой, буруны; 15. волок; 16. волокуша; 17. металлический обод (у полоза саней), деревянный полоз (у нарт); 18. фальшкиль, килевая полоса; 19. ложбина (на местности); 20. рудная жила; 21. удар.

IV. *тарик* (*менарик*) 1. тянуть, тащить, волочить; 2. вытаскивать, обнажать (меч, крис); 3. оттягивать, отводить (назад), выводить войска; 4. извлекать, получать; 5. привлекать; 6. втягивать, вовлекать; 7. выводить (заключение); 8 проводить (черту, линию); 9. взимать, собирать (налог, плату, пошлину); 10. возвращать (долг); 11. запрашивать, требовать; 12. водить (автомобиль); 13. заводить, заводить (разговор); 14. поднимать, ставить (паруса); 15. вдыхать, втягивать (воздух); 16. привлекательный, интересный; 17. симпатичный, пленительный.

ЭФФЕКТ КОМПЕНСАЦИИ В ТЮРКСКИХ И МОНГОЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ

При составлении словаря языков народов мира был обнаружен эффект компенсации, состоящий в следующем. Всякий словарь является суммой какого-либо количества словарных статей. В подробных словарях длина словарных статей колеблется в широких пределах от одной строчки до ста и более строчек, отражая, помимо числа значений, употребительность слова в речевом потоке. Все заимствованные слова имеют, как правило, небольшую длину словарной статьи. Общая длина словарных статей, начинающихся на данную букву, равна сумме длин отдельных статей. Будем называть эту величину длиной буквы в данном словаре. Относительная длина данной буквы получается при делении длины буквы на общую длину словаря. Например, в узбекско-русском словаре при общей длине всех словарных статей 646,1 страниц буква Д занимает 20,5 страниц, что дает длину буквы Д равную 3,2%. Если алфавит какого-либо словаря содержит 30 букв, то априори нет каких-либо оснований считать какую-либо букву более употребительной и мы должны получать для любой буквы цифру 3,3% с большой степенью точности. При измерениях длин букв в словарях различных языков были получены распределения, резко отличные от априорных равновероятных, при этом был обнаружен

для ряда букв, или более точно, для относительных длин букв, эффект постоянства суммы длин двух или нескольких букв, *который будем называть эффектом компенсации.*

Наиболее подробные данные об эффекте компенсации могут быть получены на базе тюркских, более определенно, тюркско-русских словарей. В настоящее время авторам известны словари 21 тюркского языка. Список этих словарей с указанием года издания и количества страниц, содержащихся в данном словаре, приведен в таблице. В таблицу включены три словаря языков монгольской группы — монгольского, бурят-монгольского и калмыцкого. Указанные в таблице словари сильно отличаются по своим характеристикам. Словари составлены либо одним автором, либо группой составителей. Словари сильно отличаются по объему, причем количество страниц в словаре в ряде случаев не отражает истинный объем словаря. Словари отличаются степенью включения заимствованных слов. При вычислениях длины буквы для ряда словарей частично вносились поправки на заимствования из *русского языка.*

№ п	Язык	Количество страниц в словаре	Год издания словаря	Д + Т в %	П + Б в %	К + Қ + Г + Ғ + Х + Ҳ в %
1	узбекский	646,1	1959	14,8	11,0	21,4
2	киргизский	956,1	1965	14,8	10,1	20,9
3	казахский	234,5	1936	12,8	9,4	20,3
4	каракалпакский	748,7	1958	12,5	11	22,34
5	ногайский	455,5	1963	13,4	8,8	17,4
6	уйгурский	790,1	1968	14,8	10,8	20,5
7	древнетюркский	642	1969	12,6	9,6	20,3
8	кумыкский	377	1969	10,6	11,8	24,4
9	татарский	767	1966	12,8	9,3	23,6
10	башкирский	712,1	1958	12,2	11,5	21,;
11	туркменский	808,3	1968	13,1	12,0	23,5
	туркменский	371,7	1940	11	10,8	20,6
12	турецкий	683	1945	14,2	8,6	19,6
13	азербайджанский	380,0	1941	11,8	11,2	21,3
	азербайджанский	856,9	1939	11,2	11,0	21,2
	азербайджанский	404,5	1965	12,4	9,72	22,17
14	ойротский (алтайский)	182,6	1947	15,3	8,2	23
	ойротский (туба кижи)	74,1	1966	13,6	10,0	20,3
15	тувинский	601,0	1968	15,0	10,7	19,2
	тувинский	565,2	1955	16,2	10,4	20,5
16	хакасский	326,0	1953	11,9	11,2	24,2
17	якутский	3854	1907—1930	13,9	8,7	20,8
18	чувашский	650	1936	11,0	10,1	20,1
	чувашский	5563,7	1928—1950	11,6	9,55	19,8
19	монгольский	696,5	1957	14,9	8,0	19,6
20	бурятский	743,2	1951	14,8	11,0	20,6
21	калмыцкий	305	1911	15,7	8,5	21,4

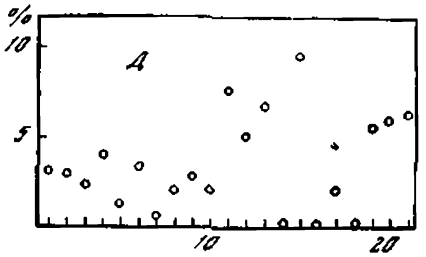


Рис. 1

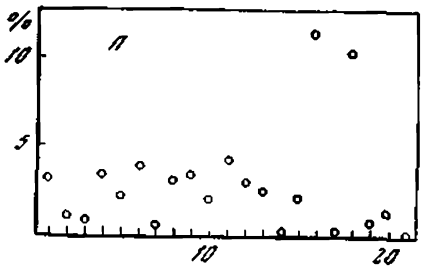


Рис. 5

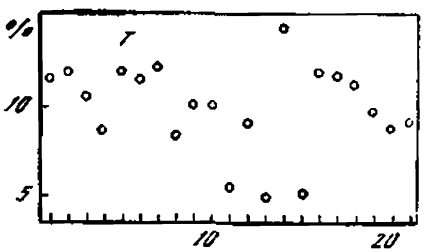


Рис. 2

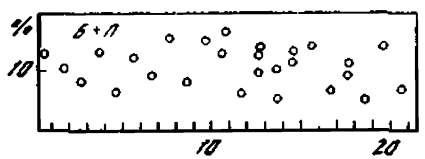


Рис 6

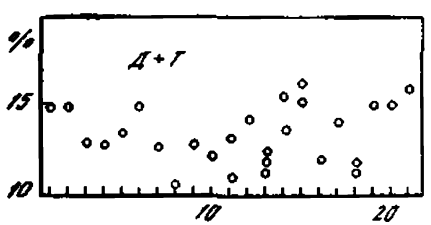


Рис. 3

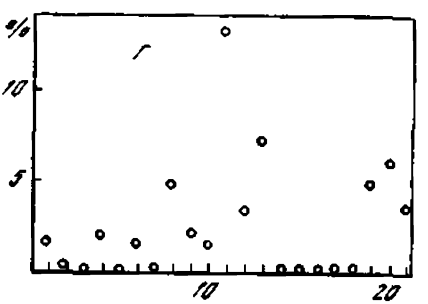


Рис. 7

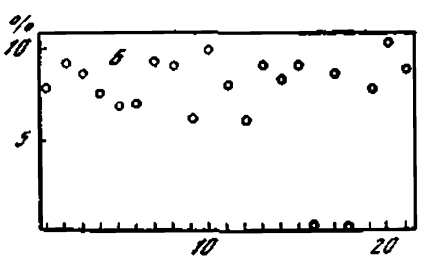


Рис. 4

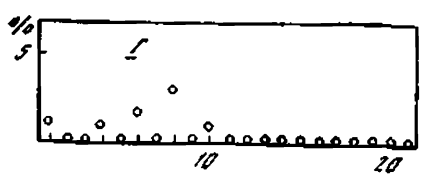


Рис. 8

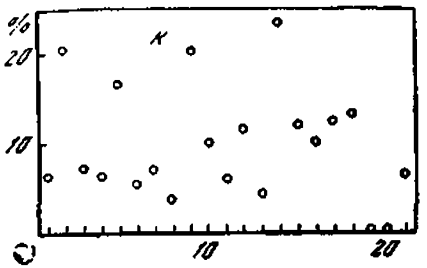


Рис. 9

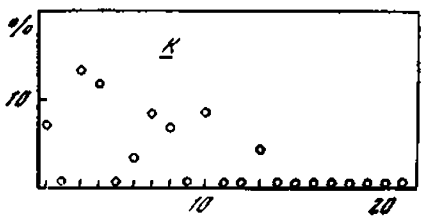


Рис. 10

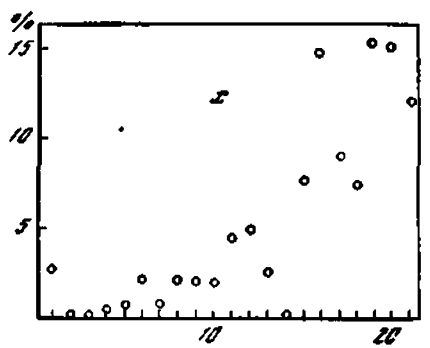


Рис. 11

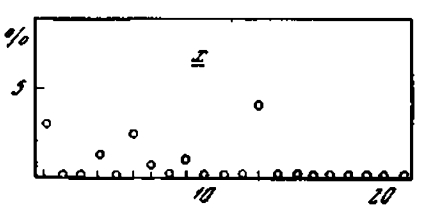


Рис. 12

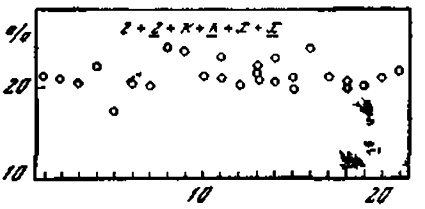


Рис. 13



Рис. 14

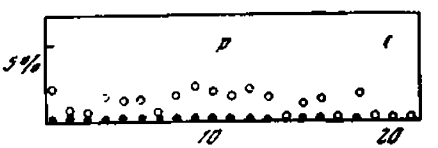


Рис. 15

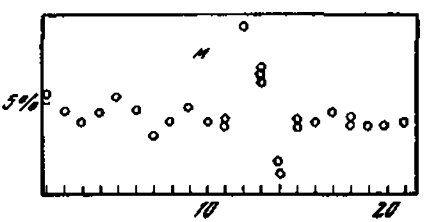


Рис. 16

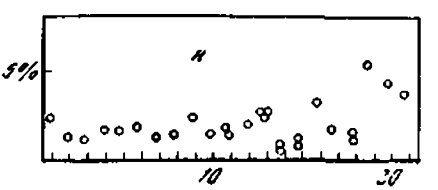
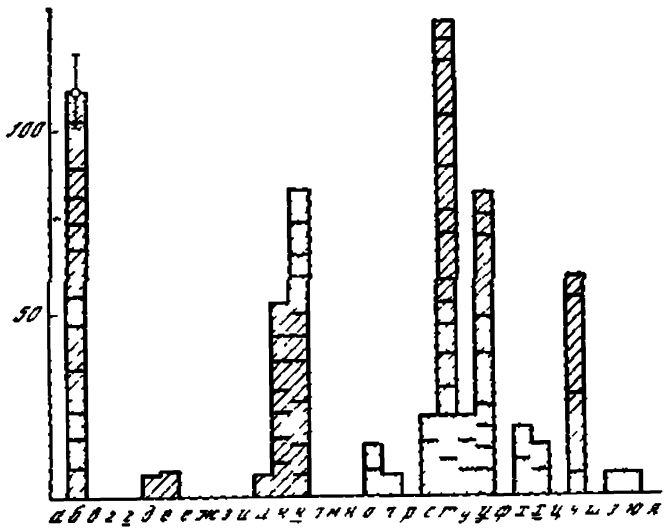
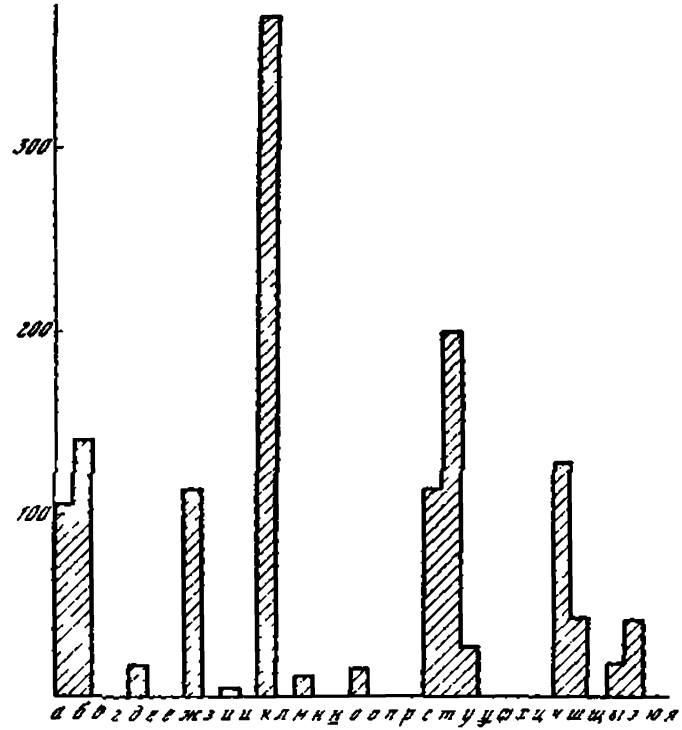


Рис. 17



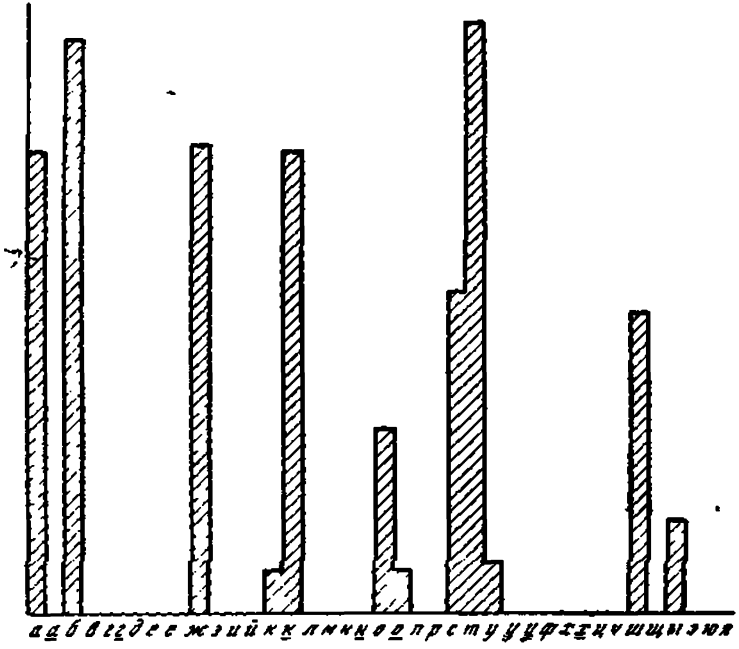
Р и с. 18 Распределение многозначных статей по буквам словаря в узбекско-русском словаре; $n \geqslant 6$; 73 события (16 IV.71 г.)

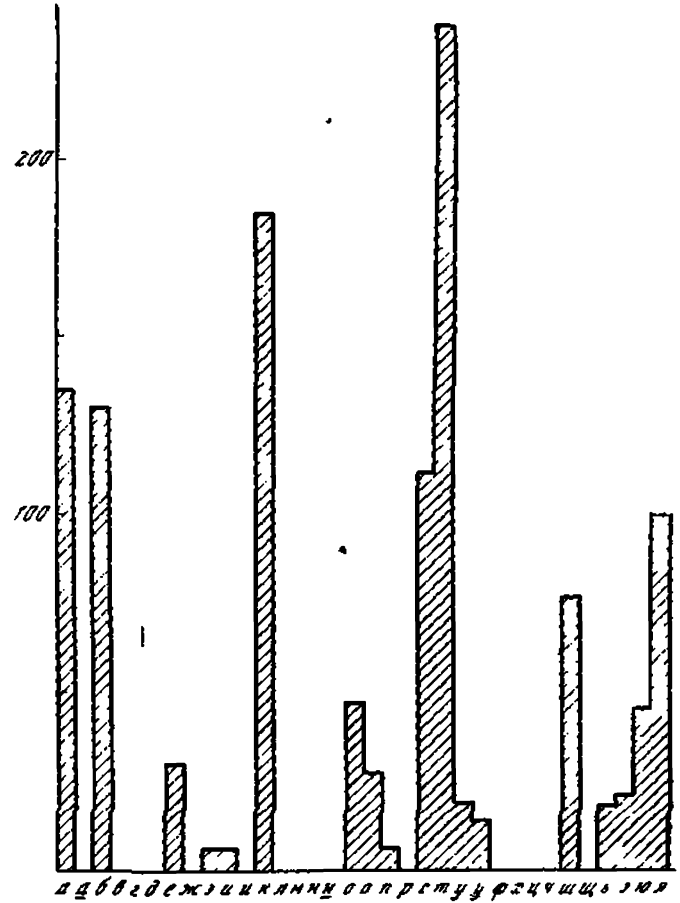


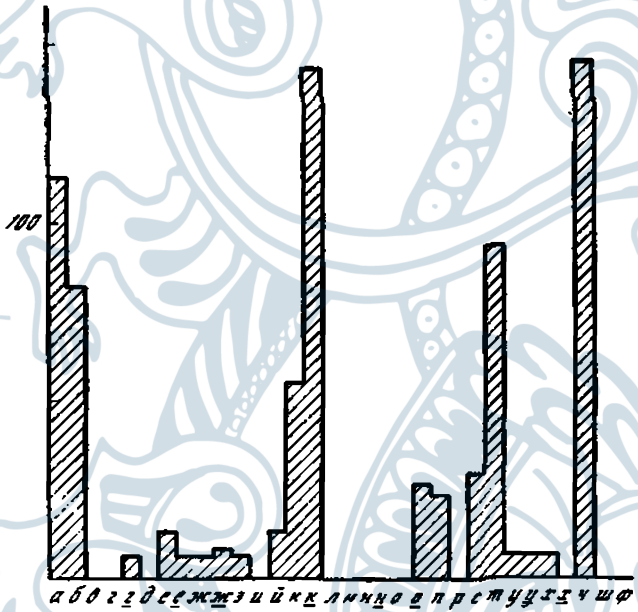
Р и с. 19. Распределение в киргизско-русском словаре, $n \geqslant 6$; 173 события (23.IV.71 г).

Рис 20. Распределение в караимпаксько-русском словаре, $n \geqslant 6$; 66 событий

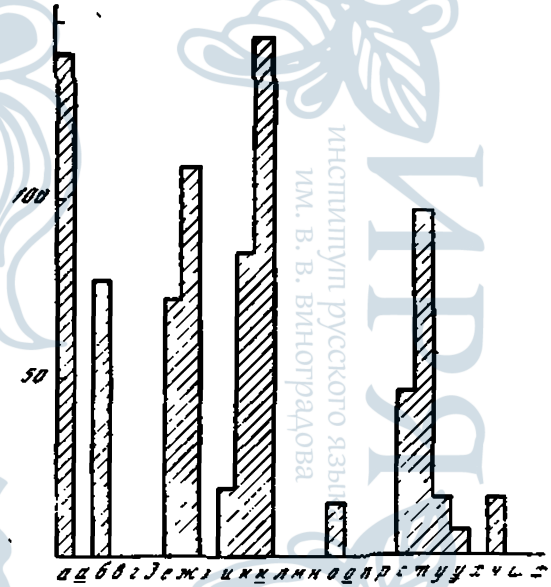
Рис 21 Распределение в ногайско-русском словаре; $n \geqslant 6$, 155 событий (27 IV 71 г)





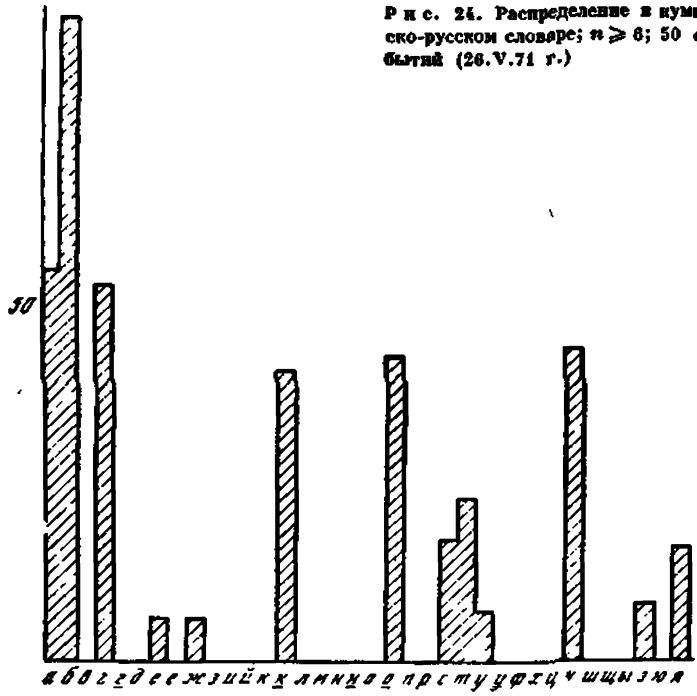


Р и с. 22. Распределение в уйгурско-русском словаре; $n \geqslant 6$; 104 события

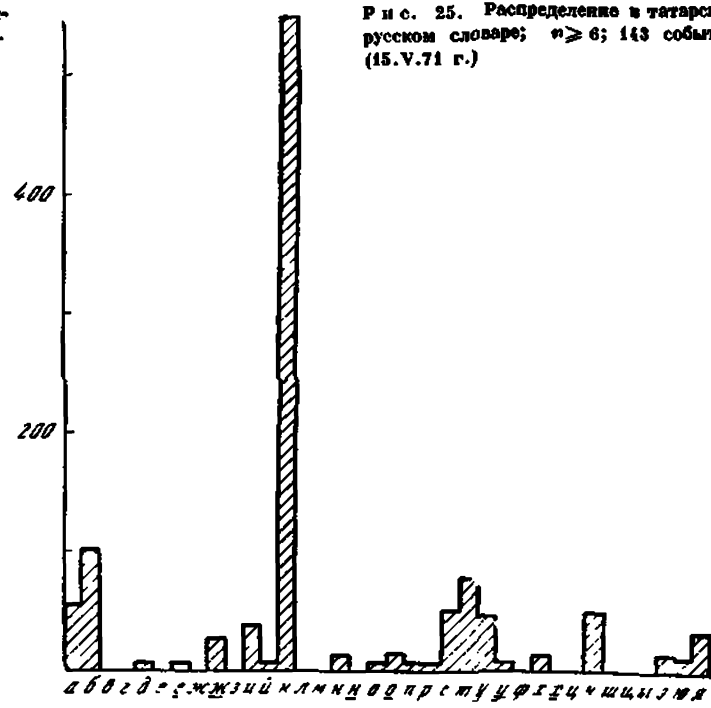


Р и с. 23. Распределение в древнетюркско-русском словаре; $n \geqslant 6$; 105 событий

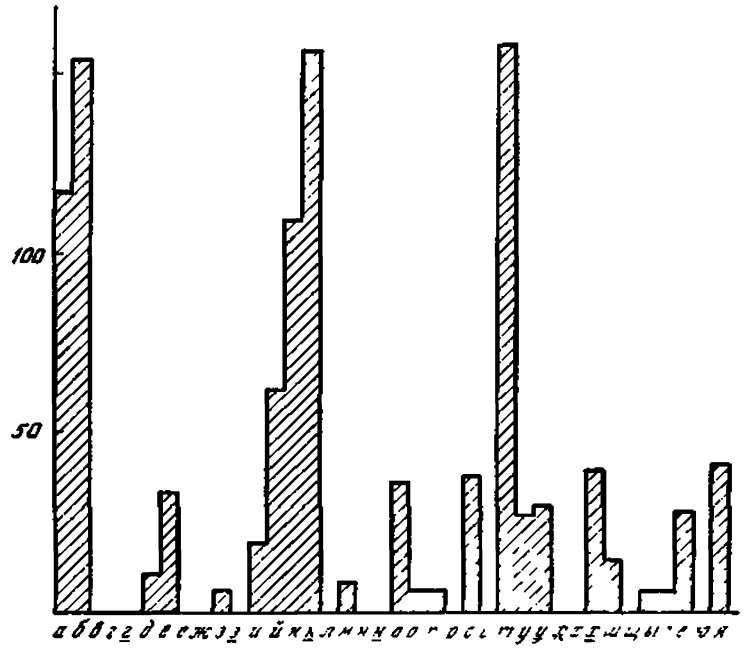
www.ruslang.ru
ИРЯ РАН
институт русского языка им. в. в. виноградова



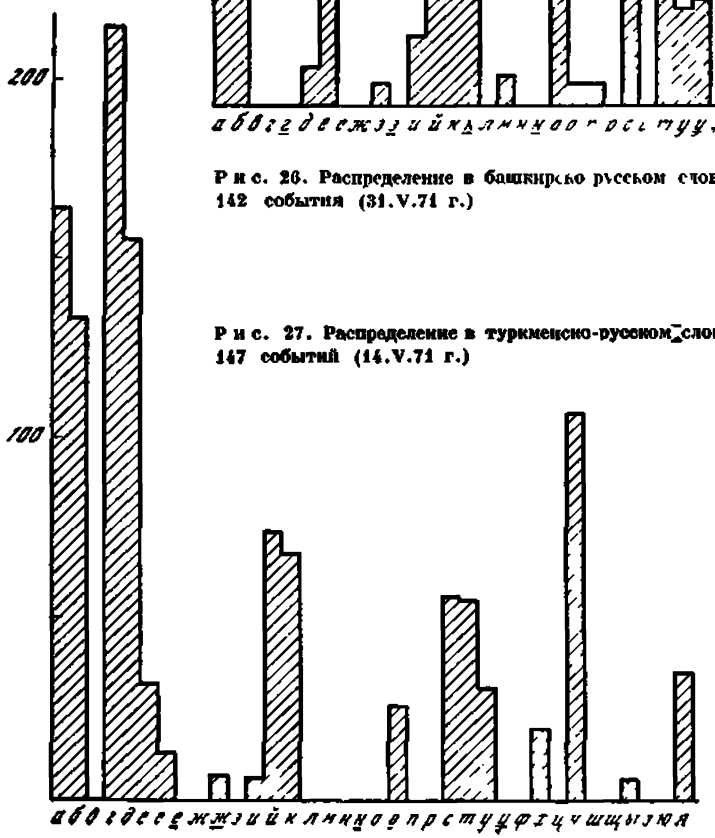
Р и с. 24. Распределение в кумыкско-русском словаре; $n \geqslant 6$; 50 событий (26.V.71 г.)



Р и с. 25. Распределение в татарско-русском словаре; $n \geqslant 6$; 143 события (15.V.71 г.)



Р и с. 26. Распределение в башкирско-русском словаре; $n \geqslant 6$, 142 события (31.V.71 г.)



Р и с. 27. Распределение в туркменско-русском словаре; $n \geqslant 147$ событий (14.V.71 г.)

Рис. 28. Распределение в турецко-русском словаре; $n \geqslant 6$; 122 события (7.VI.71 г.)

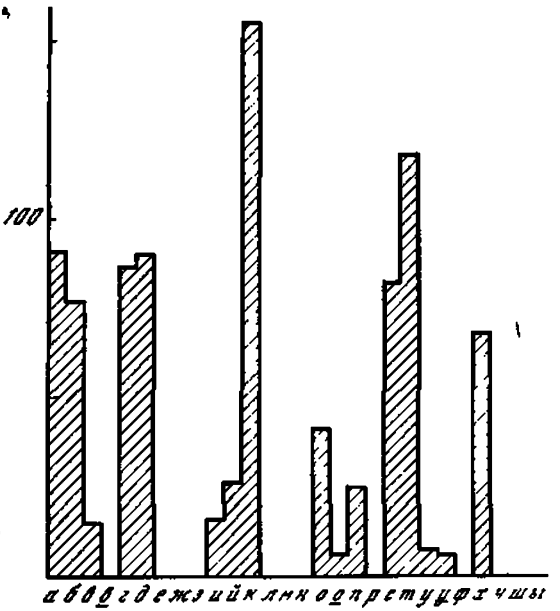
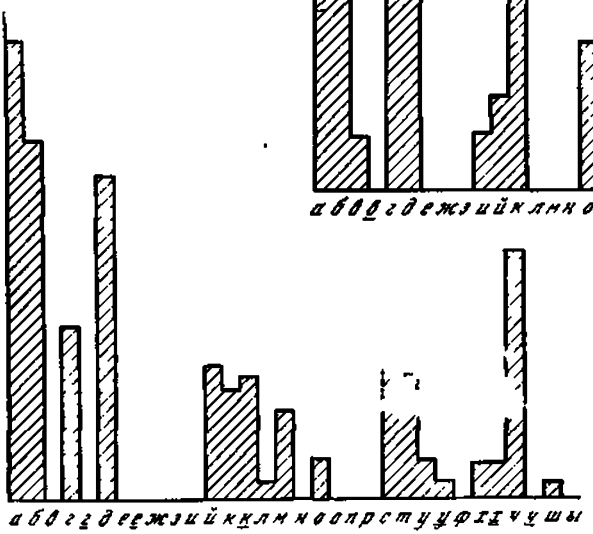


Рис. 29. Распределение в азербайджанско-русском словаре; $n \geqslant 5$; 115 событий (13.VII.71 г.)



Результаты измерений длин ряда букв приведены на семнадцати рисунках и в таблице. В данной серии рисунков по оси x отложены порядковые номера языков в соответствии с таблицей, по оси y — относительные длины букв (в процентах к общей длине словаря). На рис. 1 и 2 приведены распределения длин букв Д и Т[2] для 21 языка; в тех случаях, когда для данного языка имеется два или три словаря, приводятся данные по первому в списке словарю. Как видно из рисунков, буква Д имеет различную длину для разных языков, причем длина колеблется от нуля до десяти

[2] Здесь и далее, как и в предыдущем разделе, обозначения алфавитных единиц разных словарей даются в унифицированной записи на основе русского алфавита. Используемые ниже буквы К, Г, Х соответствуют второму К, второму Г и второму Х тюркских языков (узб. Қ, Ғ, Ҳ, и соответствующим буквам других тюркских алфавитов).

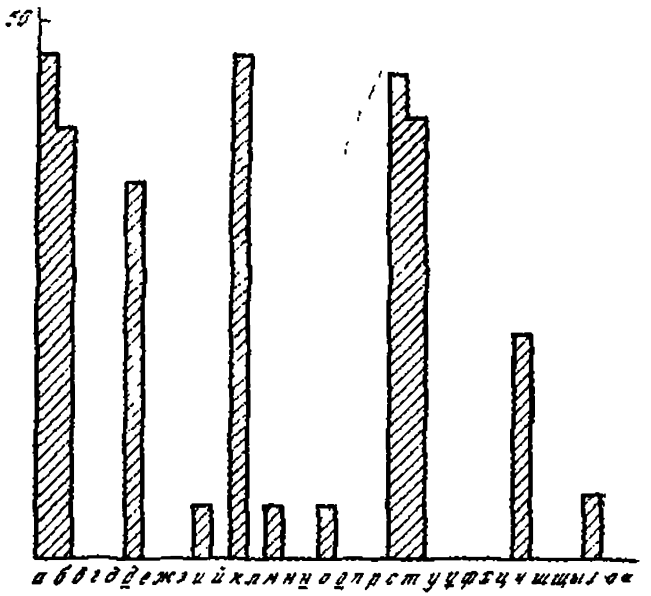


Рис. 30. Распределение в ойротско-русском (алтайско-русском) словаре при $n \geqslant 5$; 53 события (6.VI.71 г.)

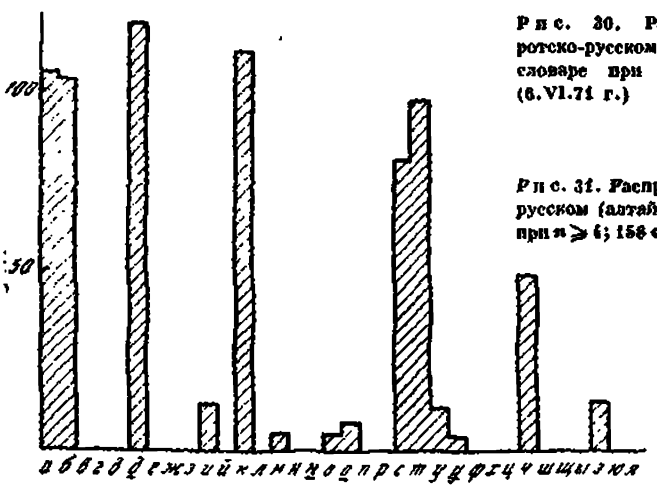


Рис. 31. Распределение в ойротско-русском (алтайско-русском) словаре при $n \geqslant 6$; 158 событий (14.VI.71 г.)

процентов. Длина буквы Т также изменяется от 5 до 14 процентов. Сумма длин Д и Т приведена на рис. 3 и в таблице. Влияние размеров словаря на длину суммы здесь видно по словарям тех народов, где имеются два или более словаря одного языка. Увеличение размера словаря приводит, как правило, к меньшему отклонению точки от среднего значения. Таким образом, Д и Т являются дублетом или одной буквой в приведенном выше смысле. Таким же дублетом являются буквы Б и П, для которых распре-

деление длин приведено на рис. 4, 5, 6 и в таблице. Буквы Г, К, Х совместно с Г, К, Х образуют группу, состоящую из шести составляющих. Эти данные приведены на рис. 7—13 и в таблице. Вторые буквы Г и К имеют в тюркских словарях различное написание.

Обобщенные буквы Б, Г и Д занимают около половины длины словаря любого тюркского или монгольского языка. Объединение остальных букв в группы приводит к ряду обобщений как гласных, так и согласных букв.

Отличие от равновероятных значений в тюркских и монгольских языках проявляется, во-первых, в факте, что одна буква К или Х может занимать 15—20% всего объема словаря, и, во-вторых, что ряд букв имеет нулевую длину. Так, в тюркских и монгольских словарях практически нет слов, начинающихся на Л или Р. Соответствующие распределения приведены на рис. 14 и 15. Черными точками приведены значения длин после вычета фона, т. е. русских, арабских и персидских слов. Небольшую длину имеют М и Н, приведенные на рис. 16 и 17.

Обнаруженный эффект компенсации и другие закономерности, необходимые для составления словаря языков народов мира, наблюдаются в том или ином виде в целом ряде языковых групп или, возможно, во всех языках народов мира. Однако вероятностный, статистический характер исследуемого объекта требует привлечения возможно большего количества словарей по одной группе языков. Этот факт делает тюркские языки наиболее интересным объектом измерений.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МНОГОЗНАЧНЫХ СЛОВАРНЫХ СТАТЕЙ В СЛОВАРЯХ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ МИРА

Распределения чисел словарных статей с различным количеством значений как функций от числа значений имеют быстро падающий вид. Такие распределения были построены авторами данной работы для ряда словарей, в основном для тюркской группы языков.

Строились и сравнивались распределения для отдельных букв данного словаря. Особенностью всех или почти всех достаточно подробных словарей является существование словарных статей, или, как мы их будем называть, событий с очень большим числом значений.

Например, в румынско-русском словаре есть слово-событие *траге* (*trage*) с $n=33$ значениям. События с $n=100$ и больше есть в англо-русском словаре.

Наиболее удобными для сравнения оказались тюркско-русские словари. Мы отбирали 100—200 событий с числом
бо́льшим или равным

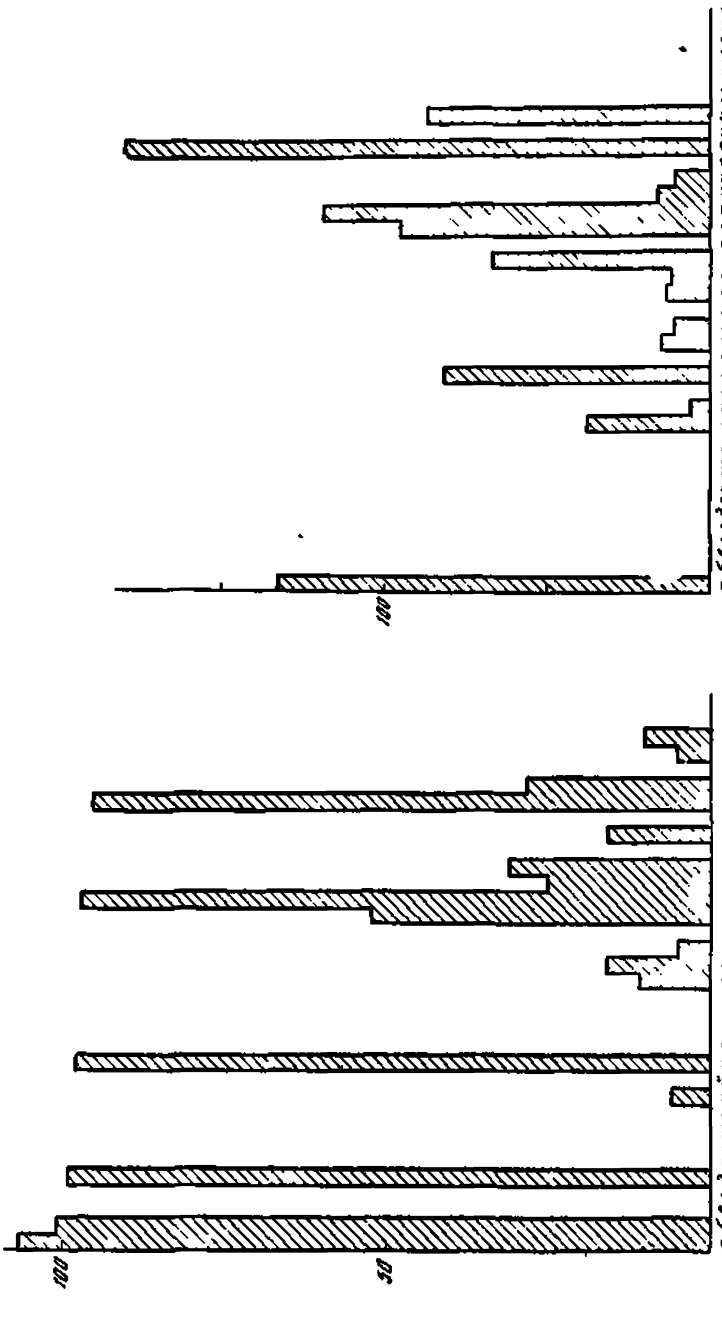
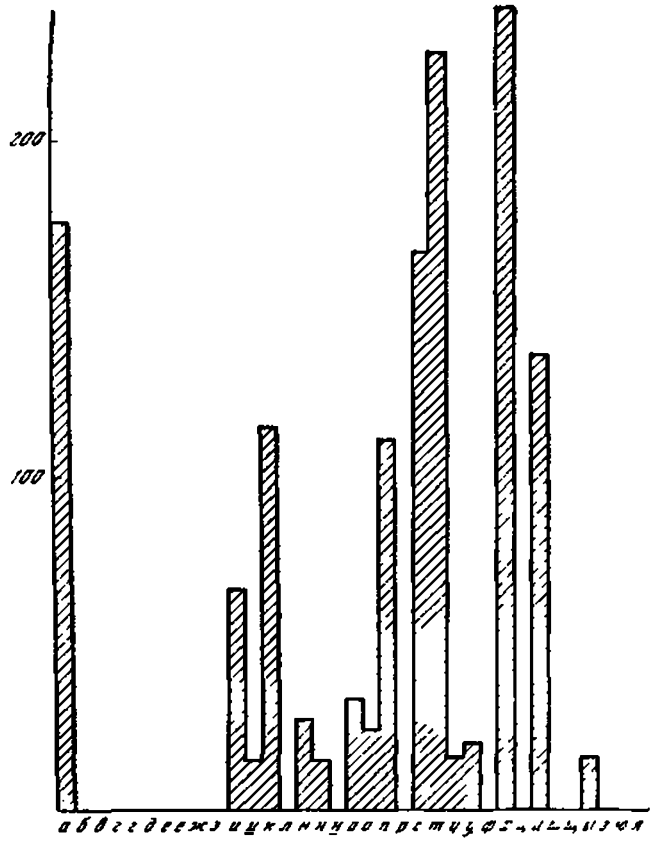


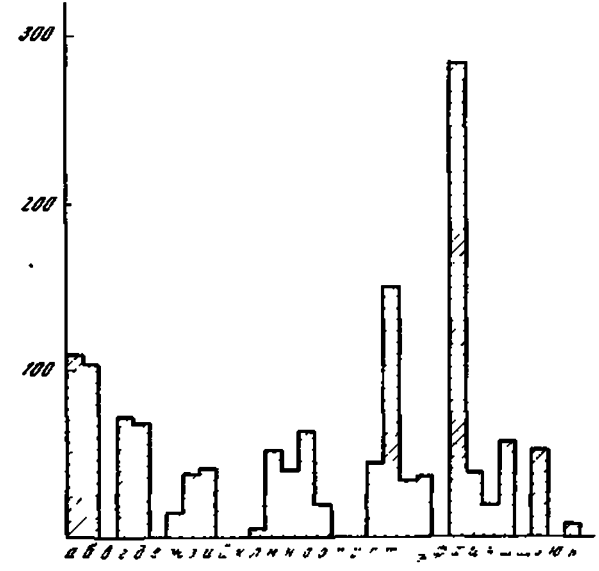
Рис. 32. Распределение в тувинско-русском словаре; $n \geqslant 5$; 134 события (23.VI.71 г.)

Рис. 33. Распределение в хакасско-русском словаре при $n \geqslant 5$; 137 событий (7.VII.71 г.)



Р и с. 34. Распределение в хакасско-русском словаре при $n \geqslant 4$; 268 событий (7.VII.71 г.)

Р и с. 35. Распределение в монгольско-русском словаре; $n \geqslant 5$; 221 событие (17.VI.71 г.)



Полученные события откладывались на графике, где по оси x отложен алфавит данного языка, а по оси y — полное, т. е. суммарное число значений на данную букву. Распределения имеют вид, приведенный на рис. 18—36.

Наблюдается несколько устойчивых выбросов или пиков. Распределение этих пиков вдоль оси x, т. е. алфавита, имеет достаточно

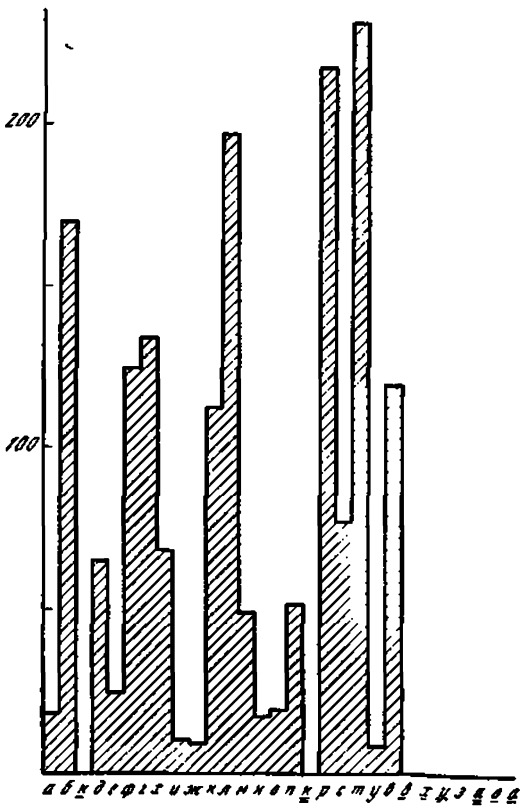


Рис. 36. Распределение в норвежско-русском словаре; $n \geqslant 8$; 154 события (5.V.71 г.)

произвольный, случайный вид. Можно отметить, что для туркменско-русского словаря (рис. 27) эти пики образуют компактное множество, т. е. первый пик $А_1$, второй пик Б, третий Г и четвертый Д. На рис. 18, 19 и других пику Д соответствует пик $Т_2$, пику Г — пик К или $\underline{К}$ и т. д.

Отметим в заключение, что для норвежско-русского словаря[8] появляются пики Л и Р.

[8] При воспроизведении алфавитных знаков норвежского языка на графике применены следующие обозначения: к соответствует k, $\underline{к}$ — c, $\underline{\underline{к}}$ — q, х — h, ж — j, в — w, ы — x, у — y, з — z, æ — æ, ø — ø, å — å.

СЛОВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ

П. А. СОБОЛЕВА

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПОЛЯ АППЛИКАТИВНОЙ ПОРОЖДАЮЩЕЙ ГРАММАТИКИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ СЛОВ

Задачей настоящей работы является использование аппарата трансформационных полей (Т-полей) для формализованного разграничения слов, содержащих более чем одну корневую и аффиксальную морфемы, на три категории: а) чистые сложения; б) сложнопроизводные слова (суффиксально-сложные); в) производные от сложных слов.

В свое время вопрос о разграничении на словообразовательном уровне типов (б) и (в) был детально рассмотрен В. П. Григорьевым (Григорьев 1956, 1958а, 1958б, 1959, 1963) и С. С. Хидекель (Хидекель 1953). Классическим стал пример В. П. Григорьева о двух толкованиях слова *гранатометчик*: «В современном русском языке существуют два слова *гранатометчик*: I 'спортсмен — метатель гранаты' и II 'солдат, который обслуживает гранатомет'. В первом случае — это сложное (точнее суффиксально-сложное) слово, соотносительное со словосочетанием *метать гранату*, во втором — производное от *гранатомет*. Ср. также сложное слово *водопровод* и производное *водопроводчик*» (Григорьев 1963, 272). В примере В. П. Григорьева семантические аргументы поддерживают два возможных словообразовательных толкования формы *гранатометчик*. Вместе с тем возможны случаи, где допустимы различные словообразовательные толкования (б) и (в) без значительной семантической разницы вариантов. Так, существительное *лесосплавщик* можно понимать и как суффиксально-сложное, соотносительное со словосочетанием *сплавлять лес*, и как производное от сложносуффиксального слова *лесосплав-Ø*, образованного одновременным действием сложения и суффиксации (в данном случае нулевой). При обоих толкованиях разница в значениях незначительна. Так, толкование (б) можно понимать как 'тот, кто сплавляет лес', а толкование (в) 'тот, кто работает на лесосплаве'.

Очевидно, в случае двойной трактовки существительного *лесосплавщик* мы имеем дело с асемантической множественностью словообразовательной структуры слова (полиформией) (Гинзбург 1977, 1979; Соболева 1980). Ниже при отделении случаев (б) от (в) мы будем учитывать наличие либо отсутствие полиформии.

Вопрос отделения чистых сложений (а) от суффиксально-сложных слов также невсегда очевиден. Это следует хотя бы из

того, что однотипные слова типа *сеноуборка* и *сенокосилка*, *жирозаменитель* и *судосборщик* в грамматиках попадают в разные рубрикации. Так, РГ80 относит существительные типа *сеноуборка* и *жирозаменитель* к чистым сложениям (с. 242), а *сенокосилка* и *судосборщик* к суффиксально-сложным (с. 246—256).

Очевидно, критерии разграничения чистых сложений и суффиксально-сложных слов еще не разработаны.

Так, к чистым сложениям РГ80 относят образование со вторым отглагольным компонентом типа *лесозаготовка*, *теплоотдача*, *формотворчество*, *нервотрепка* и др. (с. 242). А к суффиксально-сложным — типа *мореплаватель*, *машиностроитель*, *молотобоец*, *скорописец*, *судосборщик*, *маслобойщик*, *камнедробильщик*, *мусоросборник*, *навозоразбрасыватель*, *низкопоклонник*, *мясорубка*, *скороварка*, *сенокосилка*, *рыболовство*, *земледелие*, *сноповязальщик*, *дальневосточник*, *горнолыжник*, *судоремонтник* и под.

Если критерий отнесения к сложнопроизводным словам — отсутствие в современном языке в свободном виде отглагольного компонента сложения, то, во-первых, в РГ80 этот критерий не всегда выдерживается. Ср. например, *-разбрасыватель*, *-сборщик*, *-дробильщик*, *-поклонник*, *-рубка* (леса), *-косилка*, *-лыжник* и др. А, во-вторых, наличие в роли второго компонента основ, не равных синхронно функционирующим словам, типа **плаватель*, **ббец*, **сборник* (для мусора), **варка* 'инструмент' и под. не нарушает принципа соотносительности с глагольным словосочетанием, например:

плавает по морю — мореплаватель
бьет молотом — молотобоец
собирает мусор — мусоросборник
варит кофе — кофеварка [1]

Кроме того, слова типа **плаватель*, **сборник*, *варка** и им подобные можно отнести к разряду потенциальных, так как они не противоречат структурно-семантическим закономерностям современного словообразования. Ср. *плавать — *плаватель*, но *учить — учитель*, *собирать — *сборник* (для мусора): но *сборник упражнений*; *варить — *варка*. *рубить — рубка*, но *пилить — пилка* 'инструмент' и под.

Наличие либо отсутствие слова, совпадающего по форме со второй основой сложения — лишь каприз поверхностной структуры. В то же время это не является основанием для проведения принципиального разграничения не только между словами типа *сеноуборка* и *сенокосилка*, но и между такими, как *лесозаготовка*, *теплоотдача*, *формотворчество*, *нервотрепка*, с одной стороны,

[1] Уместно в связи с этим вспомнить мнение В. П. Григорьева о том, что слово остается в составе сложных (сложнопроизводных) до тех пор, пока не утрачивает соотносительности со словосочетанием (Григорьев 1961). Ср. также: Кубрякова, 1981.

и *мореплаватель*, *молотобоец*, *маслобойщик*, *скороварка*, *рыболовство* — с другой.

Ниже предлагается доказательство выдвинутого утверждения с помощью аппарата трансформационных полей (Т-полей) аппликативной порождающей грамматики. Напомним читателю, что такое Т-поле в АПГ.

Т-полем в АПГ называется исчерпывающий набор трансформов от какого-либо операнда, представленный в виде R-формул — генотипических (метаязыковых) аналогов фраз естественного языка. Т-поля АПГ моделируют отношения грамматической синонимии между фразами естественного языка. Т-поля получаются в результате проведения всех допустимых операций по присоединению реляторов ко всем членам операнда и последующего упорядочения полученных производных R-слов по законам аппликативной связи.

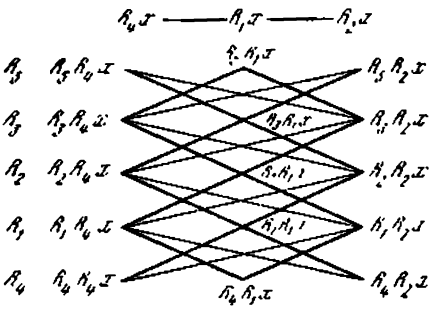


Рис. 1

Получение Т-полей удобно представить в специальных таблицах, где слева по вертикали записаны все преобразователи — реляторы, а вверху по горизонтали — «разорванный» операнд. Если операнд двучленный комплекс типа R_3XR_2X, то в «разорванном» виде он выглядит как R_3X — R_2X.

Если операнд трехчленный комплекс типа $R_4XR_1XR_2X$, то в «разорванном» виде он выглядит как R_4X——R_1X——R_2X.

Внутри рамки записываются трансформы, которые представляют собой производные R-слова, упорядоченные отношениями аппликации. Внутри таблицы трансформы имеют тоже «разорванный» вид.

Приведем пример трехчленимого Т-поля (рис. 1). Жирной линией выделены трансформы, сохранившие синтаксические связи операнда. Тонкие линии связывают трансформы, получившие новые синтаксические связи. В последнем случае связанными оказываются R-образы, производящие которых в операнде не имели непосредственных синтаксических связей. Т-поле, выделенное жирными линиями, называется «связанным», а Т-поле, допускающее как старые, так и новые синтаксические связи, получило название «несвязанного» [2]. Устранив «разорванность» при выписке трансформов из Т-поля, получим исчерпывающий список трансформов для исходного Т-операнда.

[1] Подробнее о Т-полях см.: Аппликативная порождающая модель и исчисление трансформаций в русском языке. М., 1963 и Основания порождающей грамматики русского языка. М., 1968.

Операцию получения Т-поля можно кратко записать, как присоединение оператора R_i, где i=1, 2, 3, 4, 5 ко всем членам операнда. Условимся обозначать верхним индексом при R количество членов операнда. Так, набор операций, показанный на рис. 1, можно записать как операцию присоединения R_i^3. Соответственно операция получения Т-поля от n-членного операнда может быть записана как R_i^n.

Используя указанные выше понятия и операции, получим генотипические аналоги фраз русского языка, содержащих сложные слова со вторым отглагольным компонентом (типа *сеноуборка*, *жирозаменитель* и *сенокосилка*, *мореплаватель*). (Ср. иной подход к изучению соотносительности сложных слов и словосочетание у Е. Л. Гинзбурга (1968)). В качестве исходного возьмем трехчленный операнд вида $R_4R_2OR_1OR_2O$, моделирующий глагольные предложения, соотносительные с рассматриваемыми словами (независимо относит ли их РГ80 к чистым сложениям или к суффиксальносложным словам). Это, к примеру, фразы типа:

Колхоз (колхозник) заготовляет сено	*Он плавает по морю*	
Нагреватель отдает тепло	*Рабочие собирают судно*	(1)
Поэт творит форму	*Агрегат косит сено*	
Состав заменяет жир	*Дед ловит рыбу*	

Обращаем внимание читателя на обратный порядок слов во фразах русского языка по отношению к их генотипическому аналогу. Такое несоответствие вызвано одним из основополагающих правил построения генотипических комплексов АПГ, а именно правилом предшествования оператора операнду. На гибридном языке приведенные выше фразы записываются следующим образом (для наглядности восстанавливаем опущенные скобки, отделяющие оператор от операнда):

(R$_4$ *тепло* R$_1$ *отдает*) R$_2$ *нагреватель*
(R$_4$ *форму* R$_1$ *творит*) R$_2$ *поэт*
(R$_4$ *море* R$_1$ *плавает*) R$_2$ *он*
(R$_4$ *сено* R$_1$ *косит*) R$_2$ *человек* (2)
(R$_4$ *рыбу* R$_1$ *ловит*) R$_2$ *дед* и под.

В качестве первой операции подвергнем первые два члена операнда действию оператора R_i^2, т. е. получим от него двучленное T-поле (рис. 2).

Выпишем получившиеся восемь трансформов:

1. R$_5$R$_4$R$_2$OR$_3$R$_1$O	4. R$_3$R$_1$OR$_2$R$_4$R$_2$O	7. R$_4$R$_4$R$_2$OR$_1$R$_1$O	
2. R$_5$R$_1$OR$_1$R$_4$R$_2$O	5. R$_1$R$_1$OR$_2$R$_4$R$_2$O	8. R$_4$R$_1$OR$_1$R$_4$R$_2$O	(3)
3. R$_5$R$_4$R$_2$OR$_2$R$_1$O	6. R$_1$R$_4$R$_2$OR$_2$R$_1$O		

Затем, представив T-поле, показанное на рис. 2, опять в свернутом виде, получим новое двучленное T-поле от операнда $R_i^2(R_4R_2OR_1O)—R_2O$ (рис. 3).

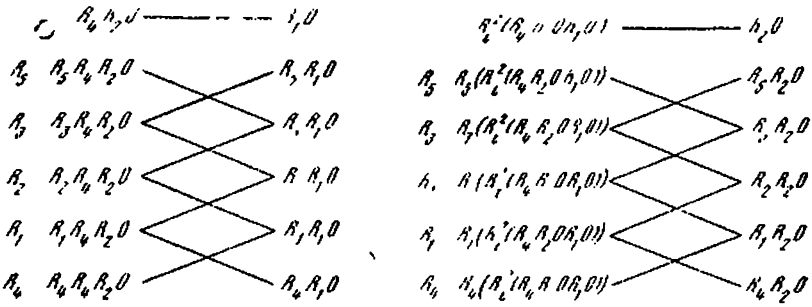


Рис. 2

Рис. 3

Выпишем получившиеся восемь трансформов, соблюдая порядок «оператор-операнд»:

1. $R_5(R_1^2(R_4R_2OR_1O))R_3R_2O$
2. $R_5R_2OR_3(R_1^2(R_4R_2OR_1O))$
3. $R_3R_2OR_5(R_1^2R_4R_2OR_1O))$
4. $R_3(R_1^2(R_4R_2OR_1O))R_2R_2O$
5. $R_1(R_1^2(R_4R_2OR_1O))R_3R_2O$
6. $R_1R_2OR_3(R_1^2(R_4R_2OR_1O))$
7. $R_4(R_1^2(R_4R_2OR_1O))R_1R_2O$
8. $R_4R_2OR_1(R_1^2(R_4R_2OR_1O))$

(4)

В каждом из восьми трансформов списка (4) заменим $R_4^2(R_4R_2OR_1O)$ на восемь комплексов из списка (3). Получили $8\times8=64$ трансформа.

Экономя место, мы не будем приводить полного списка 64 трансформов. Выпишем лишь группу, содержащую интересующий нас трансформ:

1. $R_2R_2OR_1(R_5R_4R_2OR_3R_1O)$
2. $R_2R_2OR_1(R_5R_1OR_3R_4R_2O)$
3. $R_1(R_5R_4R_2OR_2R_1O)R_2R_2O$
4. $R_1(R_5R_2OR_2R_4R_2O)R_2R_2O$
5. $R_2R_2OR_1(R_1R_1OR_2R_4R_2O)$
6. $R_2R_2OR_1(R_1R_4R_2OR_2R_1O)$
7. $R_2R_2OR_1(R_4R_1R_2OR_1R_1O)$
8. $R_2R_2OR_1(R_4R_1OR_1R_4R_2O)$

(5)

Из списка трансформов (5) нами будет интерпретирован только трансформ (3). Приведем правила интерпретации, релевантные для данного исследования (рис. 4).

Напомним значение интерпретационных символов: $С_и$ — существительное в именительном падеже, $С_р$ — в родительном, $С_к$ — в косвенном падеже без предлога или с предлогом, $С_{осн}$ — основа существительного, $С_п$ — существительное, образованное от прилагательного, $П_с$ — прилагательное, образованное от существительного, $П_с^{осн}$ — основа $П_с$, $С_г$ — существительное, образованное от глагола, $С_г^{осн}$ — основа $С_г$, Г — глагол в личной форме, $Г_с$ — глагол, образованный от существительного, $Г_с^{осн}$ — основа глагола $Г_с$, $П_г$ — прилагательное, образованное от глагола, свС — существительное или именной комплекс со связками типа *быть*, *являться*, *осуществить*, *заниматься*, *производить* и т. д. Н — наречие, Прич — причастие (подробнее: Соболева 1963).

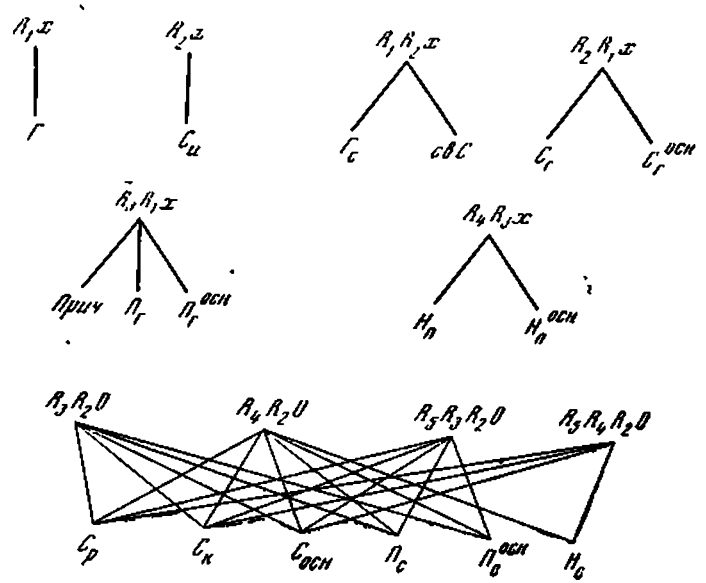


Рис. 4

В грамматических терминах русского языка интересующая нас трансформация $R_4R_2O\ \ R_1O\ \ R_2O$ — $R_1(R_3R_4R_2O\ \ R_2R_1O)\ \ R_2R_2O$ имеет следующий вид:

$$\left\{\begin{matrix} С_р \\ С_к \\ С_{осн} \\ П_{с\,осн} \\ П_с \end{matrix}\right\} + Г + С_и \rightarrow \left\{\begin{matrix} Г_с \\ сВС \end{matrix}\right\} + \left\{\begin{matrix} С_р \\ С_к \\ С_{осн} \\ П_с \\ П_{с\,осн} \end{matrix}\right\} \left\{\begin{matrix} С_{г\,осн} \\ С_г \end{matrix}\right\} + С_и \qquad (6)$$

Набор трансформов (6) моделирует преобразование глагольной фразы, являющееся следствием номинализации глагола. Учитываются два типа номинализации — имя действия и имя деятеля. Не приводя полного исчисления комбинаторики интерпретационных символов [2], дадим примеры отдельных трансформов, полученных от операндов из списка (1). Звездочкой отмечены неграмматичные трансформы, а знаком вопроса — сомнительные.

Поэт творит форму →
Поэт — формотворец
Поэт — творец формы.
? *Поэт занимается творчеством формы*
Поэт занимается формотворчеством
* *Поэт занимается формальным творчеством* (7)

[2] Полное исчисление комбинаторики интерпретационных символов приводится в кн.: Аппликативная порождающая модель и исчисление трансформаций в русском языке, с. 103—111.

Бригада заготовляет лес →
Бригада — заготовители леса
Бригада — лесозаготовщики, лесозаготовители
* *Бригада лесные заготовители*
Бригада на лесозаготовках
Бригада производит заготовку леса (8)

Агрегат (человек) косит сено →
? *Агрегат — косилка для сена*
Агрегат — сенокосилка
Человек на сенокосе
Человек занимается сенокошением (9)
* *Человек занимается кошением сена*
* *Человек (агрегат) — сенный косец (коситель)*
* *Человек — косец сена*

Дед ловит рыбу →
Дед — рыболов
? *Дед — ловец рыбы*
* *Дед — рыбный ловец* (10)
Дед занимается рыбной ловлей
Дед занимается рыболовством

Среди грамматичных трансформов (7)—(10) содержатся фразы с интересующими нас словами: *формотворец*, *формотворчество*, *лесозаготовщики*, *лесозаготовки*, *сенокосилка*, *сенокос*, *сенокошение*, *рыболов*, *рыболовство*.

Аналогично могут быть получены другие сложные слова, содержащие в качестве второго компонента глагольную основу и соотносительные с глагольными фразами типа (1).

Приведем еще некоторые интерпретации трансформации (3) из списка (5), указывая на ее лексические ограничения. Интерпретации приводятся выборочно, только для сложных слов:

Нагреватель отдает тепло → ? *Нагреватель — теплоотдатчик* (11)
Нагреватель осуществляет теплоотдачу

Вещество заменяет жир → *Вещество — жирозаменитель* (12)
. . . * *производит жирозамену*

Человек владеет землей →
Человек — землевладелец
* *Человек осуществляет землевладение*

Приведенные выше операции с Т-полями имели целью показать, что при получении генотипических аналогов слов типа *сеноуборка*, *жирозаменитель* (относимыми РГ80 к чистым сложениям), и *сенокосилка*, *рыболовство* (относимымп РГ80 к сложносуффиксальным существительным) имеет место единый порождающий процесс. Деривационные ограничения, носящие лексический характер, касаются лишь уровня интерпретации, т. е. уровня поверхностной структуры. Последнее, с нашей точки зрения, не дает достаточных оснований для разбиения слов, имеющих в качестве второго компонента основы отглагольное имя, на две качественно различных категории — сложные и суффиксально-сложные слова.

Как те, так и другие моделируются подкомплексом $R_3R_4R_2OR_2R_1O$ комплекса $R_1(R_3R_4R_2OR_2R_1O)R_2R_2O$. См. трансформацию (3) из списка (5). Этот подкомплекс можно представить в виде так называемого сложного члена (по правилу выноса крайнего релятора операнда за скобку и зачеркивания крайнего релятора оператора): $R_2(R_4R_2OR_1O)$. (Последнюю операцию можно также назвать операцией извлечения Т-операнда). В обоих формулах R_2 — номинализатор, интерпретирующийся отглагольноименными суффиксами: *-тель* (*работодатель*, *жирозаменитель*), *-ец* (*работорговец*, *канатоходец*), *-щик* (*судосборщик*, *маслобойщик*), *-ка* (*краскотерка*, *мышеловка*), *-ство* (*рыболовство*, *казнокрадство*), *-(н)ие* (*землетрясение*, *рукопожатие*), *-Ø* (*газоход*, *ледорез*) и др.

Независимо от того, встречается ли второй компонент в виде отдельного слова (*заменитель*, но **датель*, *торговец*, но **ходец*, *сборщик*, но **обойщик*, *терка*, но **ловка*, *пожатие*, но **трясение* и под.) трансформы рассматриваются нами как результат номинализации глагольных словосочетаний с выраженным (в частном случае нулем) номинализатором. Представляется нецелесообразным разбивать их на два класса — сложных и суффиксально-сложных слов из-за чисто поверхностных явлений. Все эти слова имеет смысл отнести к одной и той же категории суффиксально-сложных слов, ибо аффикс-номинализатор при их образовании играет не меньшую роль, чем сложение основ. Оба процесса осуществляются одновременно.

От рассмотренного типа слов следует отличать производные слова, совпадающие с ними по морфемному составу, но различающиеся словообразовательной структурой. Это слова типа *лесосплавщик*, *гранатометчик* (см. выше), которые в значении 'тот, кто сплавляет лес', 'тот, кто метает гранату' моделируются формулой $R_3R_4R_2OR_2R_1O$ или, что то же самое, $R_2(R_4R_2OR_1O)$, а в значении 'боец, обслуживающий миномет', 'рабочий, работающий на лесосплаве', моделируются R-словом следующего такта производности, получаемым от аналога суффиксальных сложных слов *лесосплав*, *миномет* (суф. *-Ø*). Для получения этого комплекса надо применить оператор $R_1^!$ к комплексу $R_3R_4R_2OR_2R_1O$ или $R_2(R_4R_2OR_1O)$. Иными словами, надо получить одночленное Т-поле от данного операнда:

	$R_2(R_4R_2OR_1O)$	3. R_2	$R_2R_2(R_4R_2OR_1O)$	
1. R_5	$R_5R_2(R_4R_2OR_1O)$	4. R_1	$R_1R_2(R_4R_2OR_1O)$	
2. R_3	$R_3R_2(R_4R_2OR_1O)$	5. R_4	$R_4R_2(R_4R_2OR_1O)$	(16)

В списке трансформов (16) предпоследний релятор R_2 моделирует номинализатор суффиксально-сложного слова. В данном случае, т. е. для слов *лесосплавщик* и *гранатометчик* — нулевой суффикс.

Из пяти трансформов в (16) по крайней мере три получают разумную интерпретацию:

2. $R_3R_2(R_4R_2OR_1O)$	*(гранат-о-мет-Ø-)н-ый* *(лес-о-сплав-Ø)-очн-ый* *(газ-о-ход-Ø)-н-ый*
3. $R_2R_2(R_4R_2OR_1O)$	*(гранат-о-мет-Ø)-чик* *(лес-о-сплав-Ø)-щик* * *(газ-о-ход-Ø)-ник*
4. $R_1R_2(R_4R_2OR_1O)$	*является гранатометчиком* *работает лесосплавщиком* * *служит газоходчиком*

Интересующие нас существительные *гранометчик* и *лесосплавщик* (во втором значении), являются не сложными или суффиксально-сложными, а производными от суффиксально-сложных слов (Хидекель 1953, Григорьев 1963).

Точно также прилагательные типа *минометный*, *лесосплавочный*, *землесосный*, *камнерезный*, *газоходный*, *рыболовный* могут пониматься двояко:

а) как производные следующего такта от суффиксально-сложных существительных типа *миномет-Ø*, *лесосплав-Ø*, *газоход-Ø*, *рыболов-Ø*, *землесос-Ø*, *камнерез-Ø*, т. е. обладающие словообразовательной структурой $R_3R_2(R_4R_2OR_1O)$;

б) как суффиксально-сложные прилагательные, полученные от словосочетаний *метать мины*, *сплавлять лес*, (**сосать*) *всасывать землю*, *резать камень*, **ходить под газом* (ср. *ходить под паром*), моделируемых подкомплексом трансформа от операнда типа

$(R_4R_2O$	$R_1O)$	R_2O	
(лес	*сплавляет)*	*бригада*	
(землю	*всасывает)*	*агрегат*	(17)
(мины	*метает)*	*орудие*	
(камень	*режет)*	*инструмент*	
(ловит	*рыбу)*	*дед*	
(сено	*убирает)*	*комбайн* и под.	

Для получения суффиксально-сложных прилагательных типа *минометный*, *рыболовный*, *газоходный*, *камнерезный*, *землесосный* следует к трехчленному операнду $R_4R_2OR_1OR_1O$ применить оператор R_1^3, т. е. поместить его в трехчленное Т-поле (рис. 5).

Приведем интерпретацию трансформа, отмеченного на графе жирной линией: $R_5R_4R_2OR_3R_1OR_2R_2O$.

Вернемся к правилам интерпретации на стр. 88 (дается частичная интерпретация).

$$\left\{\begin{matrix} С_в \\ \cdot \\ П_с \end{matrix}\right\} + Г + С_в \rightarrow \left\{\begin{matrix} С_{сост} \\ С_в \\ Н_с \end{matrix}\right\} + \left\{\begin{matrix} П_г \\ \\ П_{рит} \end{matrix}\right\} + С_в. \qquad (18)$$

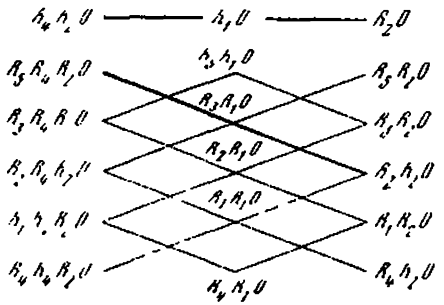


Рис. 5

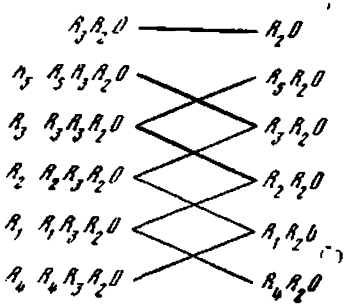


Рис. 6

Приведем некоторые из интерпретирующихся трансформов:

Землю сосет (всасывает) агрегат → *Землесосный агрегат*
Всасывающий землю агрегат (19)

Инструмент режет камень → *Камнерезный инструмент*
Камнережущий инструмент
Инструмент, режущий камень (20)

Комбайн убирает сено → *Сеноуборочный комбайн*
Комбайн, убирающий сено (21)

Интересующие нас сложные слова, моделируются генотипическим комплексом $R_5R_4R_2OR_3R_1O$ и являются также разновидностью номинализации исходной предикативной синтагмы. Этот подкомплекс моделирует также другие сложные прилагательные этого типа, не имеющие полиформии и характеризующиеся моноформией: *центробежный*, *болезнетворный*, *судоходный*, *огнестрельный*, *теплопроводный*, *ракетоносный*, *теплопроводный* и др. Помимо форманта *-н-ый*, соответствующего релятору R_3 в формуле $R_5R_4R_2OR_3R_1O$ или, что то же самое: $R_3(R_1R_1OR_4R_2O)$ ему могут соответствовать и другие форманты, например *-тельн-*: *землечерпательный*, *кровопускательный*, *пищеварительный*, *землеустроительный*, *берегоукрепительный*. Особенно продуктивные образованы с *-делательный*: *железоделательный*, *бумагоделательный*; *строительный*: *вагоностроительный*, *станкостроительный*, *ракетостроительный*. Это терминологические слова. Исходные операнды *делать железо*, *бумагу*; *строить вагоны*, *станки*, *ракеты* и под.

При замене комплекса R_4R_2O на R_4R_3O порождается комплекс с адъективатором $R_3(R_1R_1OR_4R_3O)$. Этот комплекс интерпретируется сложным прилагательным типа *скоротечный*, *тиховейный*, *дальновидный*, *тихоходный*, *тошнотворный*, *мимолетный* и под.

Полиформия $R_3R_2(R_4R_2OR_1O)/R_3(R_4R_2OR_1O)$ — почти асемантическая. Однако и здесь можно усмотреть разные оттенки значения.

Производные прилагательные от существительных *миномет-Ø*, *землесос-Ø*, *камнерез-Ø* и под. обозначают 'имеющий отношение к орудию, агрегату, инструменту', а суффиксально-сложные прилагательные, производные от словосочетаний, близки по смыслу к агенсу 'метающий мину', 'всасывающий землю', 'режущий камень'.

Полиформия свойственна и существительным типа *горнолыжник*, *дальневосточник*. Если это отадъективные имена, производные от суффиксально-сложных прилагательных *горнолыжный*, *дальневосточный*, то их реляторная запись иная, чем при получении их непосредственно от словосочетаний *горные лыжи*, *Дальний Восток*.

Приведем генотипические аналоги обеих словообразовательных структур, объективирующие их полиформию.

Применим операцию R_1^2 к комплексу $R_3R_2OR_2O$, который можно, в частности, интерпретировать как *горные лыжи*, *Дальний Восток* (рис. 6).

Трансформ $R_5R_3R_2OR_3R_2O$, выделенный на графе верхней жирной линией, интерпретируется в частности, как $\left\{\begin{matrix}C_{осн}\\П_{осн}\end{matrix}\right\}+П_с$, т. е. как *горнолыжный*, *Дальневосточный*. Ср. на гибридном языке R_5 *горно* R_3 *лыжный*, R_5 *дальне*R_3*восточный*. К полученному трансформу применяем оператор R_4^1, т. е. помещаем его в одночленное Т-поле:

1. $R_5(R_5R_3R_2OR_3R_2O)$
2. $R_3(R_5R_3R_2OR_3R_2O)$
3. $R_2(R_5R_3R_2OR_3R_2O)$
4. $R_1(R_5R_3R_2OR_3R_2O)$
5. $R_4(R_5R_3R_2OR_3R_2O)$ (22)

Трансформ (3) из (22) моделирует производное существительное от суффиксально-сложного прилагательного типа *горнолыжный*, *Дальневосточный*, полученное с помощью суф. *-ик*.

Генотипический аналог суффиксально-сложного существительного *горнолыж-ник* моделируется другим трансформом операнда $R_3R_2OR_2O$ из двучленного Т-поля на рис. 6. Это трансформ $R_3R_3R_2OR_2R_2O$, обозначенный второй жирной линией. Номинализатор R_2, который можно вынести за скобку R_2 ($R_3R_2OR_2O$), интерпретируется суф. *-ник*, т. е. ((*горн-о-лыж-*)-*ник*).

Различия в значениях *горнолыжник* и *дальневосточник* в случаях выявленной полиформии незначительные: $R_2(R_5R_3R_2OR_3R_2O)$ можно толковать как имеющий отношение к горнолыжному спорту, к дальневосточному краю, а при сопоставлении этих слов комплексу $R_3R_3R_2OR_2R_2O$ или, что то же самое, $R_2(R_3R_2OR_2O)$ они означают 'имеющий отношение к горным лыжам, к Дальнему Востоку'.

В РГ80 в одном и том же разделе «чистых сложений» приводятся слова типа *звукорежиссер*, *птицефабрика*, *лесозаготовки*, *хлебозавод*, *газобаллон*, *теплоотдача*, *кораблекрушение*, *метровокзал*,

формотворчество, *нефтепромышленность*, *дачевладелец*, *пассажиропоток*, *сеноуборка* и др. (с. 242) на основании того, что их компоненты связаны подчинительной связью, первый компонент — существительные, а вторые компоненты совпадают по форме со свободно функционирующими словами.

Как нам представляется, однако, это чисто поверхностное сходство. Особенно обманчиво совпадение поверхностной структуры тогда, когда слова этого типа в качестве одной из основ имеют лексически тождественные компоненты, например *градо-начальник* и *градостроитель*, *радио-техник* и *радиосвязь*.

Генотипические аналоги ряда слов, относимых РГ80 к чистым сложениям, и слов, относимых к суффиксально-сложным, показывают, что с точки зрения внутренней грамматической организации их следовало бы перераспределить. Так, к чистым сложениям мы бы отнесли слова типа *хлебозавод*, *газобаллон*, *метровокзал*, *пассажиропоток*, *нефтепромышленность* и под. на основании того, что их генотипический аналог $R_3R_2OR_2O$ (полученный вне Т-поля) сближает их скорее с аттрибутивными словосочетаниями типа *хлебный завод*, *баллон для газа*, *вокзал метро*, *поток пассажиров*, *нефтяная промышленность* и др. нежели со словами, полученными от глагольных словосочетаний типа *сеноуборка*, *жирозаменитель* или *сенокосилка*, *мореплаватель*, генотипические аналоги которых, как было показано выше, получаются в пределах Т-полей.

Если согласиться с тем, что слова типа *хлебозавод*, *нефтепромышленность* моделируются комплексом $R_3R_2OR_2O$, а слова типа *сеноуборка* и *мореплаватель* моделируются, в частности, комплексом $R_3R_4R_2OR_2R_1O$, то можно показать не только различное, но и общее в их структурах. Комплексы $R_3R_2OR_2O$ и $R_3R_4R_2OR_2R_1O$ могут быть представлены в более общем виде как R_3XR_2X. Обобщенная запись позволяет отвлечься от деривационной истории R-слов и объективировать их инвариантность. В данном случае можно говорить об обобщенно-подчинительных отношениях между компонентами:

$$\begin{array}{ccc} & R_3XR_2X & \\ \swarrow & & \searrow \\ R_3R_2OR_2O & & R_3R_4R_2OR_2R_1O \end{array} \qquad (23)$$

Инвариант R_3XR_2X показывает то общее, что имеется между словами типа *хлебозавод*, *метровокзал*, *нефтепромышленник*, *звукорежиссер*, *градоначальник*, *радиотехник*, с одной стороны, и *сеноуборка*, *лесозаготовки*, *формотворчество*, *дачевладелец*, *градостроитель*, *радиосвязь* — с другой.

Рассмотренные случаи отвечают условиям синтаксической и/или словообразовательной омонимии. Для ее разрешения мы прибегали выше к сравнению генотипических аналогов этих слов (см. приложение, где представлены все типы рассмотренных слов).

Приложение

Таблица рассмотренных типов сложных, суффиксально-сложных и производных от сложных слов

№ структуры	Словообразовательная структура (генотипический аналог)	Пример интерпретации	Характер последнего деривационного шага
1	$R_3R_2XR_1X$	*хлебозавод* *звукорежиссер* *нефтепромышленность*	сложение
2	$R_3R_4R_2OR_1R_1O$ или $R_3(R_4R_2OR_1O)$	*сеноуборка* *теплоотдача* *газоход* *мореплаватель*	суффиксация+сложение
3	$R_3R_5R_2OR_1R_1O$ или $R_3(R_5R_2OR_1O)$	*горнолыжник* I *дальневосточник* I	суффиксация+сложение
4	$R_3(R_5R_2R_1OR_1R_1O)$ или $R_3R_3(R_2R_1OR_1O)$	*горнолыжник* II *дальневосточник* II	суффиксация
5	$R_5R_4R_2OR_1R_1O$ или $R_3(R_4R_2OR_1O)$	*центробежный* *болезнетворный*	суффиксация+сложение
6	$R_3R_4R_3OR_1R_1O$ или $R_3(R_4R_3OR_1O)$	*тиховейный* *скоротечный*	суффиксация+сложение
7	$R_3R_4R_2OR_1R_1O$ или $R_3(R_4R_2OR_1O)$	*землесосный* I *камнерезный* I	суффиксация+сложение
8	$R_3(R_3R_4R_2OR_1R_1O)$ или $R_3R_3(R_4R_2OR_1O)$	*землесосный* II *камнерезный* II	суффиксация
9	$R_3R_4R_2OR_1R_1O$ или $R_3(R_4R_2OR_1O)$	*гранатометчик* I *лесосплавщик* I	суффиксация+сложение
10	$R_3(R_3R_4R_2OR_1R_1O)$ или $R_3R_3(R_4R_2OR_1O)$	*гранатометчик* II *лесосплавщик* II	суффиксация

ЛИТЕРАТУРА

Гинзбург Е. Л. Синтаксическая типология сложных слов. — В кн.: ПСЛ 1967. М., 1968.

Гинзбург Е. Л. Одноименность однокоренных производных. — В кн.: ПСЛ 1976. М., 1977.

Гинзбург Е. Л. Словообразование и синтаксис. М., 1979.

Григорьев В. П. О границах между словосложением и аффиксацией. — ВЯ. № 4, 1956.

Григорьев В. П. Заметки о сложных словах. — ВЯ, № 5, 1958.

Григорьев В. П. Несколько замечаний к дискуссии. — НДВШ, Филол. науки, № 2, 1959.

Григорьев В. П. О взаимодействии словосложения и аффиксации. — ВЯ, № 5, 1961.

Григорьев В. П. О задачах и методах изучения структуры слова. — В кн.: Морфологическая структура слова в языках различных типов. М., 1963.

Кубрякова Е. С. Типы языковых значений. М., 1981.

РГ80 — Грамматика русского языка. М., 1980.

Соболева П. А. Опыт исчисления трансформаций. — В кн.: ПСЛ 1963. М., 1965.

Соболева П. А. Словообразовательная полисемия и омонимия. М., 1980.

Хидекель С. С. О сложнопроизводных словах в современном английском языке. — В кн.: Труды Военного ин-та иностранных языков, 2. М., 1953.

И. В. АЛЬТМАН

ОТГЛАГОЛЬНЫЕ ГНЕЗДА. ТИПОЛОГИЯ И СЕМАНТИКА. III

Настоящая статья продолжает серию заметок, посвященных связи семантики слова с его способностью образовывать новые слова, со структурой гнезда, которое составляют его производные.

Уже описывалась типология словообразовательных гнезд в связи с семантикой входящих в них слов (гнезда объединяются в типологические группы в зависимости от принадлежности производных, входящих в эти гнезда, к той или иной части речи). Выяснялось, что в зависимости от принадлежности к той или иной типологической группе словообразовательные гнезда характеризуются однотипностью или разнообразием значения производных, а также теми или иными особенностями семантических связей между ними; выявлено, что семантика слов с одной и той же словообразовательной структурой (деривационной историей) оказывается различной в гнездах, относящихся к различным типологическим группам.

Удалось установить, что по разнообразию производных для каждой отдельной части речи словообразовательные гнезда делятся на две большие группы: те, в которых это разнообразие достигает высокой степени; это — гнезда, объединяющие производные глаголы, существительные и прилагательные; и гнезда, в которых такого разнообразия нет; это — гнезда, не включающие какой-либо одной или двух частей речи (т. е. не включающие либо только глаголов, либо только существительных, либо только прилагательных, либо не включающие ни глаголов, ни прилагательных или же ни глаголов, ни существительных; наличие или отсутствие производных наречий, как выяснилось, в этом отношении решающей роли не играет).

Иначе говоря, разнообразие словообразовательных структур и значений для производных каждой части речи определяется тем свойством словообразовательного гнезда, которое состоит в наличии в нем производных, относящихся ко всем трем перечисленным частям речи, или отсутствии производных, относящихся хотя бы к одной из них. Поскольку это свойство оказывается таким важным, то возникает необходимость в специальном названии для него. И здесь уместно вспомнить о термине, введенном П. А. Соболевой [1], предложившей критерий полноты / неполноты.

Критерий полноты/неполноты был применен в отношении совокупности производных, объединенных не общим корнем, как

---

[1] Основания порождающей грамматики русского языка. М., 1968, с. 32.

в нашем случае, по общим словообразовательным формантом, например, существительными на *-лья*, *-аж*, *-ёжка*, имеющими при этом различные словообразовательные структуры. Полной предлагалось считать совокупность производных, объединяющую слова с общим формантом таким образом, что для реализации производных, имеющих на первом такте своей деривационной истории порождение каждой из трех частей речи — глагола (R_1R_2O), существительного (R_2R_2O) и прилагательного (R_3R_2O) — находился хотя бы один пример.

Применительно к словообразовательным гнездам этот критерий, по-видимому, можно понимать следующим образом: полной следует считать структуру такого гнезда, в котором на первом такте реализуются слова, относящиеся по крайней мере к трем частям речи; для отглагольных гнезд это производные, имеющие словообразовательную структуру R_1R_1O, R_2R_1O и R_3R_1O. Гнезда с полной структурой возможны в группе 3 (производные глаголы, существительные и прилагательные) и в группе С (производные глаголы, существительные, прилагательные и наречия); здесь слова, относящиеся к названным трем частям речи, реализуются на первом такте производности в подавляющем большинстве случаев; следует однако сразу же отметить, что эта закономерность вовсе не имеет абсолютного характера. Так, например, в гнезде от глагола *лизал/лизнул* на первом такте производности образуется лишь глагол R_1R_1O (*вылизал/вылизывал*, *полизал*, *слизал/слизывал* и т. п.) и существительное R_2R_1O (*лизание*, *лизун*), а прилагательное образуется лишь на втором такте производности — не от непроизводного глагола, а от его префиксального деривата: $R_3R_1R_1O$ *зализанный*, *прилизанный*; или в гнезде от *пас* при производных глаголе R_1R_1O (*выпас*, *допас*, *пасся* и т. п.) и существительном R_2R_1O (*пастбище*, *пастух*, *пастьба*) прилагательное тоже образуется лишь на втором такте: $R_3R_1R_1O$ (*выпасной*).

Таким образом выясняется, что наличие в гнезде производных, допускающих применение вопроса о полноте структуры хотя бы первого такта, вовсе не предопределяет положительного ответа на этот вопрос. Вот почему представляется целесообразным проследить реализацию полных структур в словообразовательных гнездах в зависимости от такта производности и части речи производного, способного в свою очередь образовывать полные структуры.

Согласно положению о регулярности гнезда как закономерности, преимущественно присущей словообразовательным гнездам [2], следует полагать, что полноструктурные такты должны встречаться в начале ветви; на последних этапах количество про-

[2] *Гинзбург Е. Л.* Исследование гнезд сложных слов в русском языке на базе аппликативной модели. Автореф. канд. дисс., М., 1967; *Он же.* Исследование структуры словообразовательных гнезд. — В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1972. М., 1973; *Он же.* Словообразование и синтаксис. М., 1979.

изводных убывает. Интересно проследить характер этого убывания и выяснить, имеют ли место здесь какие-либо закономерности и прежде всего — идет ли убывание по линии идентифицирующего или транспонирующего словообразования, какая ветвь из двух транспонирующих оказывается более продуктивной в этом отношении. Естественно, важен вопрос о том, в какой мере эти особенности могут служить характеристиками гнезд и таким образом отражать закономерности, касающиеся семантической структуры гнезда и, по-видимому, прежде всего — семантики исходного непроизводного слова (в нашем случае — несомненно многозначного), точнее — тех ее свойств, которые могут проявиться в развитии многозначности производных, что, в свою очередь, сказывается на их деривационных возможностях.

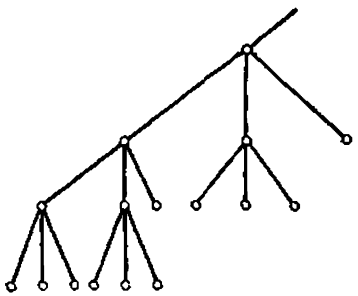


Рис. 1

Здесь целесообразно рассмотреть реализацию полных структур в группе 3 словообразовательных гнезд от непроизводных глаголов. На основании сводного графа для всей группы можно говорить о реализации полных структур на первом такте производности. Начиная со второго такта полные структуры порождаются только от глаголов и существительных; на третьем такте эта закономерность повторяется. Примеры этих образований приводятся ниже, их сводное графическое представление (рис. 1).

ПЕРВЫЙ ТАКТ ПРОИЗВОДНОСТИ

Исходное слово — непроизводный глагол:

R_1O греб, жарил, штопал, репетировал (гнезда сложностью 7), мял, владел (сложность 8), портил (сложность 9).

Производные:

R_1R_1O выгреб/выгребал, нагреб/нагребал, подгреб/подгребал, разгреб/разгребал; жарился, зажарил/зажаривал, изжарил, недожарил/недожаривал, обжарил/обжаривал, пережарил/пережаривал, поджарил/поджаривал; заштопал/заштопывал, перештопал/перештопывал, подштопал/подштопывал; отрепетировал, репетировался, срепетировал; перемял/переминал, помял, размял/разминал, смял; совладел [1], совладел [2]; испортил, портился [3];

R_2R_1O гребец, гребло, гребля, гребок; жаренье; штопальщик, штопанье, штопка; репетитор, репетиция; мялка; порча;

---

[3] Из префиксальных образований, число которых на одном такте обычно бывает весьма велико, здесь приводятся в качестве примера лишь некоторые.

R_3R_1O гребной; жаренный, жареный; штопальный, штопаный; мятый; владетельный

ВТОРОЙ ТАКТ ПРОИЗВОДНОСТИ

Исходное слово — производный глагол:

R_1R_1O выгреб/выгребал, нагреб/нагребал, разгреб/разгребал; жарился, зажарил/зажаривал, изжарил, недожарил/недожаривал, обжарил/обжаривал, пережарил/пережаривал, поджарил/поджаривал; заштопал/заштопывал, подштопал/подштопывал; отрепетировал, репетировался, срепетировал; перемял/переминал, помял, размял/разминал, смял; совладел, портился, испортил.

Производные:

$R_1R_1R_1O$ выгребся/выгребался, нагребался, подгребался, разгребался; зажарился/зажаривался, изжарился; заштопывался, перештопывался, подштопывался; перемялся/переминался, помялся, поразмял, размялся/разминался, смялся/сминался; испортился;

$R_2R_1R_1O$ выгреб, выгребание, выгребка, подгребка, подгребки, разгребание; обжарка, поджаривание; срепетированность; разминка, смятие;

$R_3R_1R_1O$ выгребной, подгребной; поджаристый; заштопанный, перемятый, помятый, смятый.

Исходное слово — отглагольное существительное:

R_2R_1O штопальщик; репетитор, репетиция; владелец.

Производные:

$R_1R_2R_1O$ репетиторствовал;

$R_2R_2R_1O$ штопальщица; владелица;

$R_3R_2R_1O$ репетиторский, репетиционный; владельческий.

ТРЕТИЙ ТАКТ ПРОИЗВОДНОСТИ

Исходное слово — производный глагол:

$R_1R_1R_1O$ перемялся/переминался, поразмял, размялся/разминался, смялся/сминался; испортился.

Производные:

$R_1R_1R_1R_1O$ поразмялся; поиспортился;

$R_2R_1R_1R_1O$ разминка[2];

$R_3R_1R_1R_1O$ разминочный[2].

Исходное слово — производное существительное:

$R_2R_1R_1O$ совладелец.

Производные:

$R_1R_1R_1R_1O$ совладетельствовал:

$R_2R_2R_1R_1O$ совладелица;

$R_3R_2R_1R_1O$ совладельческий.

Можно указать теоретически возможные структуры, не имеющие реализации. Таковы, например, производные от отглагольного существительного $R_1R_2R_1O$: $R_1R_1R_2R_1O$, $R_2R_1R_2R_1O$ и

$R_3R_1R_2R_1O$ или от отноминативного существительного $R_2R_2R_1O$: $R_1R_2R_2R_1O$, $R_2R_2R_2R_1O$ и $R_3R_2R_2R_1O$; в нашем материале не встретилось таких случаев; еще меньше возможности найти реализацию для производных от отадъективного существительного $R_2R_3R_1O$: $R_1R_2R_3R_1O$, $R_2R_2R_3R_1O$ и $R_3R_2R_3R_1O$.

При такого рода переборе материала становится очевидной следующая закономерность: чем сложнее словообразовательная структура производного слова, тем выше должна быть однородность последовательных тактов производности (идентифицирующее словообразование) для того, чтобы та или иная словообразовательная структура могла бы иметь реальную репрезентацию в языке. Следовательно, чем выше такт производности, тем менее вероятно образование в гнезде полных структур. При этом для отглагольных гнезд характерна особенность, состоящая в том, что из транспонирующих деривационных шагов дольше сохраняются те, результатом которых является образование производных существительных; производных прилагательных в отглагольных гнездах меньше и структуру они имеют менее сложную.

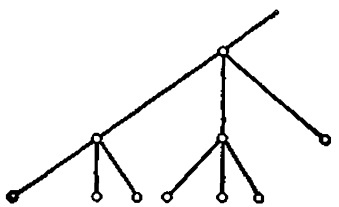


Рис. 2

Если вспомнить о том, что способность образовывать новые слова отражает степень многозначности исходного слова, то и в этом отношении можно сделать некоторые наблюдения. Так, образование сразу двух транспонирующих дериватов возможно тогда, когда оба эти компонента гнезда образуются от производящего в одном и том же значении; если же производящее слово сохраняет многозначность, то ее отражение сказывается прежде всего на разнообразии производных одного и того же деривационного шага, но не на разнообразии деривационных шагов как таковых. В графическом представлении это отражается следующим образом: чем дальше от вершины, тем в меньшей степени граф разветвляется; ветви продолжаются чаще всего в одном и том же направлении.

Аналогичная картина обнаруживается в гнездах группы С, включающей производные глаголы, существительные, прилагательные и наречия (сводный граф полных структур для этой группы см. на рис. 2). Ниже перечисляются полные структуры для гнезд этой группы; здесь можно напомнить принятое условие, согласно которому полными структурами считаются элементы словообразовательного гнезда, состоящие из сочетания производного глагола, существительного и прилагательного на одном такте производности от одного и того же исходного слова, — поэтому наречия можно не приводить даже в тех случаях, когда они имеются в гнезде.

ПЕРВЫЙ ТАКТ ПРОИЗВОДНОСТИ

Исходное слово — непроизводный глагол:

R_1O толковал (гнездо сложностью 9), пил (сложность 11), студил (сложность 12), рвал (сложность 20).

Производные:

R_1R_1O втолковал/втолковывал, истолковал/истолковывал, перетолковал, растолковал/растолковывал; выпил/выпивал, запил/запивал, напился/напивался, пропил/пропивал, распил/распивал; выстудил/выстуживал, застудил/застуживал, остудил/остуживал, простудил/простуживал; взорвал/взрывал, вырвал/вырывал, дорвал/дорывал, изорвал/изрывал, надорвал/надрывал, нарвал/нарывал, оборвал/обрывал, оторвал/отрывал, перервал/перерывал, подорвал/подрывал, разорвал/разрывал, рванулся, рвался, сорвал/срывал, урвал/урывал;

R_2R_1O толк; питие, питье, пойло, попойка; студень, стужа; рывок;

R_3R_1O толковый; пьющий; студеный, студенный, стуженый; рваный.

ВТОРОЙ ТАКТ ПРОИЗВОДНОСТИ

Исходное слово — производный глагол:

R_1R_1O втолковал/втолковывал, истолковал/истолковывал, перетолковал/перетолковывал, растолковал/растолковывал; выпил/выпивал, запил/запивал, напился/напивался, пропил/пропивал, распил/распивал; выстудил/выстуживал, застудил/застуживал, остудил/остужал, перестудил/перестуживал, простудил/простужал, студился; взорвал/взрывал, вырвал/вырывал, дорвал/дорывал, изорвал/изрывал, надорвал/надрывал, нарвал/нарывал, оборвал/обрывал, оторвал/отрывал, перервал/перерывал, подорвал/подрывал, разорвал/разрывал, рвался, сорвал/срывал, урвал/урывал.

Производные:

$R_1R_1R_1O$ втолковывался, истолковывался, перетолковывался, растолковывался; выстудился/выстуживался, застудился/застуживался, остужался, перестудился/перестуживался простудился/простужался; взорвался/взрывался, вырвался/вырывался, дорвался/дорывался, изорвался/изрывался, нарвался/нарывался, оборвался/обрывался, оторвался/отрывался, перервался/перерывался, подорвался/подрывался, разорвался/разрывался, сорвался/срывался, урвался/урывался;

$R_2R_1R_1O$ истолкование, истолкователь, перетолки, перетолкование, перетолковывание; выпивала, выпивка, запой, напиток, пропитие, пропоец, пропой, пропойца, распивание, распитие; застуживание, остуда, простуда; взрыв, взрывание, взрыватель, надрыв, обрыв, обрывок, отрыв, отрывок, перерыв, подрыв, подрывание, разрыв, разрывание, срыв, срывание;

$R_3R_1R_1O$ испитой, недопитый, пропитой, спитый; простуженный; взрывчатый, изорванный, надорванный, оборванный, отрывистый, отрывной, подрывной, разорванный, разрывной, сорванный.

Исходное слово — производное существительное:

R_2R_1O толкователь; питие, питье; студень.

Производные:

$R_1R_2R_1O$ застуденевал, студенился;

$R_2R_2R_1O$ толковательница;

$R_3R_2R_1O$ питейный, питьевой; студенистый.

Этим перечнем, собственно, и исчерпываются случаи полных структур в сводном графе типологической группы гнезд, включающей производные, относящиеся ко всем частям речи. Показательно, что системный характер ограничений, налагаемых реальным языком на условный язык модели, проявляется весьма отчетливо даже при обращении к весьма обширному материалу, без какого-либо предварительного отбора; обилие материала, как выясняется, не означает бесконечного многообразия словообразовательных структур. *Более отчетливо наблюдать характер этих* ограничений можно, если проследить типы производных в зависимости от исходного слова, образующегося на первом такте производности, иначе говоря — от ветви графа, на которой схематически изображено их соотношение.

Так, ветвь графа, соответствующую дериватам от производного первого такта, можно охарактеризовать как полноструктурную, если хотя бы на одном такте этой ветви образуется полная структура, и как неполноструктурную, если эта ветвь не имеет ни одного такта, на котором производные образовывали бы полную структуру.

Выясняется, что в графах отглагольных гнезд полноструктурными могут быть только ветви, отражающие образование от глаголов (релятор R_1) или от существительных (релятор R_2). В ветвях, отражающих образование от прилагательных (релятор R_3), полные структуры невозможны хотя бы потому, что в русском языке от прилагательных, образованных от глаголов, новые глаголы уже не образуются, — значит, невозможно обнаружить работу всех трех реляторов, если известно, что один из них в данном направлении не работает. Эта закономерность связана, по-видимому, с тем, что в русском словообразовании отадъективные глаголы возможны, если они образованы от непроизводных прилагательных (*синеть, худеть, похорошеть*), реже — от отноминативных прилагательных (*золото — золотой — позолотить*); глаголы же, образованные от отглагольных прилагательных, невозможны хотя бы потому, что отглагольные прилагательные сохранили достаточно прозрачную связь с причастиями, следовательно, значения исходного слова в них сохраняются, и для развития новых предикатных значений в них нет условий, а следовательно —

нет и необходимости в образовании нового слова; да и формальных средств для образования глагола от причастия (даже — ставшего прилагательным, даже — субстантинировавшегося) не существует; если такая необходимость возникает в тексте, то создаются аналитические предикаты типа *быть ранимым, быть направляющим* или *работать выпускающим* (интересно отметить, что образования такого типа возможны лишь там, где в отглагольных прилагательных развивается новое значение, как в случае с прилагательным *ранимый*, которое, собственно, означает не 'подвергающийся ранению', а 'тяжело переносящий обиду' или при терминологическом употреблении — как в случае со словами *выпускающий, направляющий, разводящий* и т. п.). Вот почему все такты этой ветви всегда окажутся неполноструктурными; кроме идентифицирующих дериватов, здесь наиболее часто встречается образование существительных типа *ранимость*.

Полные структуры встречаются в глагольной ветви, реже — в ветви, отражающей образования от отглагольных существительных. Количественная закономерность, с какой встречаются полные структуры в этих ветвях, показана в табл. 1.

Таблица 1

№ п/п	Сложность графа	Общее количество типов гнезд	Количество типов гнезд, имеющих полную структуру в отглагольной ветви	
			на первом такте	на втором такте
1	4	1	1	—
2	5	8	6	—
3	6	17	11	—
4	7	18	13	—
5	8	13	11	—
6	9	12	12	7
7	10	15	13	11

Образование полных структур от производных существительных возможно лишь в случае, если говорить о реальной репрезентации ветвей сводного графа, т. е. для производных со структурой $R_1R_2R_1O$, $R_2R_2R_1O$, $R_3R_2R_1O$ можно найти хотя бы по одному примеру из разных гнезд. Только один раз в нашем материале удалось обнаружить полную структуру от производного существительного в одном гнезде — производные от слова *репетитор*. Этот случай весьма показателен: здесь явный пример семантической неоднородности гнезда, связанной с развитием значения слова *репетитор*, которое хотя и имеет значение 'тот, кто проводит репетиции', 'тот, кто репетирует с актерами', (значение, которое не фиксируется четырехтомным Словарем русского языка) означает прежде всего 'тот, кто помогает кому-либо в прохождении ка-

кого либо курса, в усвоении каких-либо знаний' и связано с основным исходным глаголом по его второму значению (так указано в четырехтомном Словаре русского языка); а поскольку глагол *репетировать* в втором значении перестает употребляться и заменяется либо аналитическим *давать уроки*, либо однокоренным *репетиторствовать*, то благодаря этому и создаются условия для образования полной структуры от отглагольного имени в отглагольном гнезде, что, как выясняется, вообще для отглагольных гнезд чрезвычайно не характерно.

В предлагаемой таблице подобные случаи не отражены: они единичны.

Приведем примеры производных, образующих полные структуры для типов гнезд, ветвей и тактов, указанных в таблице. Номера отсылают к строчкам таблицы; скобки обозначают, что приведенные в них слова имеют ту же словообразовательную структуру, что и последнее перед скобками слово.

1. Граф сложностью 4 по существу состоит из одной полной структуры: R_1O, R_1R_1O, R_2R_1O, R_3R_1O: благоухал, благоухание, благоуханный; блистал, заблистал (поблистал, проблистал), блистание, блистательный; блуждал, поблуждал (проблуждал), блуждание, блуждающий; вращал, вращался, вращение, вращательный; дистиллировал, дистиллировался, дистиллят (дистиллятор, дистилляция), дистилляционный; глумился, поглумился, глум (глумление), глумливый; издевался, поиздевался, издевка (издевательство), издевательский; изумил/изумлял, изумился/изумлялся, изумление, изумленный (изумительный); ликовал, возликовал (поликовал), лик[3] (ликование), ликующий; мерцал, замерцал (померцал), мерцание, мерцательный; оросил/орошал, оросился/орошался, ороситель (орошение), оросительный; пикировал, спикировал, пике (пикирование, пикировщик), пикирующий; побудил/побуждал, побуждался, побуждение, побуждающий; пригласил/приглашал, приглашался, приглашение, пригласительный (приглашенный); различил / различал, различался (различествовал), различение (различие), различительный (различный); рыдал, возрыдал (зарыдал, разрыдался), рыдание, рыдающий; сверкал/сверкнул, засверкал (отсверкал, посверкал, посверкивал, просверкал, просверкивал), сверкание, сверкающий; смаковал, посмаковал (смаковался), смак (смакование), смачный; утрировал, утрировался, утрирование (утрировка), утрированный; форсировал, форсировался, форсинг (форсирование, форсировка), форсированный и др.;

2. бодал/боднул, бодался (забодал, избодал, прободал), бодун, бодастый (бодливый); дрессировал, выдрессировал (дрессировался, надрессировал), дрессировка (дрессировщик), дрессированный; истребил/истреблял, истребился/истреблялся, истребитель (истребление), истребительный; преобразовал/преобразовывал, преобразовался/преобразовывался, преобразование

(преобразователь), преобразовательный; радел, порадел, радение (радетель), радетельный; сопровождал/сопроводил, сопровождался, сопроводитель (сопровождение), сопроводительный (сопровождающий);

алкал, взалкал, алчба, алчный; брюзжал, набрюзжал (набрюзжался, побрюзжал, пробрюзжал, разбрюзжался), брюзжание (брюзга), брюзгливый; возмутил/возмущал, возмутился/возмущался, возмущение, возмутительный (возмущенный); изобразил/изображал, изобразился/изображался, изображение, изобразительный; картавил, закартавил, картавление, картавый; компилировал, скомпилировал, компилирование (компилятор, компиляция), компилятивный; отстал/отставал, поотстал, приотстал/приотставал, отставание, отсталый; презирал (презрел), презирался, презрение, презренный (презрительный); раздражил/раздражал, раздражился/раздражался, раздражение (раздражитель), раздражающий (раздраженный, раздражимый, раздражительный); спас/спасал, спасся, спасался, спас[2] (спасание, спасатель, спасение, спаситель), спасательный (спасительный); шипел, зашипел (пошипел, прошипел), шип[3] (шипение, шипун), шипучий, шипящий;

3. зевал/зевнул, зазевал (зазевался, зевалось, назевался, позевал, позевывал, прозевал, раззевался), зевака (зеванье, зевок, зевота, позевота), зевательный; мигал/мигнул, замигал (перемигивался/перемигнулся, подмигивал/подмигнул, помигал, помигивал, промигал, смигивал/смигнул), мигалка (мигание), мигательный; скрипел/скрипнул, заскрипел (поскрипел, поскрипывал, проскрипел), скрип (скрипение), скрипучий; улыбался/улыбнулся, заулыбался, улыбка, улыбчивый;

4. линял, вылинял, облинял, отлинял, перелинял/перелинивал, полинял, слинял), линька (линяние); холил, выхолил (холился), холя, холеный; дубил, выдубил (дубился, задубенел, задубел, надубил, продубил), дубильня (дубильщик, дубитель, дубление), дубильный (дубленный, дубленый, дубящий); забыл/забывал, забылся/забывался (перезабыл, подзабыл/подзабывал, позабыл/позабывал), забвение (забывание, забытье), забвенный (забывчивый, забытый, незабываемый);

5. ощутил/ощущал, ощущался (предощущал/предощутил), ощущение, ощутимый (ощутительный); владел, завладел/завладевал (овладел/овладевал, совладал, совладел), владелец (владение, владетель), владетельный; воспринял/воспринимал, воспринялся/воспринимался, восприемник (восприятие), восприимчивый; выразил/выражал, выразился/выражался, выражение (выразитель), выразительный (невыразимый), убедил/убеждал, переубедил/переубеждал (разубедил/разубеждал, убедился/убеждался), убеждение, убедительный (убежденный).

НА ПЕРВОМ ТАКТЕ ПРОИЗВОДНОСТИ

6. подчинил/подчинял, подчинился/подчинялся (соподчинил/соподчинял), подчинение, подчиненный (подчинительный); молотил, вымолотил/вымолачивал (домолотил/домолачивал, молотился, намолотил/намолачивал, обмолотил/обмолачивал, отмолотил/отмолачивал, перемолотил/перемолачивал, помолотил, размолотил/размолачивал, смолотил/смолачивал, умолотил/умолачивал), молотилка (молотило, молотильщик, молотьба), молотильный (молоченный, молоченый); определил / определял, определился/определялся (предопределил/предопределял), определение (определитель), определенный (определимый, определительный).

НА ВТОРОМ ТАКТЕ ПРОИЗВОДНОСТИ

соподчинил/соподчинял, соподчинялся, соподчинение, соподчиненный (соподчинительный); обмолотил/обмолачивал, обмолотился/обмолачивался, обмолот, обмолоточный; предопределил/предопределял, предопределился/предопределялся, предопределение, предопределенный.

НА ПЕРВОМ ТАКТЕ ПРОИЗВОДНОСТИ

7. плакал, всплакал (заплакал, наплакал, оплакал/оплакивал, поплакал, проплакал, расплакался), плакальщих (плакса, плач, плачея), плаксивый (плакучий, плачевный, плачущий); одел/одевал, оделся/одевался (переодел/переодевал, приодел, разодел), одевание (одежа, одежда), одетый; тренировал, натренировал (перетренировал, тренировался), тренаж (тренер, тренинг, тренировка), тренированный.

НА ВТОРОМ ТАКТЕ ПРОИЗВОДНОСТИ

производные от префиксальных структур: оплакивался, заплачка, заплаканный (наплаканный); переоделся/переодевался, переодевание, переодетый; натренировался, перетренировка, натренированный.

Е. В. КРАСИЛЬНИКОВА

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ МОРФОЛОГИИ РУССКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ

Исследование области грамматических значений, области содержания и функционирования морфологических форм, очевидно, имеет принципиальное значение для установления различий разговорной и книжной подсистем русского литературного языка на морфологическом уровне. Уже не раз случалось, что задачи описания фактов разговорной речи (РР) требовали прояснения некоторых общих теоретических вопросов, актуализировали определенную теоретическую проблематику, смыкались с насущными вопросами, поставленными в теории языкознания. Такова и названная задача. Она органически связана с таким комплексом проблем, как: типы грамматических значений, структура категориальных значений, соотношение категориальных и некатегориальных значений, морфологические и скрытые категории, связь морфологических и синтаксических значений, основных и транспонированных употреблений морфологических форм и др. Для этой работы центральным будет вопрос о типах грамматических значений, о возможных отличиях подсистемы РР от книжной подсистемы в соотносительном весе разных типов значений.

Типы содержания морфологических категорий подвергались разным классификациям, получали разное именование. Основным делением долго оставалось деление на номинативный и синтаксический тип означаемого (Зализняк 1969), А. В. Бондарко построил более сложную классификацию по следующим признакам: семантической/структурной доминанты, преимущественно отражательного/преимущественно интерпретационного характера, участия в передаче отношения содержания высказывания к действительности с точки зрения говорящего (Бондарко 1976).

Однако затруднение для подобной классификации категориальных значений состоит в том, что некоторые грамматические формы одновременно наделены разными типами означаемых. Ср. деление на синтаксические и конкретные падежи и выделение синтаксических и семантических нагрузок в качестве первичных и вторичных функций одного падежа у Е. Куриловича; соединение в европейском артикле когнитивных (логических) и коммуникативных компонентов значения (термины И. И. Ревзина в: Категория определенности/неопределенности 1979, 83). Если обратиться к функционированию морфологических форм в высказывании, то легко обнаруживается, что в определенных условиях они нередко становятся носителями дополнительных некатегориальных нагрузок (ср. также: Славянское языкознание, VIII съезд славистов, с. 67—74). Например, при употреблении в речи видовременных

форм глагола возникают более и менее регулярные модальные наслоения. При этом грамматическая форма может приобретать в речи такой тип значения, который отсутствует в ее категориальном противопоставлении, хотя у других форм то же значение, тот же тип значения может быть категориальным. Из сказанного мы хотели бы сделать вывод о необходимости классификации типов грамматических значений, в определенной степени независимой от их формальных носителей.

Создание такой классификации не есть цель этой статьи. Мы будем использовать ряд классификационных признаков, уже достаточно проработанных в современной теоретической литературе. Среди них прежде всего: логический, денотативный, коммуникативный, модальный (особо рассматривается группа прагматических значений). Эти аспекты семантики в первую очередь принадлежат характеристике синтаксических структур. Однако нам кажется верным тезис о «подчиненности исследования лексических и грамматических значений задаче описания смысла предложения в целом (Аспекты семантических исследований 1980, с. 320). Поэтому кажется полезным приложить те же критерии к анализу функционирования морфологических форм. Сразу же следует оговорить, что такой подход задает первый шаг анализа, однако, по-видимому, целесообразно пройти все ступени абстрагирования для установления в конечном итоге категориальных значений, выделяемых на морфологическом уровне.

Рассмотрим содержание и функционирование форм категории числа имен существительных. Мы пока не касаемся содержания морфологической оппозиции этих форм (не определяем, какой характер носит противопоставление форм: привативный или эквиполентный). Сложность состоит в том, чтобы определить, на одном или нескольких признаках строится оппозиция числа, отделить значения, из которых складывается категориальное противопоставление, от контекстных и прагматических наращений. В этой работе содержится попытка расслоения разных рядов значений.

По нашему мнению, анализ употребления форм числа существительных предполагает обращение к следующим аспектам семантической структуры высказывания: логическому, денотативному (референтному), коммуникативному, прагматическому. Связывая семантику с той или иной формой числа, необходимо учитывать также языковые правила, относящиеся к организации синтаксической и семантической структуры целого высказывания, регулирующим и выбор форм числа.

Первый шаг в анализе — *логическая* характеристика высказывания. В паре стереотипных примеров: *Книга лежит на столе*; *Книга — источник знаний* представлены два наиболее известных случая, в которых с логической точки зрения выделяется референтное и нереферентное употребление существительного *книга*.

В первом случае идея количества нерелевантна, поскольку предмет не индивидуализирован. Мы отсылаем читателя к работам, касающимся логических характеристик высказывания и денотативной ориентированности именных групп (Арутюнова 1976; Падучева 1979; Категория определенности/неопределенности 1979, 83). Новый синтез логики и грамматики в подходе к анализу грамматических категорий представляется очень плодотворным. Логическое разделение термового употребления имен (при котором имя так или иначе ориентировано на внеязыковой объект): *В р а ч пришел только к вечеру*; предикатного: *Иван — в р а ч* и автонимного: *Ее сестра звалась Т а т ь я н а* имеет очевидное влияние на функционирование форм числа. Выбор формы числа, обусловленный референтно, возможен лишь в первом употреблении, для предикатного употребления характерно синтаксическое правило координации форм, для автонимного — тенденция к лексикализации формы числа (хотя возможны и формы синтаксической координации, см. пример выше). Характеристики типов высказывания и их именных составляющих с точки зрения их «денотативной ориентированности» важны для объяснения синонимии форм числа (см. Зализняк, Падучева 1974).

Итак, анализу денотативного содержания количественных характеристик предметов должен предшествовать логический анализ структуры высказывания, в котором устанавливается отнесенность высказывания или его части к одной конкретной ситуации (объекту), к любому, всем ситуациям (объектам) некоторого типа или неотнесенность к конкретной ситуации.

Д е н о т а т и в н ы й а с п е к т. Из объективных количественных характеристик предметов русский язык в категории числа отражает две: один предмет — более одного. Сообщение о том, что предмет «один» может нести только форма единственного числа, форма множественного числа может обозначать количество «более одного», или «неопределенное количество». В последнем случае на денотативном уровне ему может оказаться соответствующим количество предметов, равное одному, однако подобное прояснение неопределенности происходит лишь в контексте и не содержится в самой форме.

К денотативному уровню, по-видимому, относятся также указания на разные степени слитности множества, его однородность/неоднородность (ср. Арбатский 1971). Слияние множества в комплект может иметь узуальный (*зубы, грузины*) и актуальный характер. Актуальная группа нередко выделяется по одному из его членов. Тогда возникает так называемое репрезентативное множественное, представленное, в частности, в местоимениях *мы* и *вы*, в инклюзивных формах повелительного наклонения. В этом же ряду находится, по нашему мнению, и признак количественной исчерпанности множества. Собирательные существительные (неоценочные наименования лиц) обозначают всегда реальное

множество однородных предметов в их совокупности, исчерпывающее по составу. Формы мн. числа в противопоставлении к собирательным словам характеризуются тем, что Ш. Балли назвал партитивным началом, свойственным всякому количеству (Балли 1955, 90), в основе их семантики лежит идея «несколько из всех», окказионально реализующаяся и значениями «один» и «все».

Особенного внимания требует решение вопроса о том, какие денотативные характеристики заложены в категориальных значениях форм числа и какие из них выводятся из контекста, возникают из общих знаний о действительности (ср. замечания о принципах выделения грамматических значений в: Бондарко 1978). В этой связи укажем на два употребления форм числа, вызывающие разноречивые трактовки.

Д ы н я нынче уродилась; *З в е р ь бежит в леса*; *Л и с т падает с деревьев*. Этот тип употребления единственного числа, называемый обобщенно-собирательным, нередко определяется на грамматическом уровне как выражающий множественность. Например, Л. Г. Яцкевич (1972) вводит факультативное значение множественности в область грамматического значения формы единственного числа. Кажется более верным не приписывать этому употреблению количественной семантики. То, что на денотативном уровне речь идет не об одном предмете, но о многих, грамматической формой не сообщается.

В вагоне у нас новые п а с с а ж и р ы — молодая женщина с чемоданом. Здесь также контекст показывает, что на денотативном уровне форма множественного числа соотнесена с одним предметом, однако кажется неверным ввести значение единичности в качестве возможного значения множественного числа. И в этом контексте оно сохраняет свое значение неопределенного множества.

Таким образом, при описании категории числа денотативный уровень должен быть учтен, но он не может полностью отождествляться с грамматической семантикой.

Известный пример дистрибутивного единственного: *Советники надели на н о с очки* представляет реализацию семантического правила поверхностного несогласования, он также не должен трактоваться как соединение формы единственного числа с множественностью, хотя реальная множественность денотатов налицо.

К о м м у н и к а т и в н ы й а с п е к т. На связь категории числа с коммуникативной категорией определенности/неопределенности указывали Т. В. Булыгина (устное выступление в 60-х годах, ср. также Булыгина 1977, Аспекты семантических исследований, гл. V, 1980), И. И. Ревзин и О. Г. Ревзина (см. в частности: Ревзин 1969; Категория определенности/неопределенности 1979, с. 68—69, 82 и др.). Коммуникативный — в узком смысле слова — аспект значений определенности/неопределенности создается связью речи с ситуацией говорения и процессом

речевого общения говорящего и слушающего. В случае неопределенности предмета, например, «связь с коммуникативной ситуацией подчеркивается сигнализацией того факта, что до данного момента объект не находился в поле внимания слушающего» (Категория определенности/неопределенности 1979, 84).

В русском языке обнаружена тесная связь значения неопределенности с формой множественного числа. Она проявляется в неопределенно-личном употреблении глагольных форм, ср. в РР: *У тебя новая ручка? Да || Мне подарили || Володя подарил ||*; в использовании формы множественного числа существительных, в случае, когда количество предметов и сами предметы неизвестны говорящему, ср. фразу, произнесенную в момент переписи населения: *Завтра придут переписчики* (неизвестно один или два); в выдвижении на первый план значения неопределенности в случае, когда, количественное значение множества не поддерживается отношениями в реальной действительности, ср. пример *в Америках* в: Ревзин 1969, в образовании родительного «партитивного» у существительных, называющих конкретные предметы, только от форм множественного числа, ср. принеси *огурцы — огурцов*, ср. *кашу — каши* (значение неопределенности объединяет здесь в один ряд формы множественного числа, вещественные существительные: «. . .в понятии вещества отсутствуют всякие пространственные ограничения» (Томсон 1903, с. 56), определенные разряды собирательных существительных типа *гнилье, жулье*, не соотносимых с каким-либо определенным целым, но не типа *студенчество, пионерия*, имеющих значение определенного исчерпанного состава). Важно отметить также особый случай согласования, вернее формального несогласования при неопределенных предметах. В одной из книг в качестве подписи под иллюстрацией встретилась фраза: *Кибитка, в которых останавливались приезжавшие на Горячие воды в первой четверти XIX века* (М. Павлов. Здравствуй, Пятигорск). На рисунке изображена одна из типичных кибиток того времени. Если бы речь шла об определенной конкретной кибитке, потребовалось бы иное согласование: *Кибитка, в которой останавливался Н.*

В языке прослеживается закономерная корреляция между отношениями «целое—часть» и «определенность—неопределенность». Мы уже приводили глубокое замечание Ш. Балли о том, что в основе понятия «количества» лежит идея партитивности «несколько из всех». Собственно «количественной» формой, всегда указывающей на возможность счета, является в русском языке форма множественного числа. Она же оказывается выразителем неопределенной идентификации предметов.

Принимая возражения А. И. Томсона и других лингвистов против буквального истолкования всех употреблений родительного партитивного как обозначающего «часть», мы все же считаем

важной связь этой формы с идеей количества, опосредующей связь с идеей неопределенности.

Прагматический аспект. Если денотативное содержание — реальное количество предметов — однозначно даны говорящему и слушающему, возникает возможность транспозиции числовых форм, преследующей специальные цели в коммуникативных отношениях говорящего и слушающего. Приведем два примера: Из лекции о международном положении: *Вот как господа американские президенты разговаривали с нами в 1959 году* (речь шла о Д. Эйзенхауэре). Из письма С. С. Прокофьева Н. Я. Мясковскому по поводу отказа издателей напечатать его сонату: *Но если они хотели поразить меня в сердце, то, безусловно, ошиблись точкой: я только что продал велосипед и фотографию, и по приезде в Петербург немедленно издаю оба опуса, помимо всяких Иваныванычей* (С. С. Прокофьев и Н. Я. Мясковский. Переписка, Письмо № 62, 1910 г. М., 1977, с. 88).

В том и другом случае представление одного лица в форме множественного числа является средством выражения разных оттенков отрицательного, неодобрительного отношения к действиям, поступкам названного лица.

Полный анализ функционирования форм числа должен включать также синтаксические (в том числе семантические) правила, относящиеся к построению структуры целого высказывания, анализ морфологической семантики не может быть точным, если не будут сняты все эффекты действия этих правил.

Итак, действительно в функционировании форм числа обнаруживается «конгломерат разных языковых функций» (ср. Кацнельсон 1972). Очевидно, однако, что между ними существует взаимосвязь, благодаря которой оказывается возможным осуществление принципа экономии в языке, использование одной формы для нескольких функций.

На противопоставление падежей также накладывается сложная сеть разных функций. Литература о структуре падежных значений огромна. Падежная проблематика специально обсуждалась на 4, 7, 8-м съездах славистов (см. материалы соответствующих съездов). В понимании падежных отношений мы будем следовать принципам, сформулированным и реализованным в работе: Булыгина 1961. Эту работу отличает внимание к иерархии функций падежей, последовательность в обобщении частных значений и употреблений. Отнюдь не претендуя на исчерпывающую систематизацию, напротив, прибегая к упрощению картины, попытаемся выделить разные слои в функционировании падежных форм. В основе падежных различий лежат актантные отношения имени к глаголу (отдельного рассмотрения требуют приименные связи и связи в предложении). Эти отношения усложняются в двух направлениях. В синтаксических трансформациях возникают вто-

ричные позиции для выражения актантов, прежде всего субъекта и объекта (ср. *строить дом — строительство дома, мы выбрали дорогу — дорога выбрана нами*). Сами актанты могут приобретать дополнительные семантические характеристики, в частности количественные: *съешь кашу — съешь каши* (см. специальную работу об этом типе осложнения падежных значений: Золотова 1970). В соотношении родительного партитивного и винительного падежей появляется и коммуникативная нагрузка падежа, обращенная к категории определенности/неопределенности. Существует попытка построить иерархию падежей, ориентируясь на коммуникативное членение высказывания, т. е. ориентируясь на признаки тема—рема (падежи делятся на темные и ремные, притемные, приремные, см. Мельников 1980).

Как кажется, в поисках оснований для сопоставления подсистем разговорной и книжной речи в области грамматической семантики, в области функционирования морфологических форм в первую очередь разумно остановиться на сравнениях в области однотипных значений. В падежной сфере, как и в других, разговорная речь характеризуется снятием ряда синтаксических нагрузок падежей, связанных с вторичными функциями их употребления. Известная ослабленность системы словосочетаний в РР связана с сокращением роли падежа для выражения синтаксической перспективы в именных группах. Однако несомненно повышается роль коммуникативных функций (см. ниже). Обогащение модальной сферы по-видимому приводит к большей дифференциации в сфере субъекта: в РР возникают особые средства для выражения модального субъекта — отличающегося от субъекта действия субъекта речи. Мы имеем в виду следующие формы обозначения «заинтересованного субъекта»: *Вы у м е н я плохо работаете//*; *Вы м н е не вмешивайтесь//*.

Сопоставление может вестись как на уровне отдельных категорий, так и на уровне целой области, сферы определенного типа значений. Целесообразность сравнения всей совокупности разных средств состоит в том, что обнаруживаются внутренние системные взаимосвязи в языке, вырисовываются функциональные комплексы средств. Самое различие двух подсистем русского литературного языка предстает не в виде ряда атомарных различий, но в форме системного обобщения.

Используя пока ограниченный материал, попытаемся наметить направления такого рода анализа.

Наиболее яркие отличия подсистемы разговорной речи от подсистемы книжной речи, относятся к области коммуникативных значений.

И. И. Ревзин, развивая идеи Р. Якобсона, Э. Бенвениста, В. Г. Адмони, А. М. Пешковского и др. сформулировал идею объединения в составе коммуникативной грамматики всех фактов, которые нельзя представлять как дотекстовые и внеситуативные,

которые «получают смысл только в коммуникативной ситуации, где одновременно присутствуют (а не возникают последовательно) и говорящий, и текст, и оформляющийся в нем смысл» (Ревзин 1972, 100). В коммуникативной грамматике, по И. И. Ревзину, рассматривались бы шифтеры (по Р. Якобсону), ориентированные актуализационные категории (по А. В. Бондарко), к ней принадлежат все средства выражения актуального членения высказывания и средства выражения категории определенности / неопределенности.

Несомненно, что подсистема РР обладает более развитой коммуникативной грамматикой, чем книжная. В синтаксисе РР имеется особая подсистема сегментированных конструкций с местоименным удвоением, обслуживающая актуальное членение высказывания. Отмечена продвинутость ряда употреблений местоимений к функции артикля (Гуревич 1968, Русская разговорная речь 1973, с. 286—287). Ср: *Есть у нас такой Иванов* (он известен говорящему, но неизвестен слушающему); *Положили настилки такие.* В этих фразах местоимение *такой* (ср. также употребление один) употребляется в функции, близкой по значению к неопределенному артиклю. Выше мы указывали на важность исследования в аспекте определенности/неопределенности функционирования в РР форм числа существительного. Но еще менее исследована коммуникативная нагрузка падежей, из которых в РР наиболее значимо своеобразное поведение им. падежа и характер противопоставления родительного—винительного.

Во многих исследованиях, посвященных падежным отношениям, специально подчеркивается, что регулярность противопоставления родительного и винительного падежей по признаку определенность/неопределенность свойственна именно разговорной речи (см. напр. работы З. Д. Поповой, работы диалектологов В. И. Собинниковой, А. М. Кузнецовой, А. А. Скребневой и др.). Категория определенности/неопределенности вступает в закономерные отношения с темо-рематическим членением высказывания. Поэтому отметим здесь наблюдения И. В. Толстого (1978), касающиеся распределения форм родительного/винительного падежей в отрицательных предложениях по отношению к позициям темы/ремы. Винительный падеж обнаруживает тяготение к позиции темы. Заслуживает внимания и употребление в теме форм множественного числа, в частности, в конструкциях с интонационно выделенным сегментом типа: *А р е з и н о в ы е // одна на человека? да?; Ну т а к и х в е д ь м // такую я видела одну Ольгу Кондратьевну //.*

Последовательность выбора форм числа в тексте может указывать на движение от неопределенности к определенности в широком смысле. Подчеркивание этого движения иногда отражает стратегию рассказчика. Кажется важным обратить внимание на взаимодействие разных грамматических категорий числа и па-

дежа, числа и рода. Во множественном числе сохранению неопределенности способствует употребление при обозначении лица слов мужского рода, не несущих указания на пол. Фраза *У меня гости* может быть расшифрована по-разному: 'много гостей, один гость, гости разного пола, гости женщины или мужчины только, один мужчина или одна женщина'. Это случай со «слабой неопределенностью» (Падучева 1979) предмета: он известен говорящему, но неизвестен слушающему. Эта фраза может быть продолжена: *У меня гости// Татьяна Ивановна приехала//*. В следующем примере первая ступень неопределенности выражена глаголом *С д а в а л и мне экзамен/ с т у д е н т - з а о ч н и к/ точнее с т у д е н т к а//*. В глаголе содержится лишь указание на неопределенное лицо. Однако, по-видимому, можно сказать, что в этом ряду смысловых раскрытий все же сохраняется, повторяется признак коммуникативной неопределенности предмета: ср. *одна студентка*.

К специфическим явлениям разговорной речи относится употребление именительного падежа в конструкциях с выделенной темой или ремой. Коммуникативная роль именительного падежа в РР несомненно усилена. Эта функция его по-видимому более значима и весома в системе падежных функций в целом. Можно говорить о специализации в РР средств выражения коммуникативной перспективы высказывания. Например, именно для разговорной речи характерны специфические темные предлоги *с, насчет, в смысле* (Золотова 1973), коммуникативной нагрузкой выражения темы обогащены употребления других предлогов, в частности предлога *у* (Никитина 1979). Речь идет о частотных построениях типа: *Но вот с о с ъ е м о ч н о й п л о щ а д к о й/ это неудачно// правда//;Н а с ч е т з а в т р а/ это мы договоримся//*.

Актуализация коммуникативного характера, касающаяся номинативных и предикативных единиц, не отграничена жесткой гранью от актуализации, которую мы соотнесли с логическим планом. Справедливо пишут, что уже само указание на количество предметов служит «актуализации виртуальных понятий» (ср. Кацнельсон 1972). Тем не менее такие характеристики, как референтность/нереферентность в обозначении предмета, в иных терминах «денотативная ориентированность», локализованность/нелокализованность действия во времени создают особый уровень семантики. Эта сторона в употреблении форм числа существительных и видовременных форм глаголов в РР требует особого внимания (некоторые наблюдения относительно форм времени см. в: Русская разговорная речь, 1982). Особенно важно изучение взаимодействия соответствующих именных и глагольных форм в высказывании (ср. Аспекты семантических исследований, гл. V, 1980).

В круг логических отношений входят также родо-видовые отношения, отношения генерализации—индивидуализации.

Можно заметить, что подсистема РР обладает большей регулярностью и специализацией средств, которые служат конкретному выделению дискретных элементов действия или дискретных предметов. В разговорной речи несравнимо более регулярны, чем в книжной речи, формы единичности в имени, формы однократности в глаголе. Речь идет об именах на *-ина*, глаголах на *-(а)ну*, к последним примыкают также глагольные формы типа *хлоп*.

Большая конкретность мышления находит также отражение в особых, отличных от книжных, формах выражения рода, класса предметов. Активен способ представления рода через вид в форме множественного числа. Первый тип: *Ешь о в о щ и - ф р у к т ы* (=витаминные продукты). Второй: *Ты что/в с я к и е а с п и р и н ы принимаешь?* (аспирин и тому подобные лекарства). Следует отметить, что этот тип наименования строится на принципе, который лежит в основе репрезентативного множественного: класс задается по одному или нескольким заметным или ситуативно данным его членам. Этот принцип «задавания» множества, очевидно, в большей степени отвечает условиям функционирования РР и поэтому заслуживает специального внимания. (Укажем здесь факт, отмеченный Н. П. Потаповой в речи жителей Перми. Встречается следующее соотношение формы подлежащего и сказуемого: *Таня ушли*, что означает 'Таня и ее родные, ее гости и т. п. ушли').

Вопрос об отношении языковых форм к денотату включает, с одной стороны, вопрос о структурировании действительности в языке, с другой, проблему соотнесения разных типов речевого употребления грамматических форм, за которыми закреплены некоторые денотативные соответствия, с реальным денотатом. В этой связи обратим внимание на нередкое появление в РР форм множественного числа под давлением определенного контекста, там, где нет денотативных оснований для ее выбора. Форма множественного числа появляется либо в некоторых формулах: *Все эти ф у т б о л ы - х о к к е и только отвлекают людей//; И уж лучше не надо никаких А ф р и к//* (в первом случае, видимо, давит рамка *все эти*, во втором усиленное отрицание с местоимением *никаких*), либо по правилам согласования форм числа и видовременных форм в высказывании. Например, несовершенный вид с кратным значением может коррелировать с формами множественного числа существительных, обозначающих актанты действия. Речь идет о случаях типа: *распивать чаи*, *кататься по заграницам*. Как показывают примеры, синтаксические правила действуют независимо от лексических ограничений на реализацию соответствующей формы, преодолевая их.

Другой тип расхождения употребления и денотативной значимости формы представлен в случаях транспозиций форм числа (см. ниже).

Отличия, отмеченные в области реализации значений, связаны, несомненно, с условиями существования разговорной речи, а также с повышенным удельным весом в ней определенных функций — контактной, эмотивной, со своеобразием воплощения референтной функции.

Заметим, что взаимодействие разных форм и значений, принадлежащих к одной языковой функции, имеет чрезвычайно важные следствия для соотношения разговорной и книжной подсистем языка. Например, область контакта и воздействия на собеседника включает звательный падеж, повелительное наклонение, связанные с ним значения инклюзивности, выражение иерархических отношений собеседников (*ты*, *вы*, фамильярность частицы *-ка*), разные формы смягчения или категоризации побуждения (ср. употребление разных видовых форм: *принеси—приноси*, форм с уменьшительными суффиксами). Исходя из определенной функции можно, видимо, объяснить некоторые факты нерегулярности форм, парадигматической ущербности. Известно, что у форм *кофейку*, *чайку* отсутствует параллельная форма на *-а*, уникальна форма *щец*. В этих формах значение неполной меры партитивного родительного естественно сочетается с особой функцией суф. *-к-* и *-ец-*. Основная, наиболее частотная функция этих форм — выражение ненавязчивого приглашения, предложения. Эта функция, характерная именно для разговорной речи, реализуется именно этим комплексом средств. Поэтому эти формы могут не иметь книжного коррелята с флексией *-а-*, непартитивной формы в РР.

Средством для выражения модальных прагматических значений служат в РР транспозиции морфологических форм. Е. Кржишкова уже обращала внимание на то, что транспозиции форм наиболее характерны для значений, непосредственно ориентированных на говорящего и акт речи (время, лицо, наклонение) (Кржишкова 1966), они объясняются заданностью этих значений в реальном общении. В этом смысле шифтерные типы значений сближаются с конкретно-денотативными (ср. число), которые по тем же причинам допускают переносы, служащие для вывода о дополнительном значении, вносимом говорящим.

В реальном коммуникативном акте остается место для субъективного своеволия со стороны говорящего в обозначении денотатов в количественном аспекте. Истинное положение может представляться неопределенным или трансформироваться. Это зависит, во-первых, от знаний говорящего и слушающего: говорящий может не знать или преднамеренно не указывать количества предметов. Во-вторых, в сознательное намерение говорящего может входить воздействие на слушающего, выражение оценки фактов через трансформацию истины действительности в словах о ней. В условиях разговорной речи есть возможности трансформаций, не разрушающих коммуникации. Дело в том, что ситуация речи

может однозначно задавать все сведения о предметах и говорящему, и слушающему. Предметы, о которых идет речь, могут быть хорошо известны или быть перед глазами. Это-то и облегчает транспозицию числовых форм (ср. Шелякин 1979). Транспозиция возможна, если она заметна для слушающего и он может открыть ее мотивировку. У слушающего остается одна задача: угадать цели говорящего, расшифровать мотивы замещения формы, денотативно оправданной, иной. Видимо, существуют некоторые частотные типы сдвигов, вызывающие стандартные осмысления.

Чрезвычайно интересный материал, касающийся гиперболического множественного, собран Д. И. Арбатским (см. Арбатский 1972) [1]. Он извлечен из художественной литературы, отразившей в известной мере типичные факты разговорной речи.

Среди них, например, известное множественное «несправедливого пристрастия». Пример: *Большая толпа ждет автобуса. Начинается трудная посадка. Появляется человек с рюкзаком. Сразу раздается недовольный голос: Там еще с р ю к з а к а м и.*

Регулярна окраска пренебрежения в случаях, когда один определенный предмет представляется как неопределенный, невычлененный из множества. Это модель: *всякие Иваныванчи.* Трансформация неопределенности происходит в определенной синтаксической формуле. Следует заметить, что иногда подобные трансформации регулярно происходят в устойчивых фразеологизованных конструкциях. В этом случае конструкции помогают слушателю однозначно понять скрытую модальность. Однако во множестве случаев слушающему приходится догадываться по ситуации.

Приведу два примера с индивидуальной окраской. Шутливая гиперболизация: *А я все с м о л о д ы м и л ю д ь м и/ с м о л о д ы м и л ю д ь м и* (речь идет о прогулке с пятилетним малышом); *А у меня г о с т и/ которые меня очень любят//* (речь идет о забредшем котенке).

Мы не касались здесь расхождений между разговорной и книжной подсистемами в области функционирования других типов грамматических значений. Упомянем здесь лишь глубинное раз-

---

[1] В статье обсуждаются также некоторые вопросы, касающиеся содержания категориального противопоставления форм числа. Автор, на наш взгляд, справедливо возражает против того, чтобы на основании случаев гиперболического множественного, т. е. транспонированного употребления форм числа, делался вывод о немаркированности множественного числа как члена числовой оппозиции. Действительно, подобные случаи нужно отделить, чтобы не исказить общую картину. Однако нельзя согласиться со всеми интерпретациями анализируемых примеров. На наш взгляд, не следует отождествлять со случаями гиперболизации примеры типа: *У меня гости.* Многие факты должны получить более точную интерпретацию, будучи проанализированы с точки зрения категории определенности—неопределенности.

личие, касающееся соотношения «содержательных» и «структурных» типов.

В подсистеме РР обнаруживается очевидное тяготение к содержательным типам. РР — «семантически ориентированная» подсистема (см. подробнее об этом: Красильникова 1982).

Из сказанного следует, какое значение имеет для описания русской разговорной речи решение следующих теоретических проблем.

1. Выяснение комплекса разных типов значений, «сопутствующих» категориальным формам, установление их иерархии на основе различения категориальных и некатегориальных значений.

2. Выяснение регулярных связей разных типов значений не только в пределах определенных форм, но и в языке вообще (симбиозов разных типов значений: логических и коммуникативных; денотативных и коммуникативных), а также регулярных корреляций между определенными семантическими транспозициями (например, типа гиперболизации, сдвига от одного к множеству, от актуального единичного к постоянному повторяющемуся) и определенными модальными и прагматическими наращениями смыслов.

3. Выяснение системы значений и средств, принадлежащих к одному типу значений (ср. сказанное о коммуникативной грамматике).

ЛИТЕРАТУРА

Арбатский Д. И. Множественное число гиперболическое. — РЯШ, 1972, № 5.

Арбатский Д. И. Множественное число существительных со значением разнородности предметов. — В кн.: Вопросы теории и методики изучения русского языка. Казань, 1971.

Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. М., 1976.

Аспекты семантических исследований. М., 1980.

Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955.

Бондарко А. В. Теория морфологических категорий. Л., 1976.

Бондарко А. В. Грамматическое значение и смысл. М., 1978.

Булыгина Т. В. Некоторые вопросы классификации частных падежных значений — Вопросы составления описательных грамматик. М., 1961.

Булыгина Т. В. Проблемы теории морфологических моделей. М., 1977.

Гуревич В. В. Есть ли артикль в русском языке? — Русская речь, 1968, № 3.

Зализняк А. А. Русское именное словоизменение. М., 1969.

Зализняк А. А., Падучева Е. В. О контекстной синонимии единственного и множественного числа существительных. — В кн.: Информационные вопросы семиотики, лингвистики и автоматического перевода, вып. 4, ВИНИТИ, М., 1974.

Золотова Г. А. К вопросу о типах падежных значений. — РЯНШ, 1970, № 4.

Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка, М., 1973.

Категория определенности/неопределенности в славянских и балтийских языках. М., 1979.

Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972.

Красильникова Е. В. О соотношении языковых уровней в системе русской разговорной речи. — Проблемы структурной лингвистики 1980. М., 1982.
Кржишкова Е. Первичные и вторичные функции и т. наз. транспозиции форм. — Travaux linguistique de Prague, 2. Prague, 1961.
Мельников Г. П. Природа падежных значений и классификация падежей. — В кн.: Исследования в области грамматики и типологии языков. Изд-во МГУ, 1980.
Никитина С. Е. О семантическом варьировании русских предлогов. — В кн.: Семантическое и формальное варьирование. М., 1979.
Падучева Е. В. Денотативный статус именной группы и его отражение в семантическом представлении предложения. — НТИ, сер. 2, 1979, № 9.
Ревзин И. И. О роли коммуникативного аспекта языка в современной лингвистике. — Вопросы философии, 1972, № 11.
Ревзин И. И. Так называемое немаркированное множественное число. — ВЯ, 1969, № 3.
Русская грамматика. М., 1980.
Русская разговорная речь. М., 1973.
Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. М., 1982.
Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1973.
Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1978.
Толстой И. В. Об одном грамматическом средстве выражения актуального членения высказывания — РЯЗР, 1978, № 3.
Томсон А. И. К синтаксису и семасиологии русского языка. Одесса, 1903.
Шелякин М. А. Ситуативность устной речи как фактор нейтрализации грамматических значений. — Семиотика устной речи. Лингвистическая семантика и семиотика II. Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, вып. 481. Тарту, 1979.
Яцкевич Л. Г. Об общем значении категории числа имен существительных в современном русском языке. — Праблемы мовы і літаратуры. Мінск, 1972.
Якобсон Р. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол. — В кн.: Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.

Л. Н. БУЛАТОВА

ЕЩЕ О ГРАММАТИЧЕСКОМ СТАТУСЕ КАТЕГОРИИ ЧИСЛА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Согласно господствующему в науке о русском языке мнению, число у существительных относится к словоизменительным категориям. Но есть и противоположная точка зрения (например, Дурново 1924, 142; Аванесов, Сидоров 1945, 70; Кузнецов 1961, 45; Янко-Триницкая 1959, 46—48 и 1962, 15—17). Она восходит к фортунатовскому учению о формах словоизменения и формах словообразования (Фортунатов 1956, 155—157).

Критерием разграничения форм словоизменения и форм словообразования для Фортунатова и его последователей служит, как

известно, характер формальных значений, образующих ту или иную категорию. Все формальные значения и соответственно выражающие их формы делятся ими на синтаксические и несинтаксические. Первые выражают различные отношения между словами в составе словосочетания и предложения при тождестве лексического значения слова. Поэтому они рассматриваются как формы одного слова, иначе говоря, формы словоизменения. Вторые не выражают отношений между словами, а видоизменяют лексическое значение слова, присоединяя к нему дополнительные значения. И поскольку они видоизменяют лексическое значение слова, они рассматриваются представителями этого направления как формы разных слов, т. е. как формы словообразования.

Формы числа существительных — это несинтаксические формы, и на этом основании указанные ученые относят их к формам словообразования.

Рассматривая числовую пару существительных как разные слова, последователи Фортунатова не исключают изучение форм числа из сферы морфологии. По-иному лишь определяется их место в морфологической системе. Так, В. Н. Сидоров пишет: «. . .у имен существительных формы рода и числа, поскольку они не выражают отношений между словами, являются формами словообразования, но от этих форм зависят синтаксические формы рода и числа (т. е. формы словоизменения) прилагательных, которые определяя в предложении существительное, согласуются с ним в роде и числе» (Аванесов, Сидоров 1945, 71).

Таким образом, В. Н. Сидоров и его единомышленники рассматривают число существительных как категорию того же типа, что и род (классифицирующую, а не словоизменительную, по современной терминологии), считая, что по признаку числа, как и по признаку рода [1], существительные делятся на согласовательные классы (хотя сам этот термин был введен позже А. А. Зализняком).

Такая трактовка категории числа существительных не только не получила широкого распространения в русистике, но с ней решительно не соглашаются и некоторые представители той же Московской школы, в недрах которой она возникла. Так, А. А. Реформатский и М. В. Панов, продолжающие в своих грамматических работах направление Ф. Ф. Фортунатова, отвергают его критерий определения морфологических границ слова и вытекающий из него взгляд на число существительных (Реформатский 1960, 398—399; Панов 1966).

Неудовлетворенность многих ученых фортунатовским критерием объясняется (по крайней мере, отчасти) иным, чем у его сторонников, пониманием синтаксических форм. Эти ученые счи-

[1] Здесь следовало бы еще добавить одушевленность и неодушевленность (Дурново 1922, 65; Зализняк 1964).

тают синтаксическими только те формы, которые выражают связь согласования или управления (Реформатский 1960 и др.). При таком понимании синтаксических форм использование фортунатовского критерия определения морфологических границ слова, естественно, представляется нецелесообразным, потому что к словообразованию в таком случае пришлось бы отнести формы времени и наклонения, что явно нелепо, так как эти формы ощутимо отличаются от несомненных форм словообразования и имеют много общего с теми формами, которые единодушно рассматриваются всеми учеными как формы словоизменения (например, с формами падежа): прежде всего тут следует указать на тождественность лексического значения этих форм.

Сторонники фортунатовского критерия, так же как и сам Фортунатов, понимая синтаксические формы более широко, относят формы времени и наклонения глагола к словоизменению. С точки зрения ученых, более узко понимающих синтаксические формы, в данном случае происходит неоправданное объединение разнородных форм (Русский язык и советское общество. Морфология и синтаксис 1968, 16). Таким образом, фортунатовское деление форм на словоизменительные и словообразовательные, по мнению этих ученых, само содержит предпосылки для пересмотра выдвинутого им критерия (Бондарко 1974, 3 и 1976, 111).

Между тем есть внутренняя логика в том, что при разграничении форм словоизменения и форм словообразования Фортунатов и такие его последователи, как В. Н. Сидоров, Н. Н. Дурново, П. С. Кузнецов и другие, во-первых, противопоставляют синтаксические формы несинтаксическим и, во-вторых, относят к синтаксическим не только те формы, которыми выражается зависимость слов в предложении, но и формы сказуемости. Это логика функционального подхода, которая подробно и убедительно раскрыта П. С. Кузнецовым (Кузнецов 1961, 42—53).

Ход его рассуждений вкратце таков. Формы словоизменения определяют функционирование слов в связной речи, а формы словообразования передают различия в предметах действительности или мысли. Это самое существенное разграничение форм с функциональной точки зрения, из которого вытекает и отождествление форм словоизменения с синтаксическими формами слова и объем самого понятия синтаксических форм. Например, формы времени и наклонения при всем их отличии от форм падежа или форм рода и числа согласуемых слов закономерно относятся к синтаксическим формам и, следовательно, являются формами одного слова, потому что они, как справедливо отмечает П. С. Кузнецов, не просто указывают на отношение действия к моменту речи или к действительности, а указывают на отношение к моменту речи или к действительности той связи, которую говорящий устанавливает между подлежащим и сказуемым. Вне предложения эти формы не имеют смысла.

Не надо, однако, думать, что признание фортунатовского критерия разграничения форм словоизменения и форм словообразования является единственным условием интерпретации категории числа существительных как классифицирующей, а не словоизменительной. Ниже я постараюсь показать, что и другие критерии, используемые учеными для разграничения форм одного слова и форм разных слов (см. Янко-Трлницкая 1959; Бондарко 1974; Панов 1979, 15—23), свидетельствуют с большей или меньшей определенностью в пользу признания категории числа классифицирующей категорией и во всяком случае ни один из них не дает несомненных доказательств правомерности противоположной точки зрения.

Начнем с рассмотрения регулярности форм числа существительных. Ее оценка в значительной мере зависит от того, как интерпретируются pluralia tantum, поскольку отсутствие числовой пары у singularia tantum, по мнению большинства исследователей, определяется отсутствием потребности в форме множественного числа у существительных, обозначающих несчитаемые предметы: существительных с вещественным, собирательным и отвлеченным значением (*молоко*, *молодежь*, *зрение* и т. п.). Если же появляется необходимость передать значение, которое свойственно только форме множественного числа, эта форма, как правило, легко образуется. Например, существительные *однозначность* и *неоднозначность* были недавно известны только в единственном числе. Но возникла потребность говорить о «разных неоднозначностях» (Булыгина 1977, 159), и стала употребляться форма множественного числа, которая воспринимается нами как грамматически правильная. Подобные образования продуктивны в профессиональных языках, откуда они переходят в литературный язык. Ср. также окказионализмы типа *язвительности*: *Опять язвительности. Жалкие, бессильные* (Ю. Трифонов. Старик).

Что касается pluralia tantum, то если стать на точку зрения А. А. Зализняка, что такие слова, как *сани*, *ножницы*, *щипцы* и т. п. имеют омонимичные формы числа (Зализняк 1964 и 1967, 57—60), то и так называемые pluralia tantum не будут нарушать картины регулярности форм числа.

Однако такая трактовка pluralia tantum не кажется мне убедительной. Она потребовала от А. А. Зализняка выделения особого согласовательного класса, для которого выбор согласуемого слова не зависит от формы числа существительного (ср. *Первые сани остановились у сельсовета* и *Все сани остановились у сельсовета*) [2]. Но такое решение представляется искусственным, потому

[2] Pluralia tantum, обозначающие несчитаемые предметы (*сливки*, *финансы*, *хлопоты* и т. п.), А. А. Зализняк относит к этому же согласовательному классу, но в отличие от существительных типа *сани* они имеют только форму единственного числа, как и относящиеся к другим согласовательным классам singularia tantum (*мед*, *мошкара*, *мытье*).

что оно, как уже отмечалось в литературе (Булыгина 1977, 192), плохо гармонирует с другими проявлениями русского согласования, когда омонимия форм числа существительных не препятствует согласованию в формах числа (ср. *На ветке сидел нарядный колибри* и *На ветках сидели нарядные колибри*; *Он пошел в свое бюро* и *Служащие разошлись по своим бюро* и т. п.). Эти противоречия устраняются, если формы единственного и множественного числа рассматриваются как разные согласовательные классы существительных.

При таком подходе pluralia tantum всегда рассматриваются как существительные множественного числа (независимо от того, обозначают ли они в конкретном контексте один предмет или более) в отличие от существительных типа *бюро*, *колибри*, которые принадлежат к разным согласовательным классам в зависимости от числа предметов, которые обозначаются ими в том или ином случае [3].

Не противоречит ли, однако, трактовке pluralia tantum как существительных только множественного числа их сочетаемость со словами, с которыми формы множественного числа обычно не сочетаются (*один*, *каждый*)? Например, можно сказать *каждые сани*, но нельзя сказать *каждые велосипеды*, а только *каждый велосипед* [4].

Думается, что противоречия здесь нет, потому что ограничение сочетаемости в подобных случаях определяется лексическими значениями существительных, а не грамматической формой числа, связь которой с реальным числом предметов не однозначна.

Подтверждение этой мысли я вижу в том, что с собирательными существительными и некоторыми другими существительными, имеющими только форму единственного числа, могут сочетаться такие слова, которые при наличии числовой пары сочетаются с формами множественного, а не единственного числа. Так, мы говорим *разная мебель*, *всевозможная одежда*, в то время как нельзя сказать *разный диван*, *всевозможная кофта*, а только *разные диваны*, *всевозможные кофты*. Ср. также возможность сочетания *разный стол*, если речь идет о меню, и невозможность такого сочетания, если речь идет о виде мебели.

Итак, если считать, что pluralia tantum всегда являются формами множественного числа, то регулярность форм числа у существительных приходится признать относительной.

Следует подчеркнуть, что, хотя формы, бесспорно относящиеся к словоизменению, также могут отсутствовать у части лексем,

---

[3] Место существительных типа *бюро* в системе форм числа аналогично месту существительных общего рода (к которым относятся и местоимения *я* и *ты*) в системе форм рода.

[4] Способность объяснить именно такие факты рассматривается некоторыми исследователями как преимущество трактовки pluralia tantum, предложенной А. А. Зализняком (Булыгина 1977, 193).

это явление совершенно иного порядка, чем отмеченная выше нерегулярность в образовании форм числа. В словоизменении мы сталкиваемся с двумя различными видами отсутствия некоторых форм у известных лексем. Это прежде всего семантически мотивированное отсутствие каких-то форм (например, отсутствие всех личных форм, кроме 3 *л.* ед. ч. у безличных глаголов). При этом, если семантика слова исключает необходимость в противопоставлении форм определенной категории, то из всех форм, образующих данную категорию, употребляется только одна (и всегда одна и та же) форма. Например, безличные глаголы в прошедшем времени не изменяются по числам и родам, но всегда употребляются в форме единственного числа, среднего рода.

Иначе обстоит дело с формами числа существительных. Здесь мы сталкиваемся и с семантически немотивированным отсутствием числовой пары у существительных, обозначающих считаемые предметы (ср. pluralia tantum *часы*, *очки*, *сутки* и семантически близкие им существительные *будильник*, *пенсне*, *неделя*, имеющие формы единственного и множественного числа). А в тех случаях, когда отсутствие числовой пары семантически мотивировано, немотивированным с семантической точки зрения является сам выбор числовой формы (ср. *сливки*, но *сметана*; *горелки*, но *лапта*; *шахматы*, но *домино*).

Не будучи мотивирован семантически, выбор формы числа при отсутствии числового противопоставления бывает мотивирован (синхронно или только диахронически) словообразовательной моделью слова, например: *опилки*, *сливки*, *посадки* (ср. Соболева 1979, 79—83). Это тоже свидетельствует о том, что формы числа существительных, подобно формам рода, относятся к словообразованию, а не к словоизменению.

Известно, что помимо семантически мотивированного отсутствия известных форм, в парадигмах отдельных слов встречается немотивированное, случайное отсутствие каких-то форм, например, отсутствие форм 1 *л.* ед. ч. у глаголов *победить* или формы род. п. у существительного *мечты*. Но и это (не говоря уже о единичности подобных фактов) явление иного порядка, чем отсутствие форм единственного числа у слов, обозначающих считаемые предметы (*сани* и т. п.). В парадигмах глагола *победить* и существительного *мечты* есть «провалы» — «пустые клетки». Мы даже знаем, как их заполнять, но употреблять словоформы, которые должны находиться в этих клетках, не принято, и мы вынуждены обходить провалы: *одержу победу* вм. *побежу*, *мечтаний* вм. *мечт*. Никаких провалов в парадигме у pluralia tantum нет.

До сих пор речь шла о регулярности самого наличия форм числа у существительных независимо от соотносительности их лексических значений. Если же анализировать систему лексических значений каждого существительного, то обнаруживается, что многие существительные имеют соотносительные формы числа

только для части значений. Например, *записка — записки* в значении короткого письма, но только *записки* в значении произведения мемуарного жанра или *сбор — сборы* (отряда, дружины), но только *сбор* (ягод) и только *сборы* (приготовления перед отправлением в путь). Ср. также значения слов *заботы* 'хлопоты' (*весь день в заботах*), *круги* 'группы людей, объединенных общими занятиями' (*литературные круги*), жаргонное *колеса* в значении 'автомобиль', связанные только с формами множественного числа. *Лицо — ли́ца* употребляются в значении части головы и в значении индивидуума, но только *лицо* в значении 'то, что противоположно изнанке', и в значении 'индивидуальный облик' (*у него есть свое лицо*). Встречается также и полное расхождение в лексическом значении форм числа (*низ дома* и *городские низы*, или *верх дома — верхи общества*). Почти так же обстоит дело со значениями *вода — воды*. Из девяти значений, которые приводятся в статье «вода» Ушаковского словаря, четыре относятся только к единственному и четыре — только ко множественному числу.

Различия в системе значений единственного и множественного числа существительных — это не единичные факты. Ряд исследований показывают, что они характерны для широких слоев лексики (Например, Арбатский 1964; Сумкина 1964; Чельцова 1976; Соболева 1979).

Таким образом, если учитывать семантическую сторону, то станет еще очевиднее, насколько регулярность форм числа существительных ниже, чем регулярность бесспорных форм словоизменения [5].

Есть, однако, и другое понимание критерия регулярности форм, согласно которому формы числа существительных такой регулярностью обладают. Так, П. А. Соболева пишет: «Для того чтобы формы вида и числа можно было отнести к формам одного и того же слова... существенно понятие регулярности этих форм. Регулярность форм числа заключается в том, что вне форм и значений числа нет имени» (Соболева 1979, 56). Вряд ли стоит говорить здесь об имени вообще, так как категория числа у существительных и прилагательных имеет различный характер. Что ка-

[5] Некоторые ученые считают достаточным для отнесения к одному слову тех форм числа, которые коррелятивны хотя бы по одному из лексических значений (Бондарко 1976) или даже не имеют ни одного общего значения, но их значения находятся в пределах допустимой полисемии (Соболева 1979). Думается, напротив, что любые расхождения в лексической семантике форм числа (появились ли они в акте деривации или в результате развития полисемии у одной из форм) только потому и возможны, что эти формы принадлежат к разным словам. Лексикализация отдельных форм слова (сдвиги в их значении по сравнению с остальными формами) всегда сопровождается не только отрывом этих форм от данного слова, но и их переходом в другой грамматический класс (субстантивация прилагательных, адъективация причастий, адвербиализация предложно-падежных сочетаний и т. п.), чего при лексикализации форм числа мы не наблюдаем.

сается существительных, то обязательность форм числа у этой части речи свидетельствует лишь о том, что число существительных — грамматическая категория, однако не решает вопроса о ее словоизменительном характере. Ведь и формы рода обязательны по крайней мере для существительных единственного числа, а между тем соотносительные по значению формы рода не рассматриваются как формы одного слова.

Семантические отношения между формами числа тесно связаны с лексическим значением существительного. Ср. а) *книга — книги*, *столб — столбы*, *решето — решета* и т. п.; б) *вино — вина*, *масло — масла*, *соль — соли* и т. п.; в) *снег — снега*, *песок — пески* и т. п.; г) *вставание — вставания*, *приставание — приставания* и т. п.; д) *посадка — посадки* и т. п.

Некоторые исследователи считают, что формы числа являются формами одного слова лишь в том случае, если они различаются только значением числа. Во всех остальных случаях это разные слова. Согласно этой точке зрения, такие пары, как *книга — книги*, *столб — столбы* — это формы одного слова, а *вино — вина*, *снег — снега* — разные слова (Булыгина 1977, 193). Другие, иначе проводя грань между словоизменительными и словообразовательными формами числа существительных, также признают эту категорию смешанной (Соболева 1979).

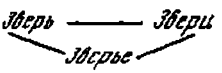
Если согласиться с такой точкой зрения, то придется признать, что одними и теми же средствами в пределах однородных по своим грамматическим свойствам форм выражаются то словоизменительные, то словообразовательные отношения, чего мы не наблюдаем в сфере тех категорий, словоизменительный или словообразовательный характер которых не вызывает сомнений [6]. Думаю, что следует согласиться с Н. А. Янко-Триницкой, которая утверждает, что «в ряду однотипных регулярных образований не может быть так, чтобы одни относились к формам словоизменения, а другие — к формам словообразования» (Янко-Триницкая 1959, 44).

Кроме того, квалифицируя отношения между парами *книга — книги*, *окно — окна* как словоизменительные, а отношения между парами *вино—вина*, *снег — снега* как словообразовательные, мы должны будем принять, что в последнем случае от слов с непоч-

[6] Как уже отмечалось (Янко-Триницкая, 1959, 44—45), материальное совпадение словообразовательных и словоизменительных аффиксов возможно (ср. суффикс притяжательных прилагательных *-ов-* (*отцов*, *братов*) и окончание формы родительного падежа множественного числа существительных (*отцов*, *домов*) или суффикс наречий *-ом* (*летом и зимой*, *верхом*, *скопом*) и окончание тв. падежа существительных (*этим летом*, *домом*, *левым боком*), но в этих случаях нельзя говорить об одинаковом выражении словообразовательных и словоизменительных отношений, так как омонимичные аффиксы принадлежат разнотипным в грамматическом отношении формам, относящимся к разным частям речи.

ной парадигмой образуются другие слова с неполной парадигмой, причем формы первой и второй находятся в дополнительном распределении друг к другу. Не будет ли картина более естественной, если считать, что и такие пары, как *книга — книги*, *окно — окна*, и такие, как *вино — вина*, *снег — снега*, связаны между собой отношениями словообразования, причем производное существительное относится к иному согласовательному классу, чем производящее, так же как это имеет место в соотносительных формах рода (ср. *раб — раба*, *супруг — супруга*, *студент — студентка*)? [7]

В пользу того, что коррелятивные формы числа представляют собой разные слова, а не формы одного слова, свидетельствуют также отношения между ними и собирательными существительными. Как справедливо отмечал А. А. Реформатский (Реформатский 1960, 394), собирательные есть тогда, когда есть треугольник типа:



Сравним между собой значения форм, образующих этот треугольник. *Зверьё* в отличие от *зверь* обозначает (как и *звери*) множество предметов, но в отличие от *звери* — нерасчлененное множество, т. е. множество, понимаемое как единство, совокупность. Следовательно, собирательное *зверьё*, которое представляет собой иное слово, чем *зверь* или *звери* связано с формой *зверь* другими семантическими отношениями (противопоставление по признаку множественность — единичность), чем с формой *звери* (противопоставление по признаку единство — расчлененность), что было бы невозможно, если бы *зверь* и *звери* являлись бы формами одного слова, так как словообразовательное значение производного слова представляет собой определенное отношение к значению производящего слова, а не отдельных его форм.

Остается еще бодуэновский критерий разграничения форм словоизменения и словообразования: при словообразовании одна форма выводится из другой, а при словоизменении ни одна форма не может быть выведена из другой. В отношении форм числа существительных даже те лингвисты, которые относят эти формы к словоизменению, признают выводимость одной формы числа из другой (Бондарко 1974 и 1976). Формы множественного числа большей частью семантически выводимы из форм единственного числа (*книги* 'более одной книги', *вина* 'разные сорта вина', *снега* 'большие пространства, покрытые снегом', *приставания* 'многократное приставание'). Иногда это отражается и в струк-

[7] В других случаях (например, *посадка — посадки*) оба слова могут рассматриваться как параллельные образования от одной или разных производящих (Соболева, 1979). Их также естественно рассматривать как разные слова.

туре основы (ср. *лист — листья*, *стул — стулья*, *друг — друзья*, *полено — поленья* и т. п.; *кум — кумовья*, *сын — сыновья*). В некоторых случаях направление мотивации трудно определить (ср. *армянин* и *армяне* и т. п.), но затруднения и разногласия в определении направления мотивации возникают и в области бесспорного словообразования (Земская 1973, 69; Лихтман 1973; Улуханов 1977, 22—34).

Таким образом, если сравнить выводы, к которым пришли исследователи, использовавшие фортунатовский критерий, с показателями, которые получены при помощи других критериев, то обнаруживается в некоторых случаях совпадение результатов, в других — если не безусловное совпадение, то во всяком случае отсутствие явного противоречия.

Думаю, что это не случайно. Близкие результаты дает применение различных критериев разграничения форм словоизменения и форм словообразования и в других спорных случаях.

Так, Н. С. Авилова, анализируя связь между видом и лексическим значением глагола, пришла к тому же взгляду на отношение вида к словоизменению (глаголы, образующие видовую пару — это разные слова), который у других ученых определялся фортунатовским подходом к разграничению форм словоизменения и словообразования (Авилова 1976). Рассмотрение семантики сравнительной формы прилагательных в ее отношении к прилагательным—антонимам (*трезвый—пьяный—трезвее*, т. е. 'менее пьяный') привело А. Б. Пеньковского к выводу, что так называемые положительная и сравнительная степени прилагательных (например, *трезвый — трезвее*) — разные слова, а не формы одного слова (Пеньковский 1977). Такой же точки зрения придерживался В. Н. Сидоров, исходивший из фортунатовского учения.

Из этого можно сделать вывод, что в фортунатовском подходе к определению морфологических границ слова учтены такие существенные различия словоизменения и словообразования, с которыми закономерно сочетаются (более или менее последовательно) и различия по другим признакам, также используемым в качестве критериев определения морфологических границ слова. Но в отличие от фортунатовского критерия, который позволяет четко разграничить формы словоизменения и формы словообразования, некоторые другие критерии (коррелятивность, регулярность) оставляют известную зону неопределенности.

ЛИТЕРАТУРА

Аванесов Р. И., Сидоров В. Н. Очерк грамматики русского литературного языка. М., Учпедгиз, 1945.

Авилова Н. С. Вид глагола и семантика глагольного слова. М., Наука, 1976.

Арбатский Д. И. Значение форм множественного числа имен существительных в современном русском литературном языке. Канд. дис. М., 1964.

Бондарко А. В. Формообразование, словоизменение и классификация морфологических категорий. — ВЯ, 1974, № 2.
Бондарко А. В. Теория морфологических категорий. Л., Наука, 1976.
Булыгина Т. В. Проблемы теории морфологических моделей. М., Наука, 1977.
Дурново Н. Н. Грамматический словарь М.—Пг., 1924.
Дурново Н. Н. Повторительный курс грамматики русского языка. Вып. I. М., 1924.
Зализняк А. А. К вопросу о грамматических категориях рода и одушевленности в современном русском языке. — ВЯ, 1964, № 4.
Зализняк А. А. Русское именное словоизменение. М., Наука, 1967.
Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование. М., Просвещение, 1973.
Кузнецов П. С. О принципах изучения грамматики. М., изд-во МГУ, 1961.
Литтман Р. И. К вопросу об основных понятиях словообразования. — Изв. ОЛЯ, 1973, № 2.
Панов М. В. Русский язык. — В кн.: Индоевропейские языки. Под ред. В. В. Виноградова, т. I. М., 1966.
Панов М. В. Изучение состава слова в национальной школе. Махачкала, Дагучпедгиз, 1979.
Пеньковский А. Б. Об особенностях значения и употребления форм сравнительной степени в русском языке. — В кн.: Семасиология и грамматика. Тамбов, 1977.
Реформатский А. А. Число и грамматика. — В кн.: Вопросы грамматики (сб. статей к 75-летию акад. И. И. Мещанинова). М.—Л., 1960.
Русский язык и советское общество. Морфология и синтаксис современного русского литературного языка. Под ред. М. В. Панова. М., Наука, 1968.
Соболева П. А. Лексикализация множественного числа и словообразование. — В кн.: Лингвистика и поэтика. М., Наука, 1979.
Сумкина А. П. Деривационные корреляции существительных в формах множественного числа. — В кн.: Развитие грамматики и лексики современного русского языка. М., Наука, 1964.
Улуханов И. С. Словообразовательная семантика в русском языке. М., Наука, 1977.
Фортунатов Ф. Ф. Избранные труды, т. I. М., 1956.
Чельцова Л. К. Форма множественного числа существительных как объект лексикографии. Канд. дис. М., 1976.
Янко-Триницкая Н. А. Морфологические границы форм одного слова. — В кн.: Грамматика современного русского языка. М., 1959.
Янко-Триницкая Н. А. Возвратные глаголы. М., 1962.

А. К. ПОЛИВАНОВА

ВЫБОР ЧИСЛОВЫХ ФОРМ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Общепринятое представление о числе как семантически мотивированной грамматической категории покоится на предположении, что противопоставлению граммем «ед. ч.» ~ «мн. ч.» отвечает противопоставление их естественно-семантических аналогов («единичность», '|' и «множественность», 'W'). При этом предполагается, что каждое будущее существительное уже в смысловом

задании сопровождается либо элементом '|', либо элементом 'W'; соответственно и выбор грамматического оформления мыслится регулируемым естественно-семантическим правилом вида:

(1) «ед. ч.», если в смысловом задании '|'
«мн. ч.», если в смысловом задании 'W' [1]

С этим правилом безупречно согласуются такие употребления как:

2) *Это ее брат*^{Sg} — *ботаник*^{Sg} ~ (2') *Это ее братья*^{Pl} — *ботаники*^{Pl}

(3) *Наша кошка*^{Sg} *не ест мяса* ~ (3') *Наши кошки*^{Pl} *не едят мяса*.

Общепризнанное исключение составляют существительные дефектные по числу (так называемые singularia и pluralia tantum; далее Sgt и Plt), для которых числовое оформление определяется словарно, правилом вида:

(4) «ед. ч.», если существительное Sgt
«мн. ч.», если существительное Plt

Легко видеть, что числовое оформление дефектных существительных никак не может быть объяснено ссылкой на естественное правило вида (1). Ср.:

(5) *Привезли свежее молоко*^{Sg} ~ (5'), *Привезли свежие сливки*^{Pl}

(6) *Нет ли у тебя красной туши*^{Sg}? ~ (6'), *Нет ли у тебя красных чернил*^{Pl}?

Из этого обычно делается вывод, что дефектные существительные лежат вне основной логики числовой категории, которая продолжает мыслиться сводимой к естественно-семантическому противопоставлению «единичности» и «множественности» ('|' ~ 'W').

Тем самым традиционное представление о сущности категории числа вопрос о правилах выбора числовых граммем отменяет в самой его постановке: в его основе лежит убеждение (явно, впрочем, обычно не высказываемое), что числовое поведение «нормальных» (не дефектных) существительных регулируется естественно-семантическим правилом во всех их употреблениях или по крайней мере во всех основных случаях, составляющих статистическое большинство.

Вот это-то последнее положение и оказывается в резком противоречии с наблюдаемыми данными. Соответствующие примеры хорошо известны: они неоднократно разбирались в лингвистических сочинениях, более того, некоторые из них приводятся и в грамматиках, следующих указанной схеме описания, как своеобразные «особенности», «тонкости» функционирования

[1] Имеет ли место '|' или 'W', говорящий определяет, руководствуясь здравым смыслом в соответствии с внеязыковыми данными и своим коммуникативным намерением в общем так же, как в случае собственно-лексических единиц; поэтому правило (1) не является грамматическим в узком смысле слова.

числовой категории. В действительности же естественно-семантический принцип распределения определяет выбор грамматического числа не более чем в 50% употреблений.

Дело в том, что большинство употреблений существительных оказывается лежащим вне сферы действия естественно-семантического правила. Так же как в примерах (5), (6) нелепо задаваться вопросом, «единичность» или «множественность» сопровождает существительные *молоко*, *сливки*, *тушь*, *чернила*, так же нелепо задаваться этим вопросом в применении к «нормальным» существительным, как *редиска*, *помидор*, *гвоздика*, *розы*:

(7) *Привезли свежую редиску*^{Sg} ~ *свежие помидоры*^{Pl}

(8) *На рынке продают красную гвоздику*^{Sg} ~ *красные розы*^{Pl}

Следует, по-видимому, признать, что в употреблениях типа (4), (5), (7), (8) противопоставлению граммем «ед. ч.» ~ «мн. ч.» не отвечает противопоставление сущностей '|' ~ 'W'.

Экскурс о логическом устройстве правил выбора грамматических характеристик. Задача обнаружения правил выбора грамматических характеристик (граммем) обычно даже и не выдвигается, подменяясь в лучшем случае задачей обнаружения контекстных «значений» граммем [2]. Отождествление этих двух задач (первой — обращенной на синтез текста, и второй — обращенной на анализ) свидетельствует о том, что из двухальтернативных гипотез о возможном устройстве самих грамматических категорий принимается без всякого обоснования только одна. Рассмотрим эти две гипотезы подробно, сперва уточнив самое понятие грамматической категории.

Мы будем исходить из того, что грамматическая категория создается оппозицией граммем. У каждой граммемы есть (*i*) н а з в а н и е (или имя); (*ii*) о ф о р м л е н и е и (*iii*) «з н а ч е н и е». При этом оформлением данной граммемы являются не морфы или какие-то иные материальные сущности, а правила манифестации, лишь в предельно элементарных случаях сводимые к указанию на один определенный морф. Аналогичным образом «значением» данной граммемы являются в общем случае не какие-то субстанциональные сущности, а правила, лишь в предельно элементарных случаях сводимые к указанию на одну определенную семантическую сущность (сему).

Для случая грамматической категории с действительно элементарными правилами противопоставление может быть схематически изображено на рис. 1. В общем случае противопоставление, создаваемое грамматической категорией с граммемами «A» и «B», имеет вид, как на рис. 2. При этом f_i чаще всего интерпретируются как сегментные сущности-морфы, хотя и здесь еще часто возникают осложнения. Что же касается σ_i, то здесь необходимо различать разные типы грамматических категорий, а точнее граммем. В случае так называемых семантически-наполненных категорий (т. е. категорий, имеющих среди своих граммем граммемы семантически-наполненные) некоторые σ_i интерпретируются как семы; в случае формально-согласовательных категорий, таких, как падеж, в роли σ_i выступают «отдельные» правила согласова-

[2] Ср., в этой связи, высказывание, которое мы находим в статье А. А. Зализняка и Е. В. Падучевой: «Тем самым для категории числа имеет место та же трудность, которая хорошо известна, например, по отношению к категории падежа, — трудность выявления такого значения каждой из категориальных форм числа, которое отражало бы все контексты ее употребления» (Зализняк, Падучева, 1974).

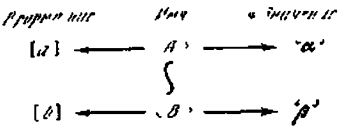


Рис. 1

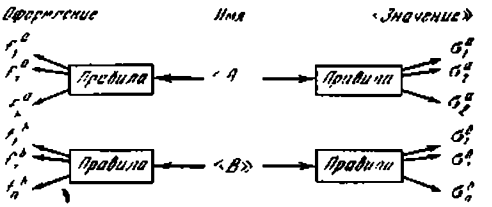


Рис. 2

ния, отдельные «причины», способные вызывать в тексте появление граммемы «А» (для σ_i^a) или «В» (для σ_i^b) [3].

Хотя понятие оппозиции принято в лингвистике употреблять без уточнения, целесообразно выделить два следующих необходимых условия. Это, во-первых, условие обязательности (см. Зализняк 1967), или в с ю д у о п р е д е л е н н о с т и, состоящее в требовании, чтобы для каждого объекта m из M, на котором определена данная оппозиция $\alpha \sim \beta$, было известно, какой член оппозиции отвечает данному m. И, во-вторых, условие в з а и м о и с к л ю ч и т е л ь н о с т и, или ф у н к ц и о н а л ь н о с т и (ср. однородность, по А. А. Зализняку, Зализняк, 1967), состоящее в требовании, чтобы одному данному объекту m из M отвечало не более одного члена оппозиции $\alpha \sim \beta$ (α — и тогда не β или β — и тогда не α) [4].

Интересующее нас различие представлений о возможном устройстве грамматических категорий касается гипотезы о реализации грамматического противопоставления в тексте. Представим себе простейшее грамматическое представление текста, где каждая словоформа представлена своей исходной формой, которой приписана ее грамматическая характеристика. Компонентами грамматической характеристики являются названия граммем. Так, предложению *Идет сильный дождь* сопоставляется запись вида:

$$\text{ИДТИ}_{\text{несов, 3л, ед.ч.}} + \text{СИЛЬНЫЙ}_{\text{м., им, ед ч.}} + \text{ДОЖДЬ}_{\text{м, ед ч.}}$$

Каждому названию граммемы отвечают, с одной стороны, f_{ij}, с другой стороны — σ_i.

В соответствии с рис. 2, рассматриваемую ситуацию в общем виде можно изобразить, как на рис. 3.

На рис. 3 ГП — это грамматическое представление текста, ФП — фонетическое, а СП — семантическое представление, изображающее «исходное смысловое задание» (в ситуации синтеза текста). Нас будет интересовать, что отвечает символам A и B, входящим в грамматическое представление, в смысловом задании. Вот здесь-то и возможны две альтернативные гипотезы. В соответствии с первой (лежащей в основе традиционного представления о функционировании числовой категории в русском языке) каждому вхождению символа A в грамматическое представление отвечает один из символов 'α_i', а каждому вхождению символа B — один из символов 'β_i' где 'α_1', 'α_2', . . ., 'α_k' — это разные «контекстные значения» граммемы A. Эта гипотеза — называем ее в дальнейшем а н а л и т и ч е с к о й — соответствует субстанциональному осмыслению σ_i из рис. 1—2. Таким образом, предполагается, что имеет место ситуация (рис. 4).

---

[3] Эта проблематика блестяще разобрана в статье Е. Куриловича (Куриловичъ, 1949).

[4] Заметим, что не только данные два условия, но даже и расширение условий, включающее требование морфологической регулярности (т. е. стандартности оформления) и словоизменительности (см. у А. А. Зализняка) не задают границы между собственно грамматическими и иными (например, словообразовательными) морфологическими оппозициями.

Альтернативной является гипотеза, в соответствии с которой лишь некоторым вхождениям символов A и B в грамматическое представление отвечают вхождения символов из числа α_i и β_i в семантико-синтаксических представлениях, тогда как некоторым вхождениям названий граммем в грам-

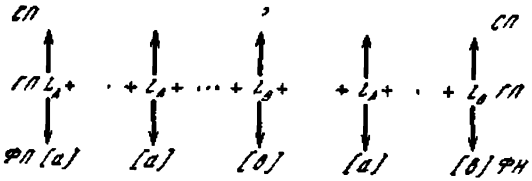


Рис. 3

матическое представление на семантическом уровне ничто не отвечает; второй гипотезе соответствует рис. 5.

В соответствии с аналитической гипотезой условие обязательности (всюдуопределенности) определяет грамматическую оппозицию как на грам-

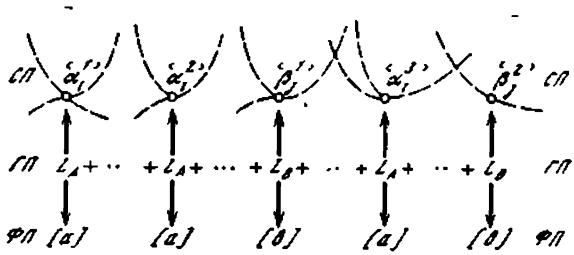


Рис. 4

матическом уровне (где фигурируют имена граммем), так и на семантическом уровне представления (где фигурируют «значения» граммем); в соответствии с альтернативной синтетической гипотезой, условию обязательности подчиняется лишь оппозиция самих граммем, каждая из которых определяется

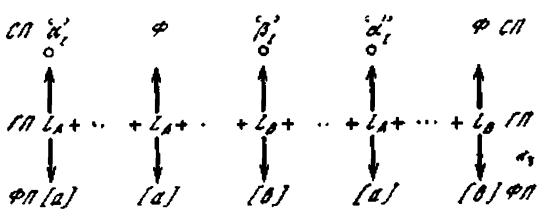


Рис. 5

тройкой: имя, правила манифестации, правила синтеза. Таким образом, в применении к числовой категории мы предполагаем, что хотя каждое вхождение субстантивной словоформы сопровождается обязательно одной из граммем «ед. ч.» или «мн. ч.», но *совсе не каждому вхождению субстантивной словоформы отвечает вхождение сущностей* '1' *или* 'W'. Соответственно различаются и гипотезы о возможном устройстве правил выбора. По аналитической гипотезе правила имеют вид:

(9) если в СП 'α_i', то граммема A
если в СП 'β_i', то граммема B

По синтетической гипотезе правила имеют такой вид:

(10) I. если в СП 'α_i', то граммема A,
если в СП 'β_i', то граммема B,
II. если в СП нет ни 'β_i', ни 'α_i', то { граммема A, если X / граммема B, если Y

где X и Y — какие-то условия, определяющие выбор одной из двух граммем в случае, когда выбор не предопределен смысловым заданием. Часть I этих правил мы называем в дальнейшем с м ы с л о в о й б а з о й грамматической категории, а часть II — у с л о в н ы м и п р а в и л а м и р а с п р е д е л е н и я.

Смысловая база составляет «психологический центр» грамматической оппозиции, определяет сходство между одноименными категориями разных языков, обусловливает первичные навыки употребления при освоении данного языка; условная зона, составляя периферию «в психологическом смысле», определяет несовпадения между языками с одноименными категориями, такие как те, которые имеют место между, например, русским и английским — в области числа, разными современными европейскими языками — в области артикля, разными славянскими языками — в области вида и т. д.[5]

Априори как будто нет оснований предпочесть одну гипотезу другой, а задача обнаружения правил синтеза (правил выбора) грамматических характеристик оказывается достаточно сложной и неопределенной в самой своей постановке. Ведь механизм синтеза грамматических характеристик составляет лишь один из компонентов общей системы синтеза текста, а соответственно, уже для постановки нашей задачи необходимо располагать какой-то гипотезой об устройстве всей этой системы в целом. В такой ситуации целесообразной представляется попытка проверить сравнительную достоверность рассматриваемых гипотез «в лоб», опираясь лишь на эмпирические факты, доступные прямому наблюдению по текстам.

Регистрацию первичных наблюдений над числовым поведением существительных в тексте удобно проводить как регистрацию значений к а т е г о р и а л ь н о й ф у н к ц и и (в данном случае — числовой). Эта функция принимает свои значения на па́рах «контекст K, существительное C»; число разных значений этой функции определяется числом возможных разных исходов экспериментальной подстановки в контекст K всех испытуемых категориальных форм существительного C. В данном случае исходы таковы: 1) возможна только форма ед. ч. (обозначаем Sg); (2) возможна только форма мн. ч. (обозначаем Pl); (3) возможны обе формы и смысл получаемых предложений тождествен (обозначаем Sg || Pl); (4) возможны обе формы и получаемые предложения противопоставлены по смыслу (обозначаем Sg ~ Pl); (5) ни одна из форм испытуемого существительного не совместима с данным контекстом (обозначаем —).

Приведем примеры:

(11) *Аккуратно записывайте* [*температура*] *больного* — Sg, ср. *Аккуратно записывайте температуру*^{Sg} *больного*.

[5] Наличие условной зоны определяет ситуацию той обязательности, которая была провозглашена Р. Якобсоном как необходимое условие грамматичности.

(12) *Работа по составлению [словарь] требует колоссального напряжения [программистск- способность]* — Sg//Pl, первая пара; Pl — вторая пара; ср. *Работа по составлению словаря*^{Sg}/*словарей*^{Pl} *требует колоссального напряжения программистских способностей*^{Pl}.

(13) *Он ужасно любит своего (своих) [мальчик]* — Sg ~ Pl В таком предложении как, например:

(14) *Он любит [статья] по семантике*

возникает неопределенность: одни информанты склонны приписывать значение Pl, признавая предложение

15) *Он любит статью*^{Sg} *по семантике*

по меньшей мере семантически нестандартным; другие — значение Sg ~ Pl, признавая предложение (15) семантически правильным и противопоставленным по смыслу предложению (14) [6].

Коль скоро распределение значений категориальной функции задано, задача обнаружения правил синтеза числовых характеристик сводится к задаче построения правил вычисления значений этой функции по заданным значениям K и C. Поскольку K и C заданы бесконечными множествами, речь должна идти о построении разбиений множеств K и C на конечное число классов, задаваемых распознаваемыми признаками. Постольку, поскольку правила опираются на признаки контекстов — они характеризуются как вскрывающие ситуацию контекстной зависимости; постольку, поскольку они опираются на признаки существительных (безразлично, распознаются ли они по каким-то «общим правилам» или по индексам, приписанным в словаре) — они характеризуются как вскрывающие ситуацию расчлененности (см. подробнее Зализняк 1973).

Если отвлечься от значения —, то в общем виде мы получаем четыре группы пар классов:

$K_i^{I}\ C_j^{I}$ — «Sg» $\qquad K_i^{III}\ C_j^{III}$ — «Sg//Pl»

$K_i^{II}\ C_j^{II}$ — «Pl» $\qquad K_i^{IV}\ C_j^{IV}$ — «Sg ~ Pl»

Искомые правила должны обеспечивать, с одной стороны, распознавание данной пары K_0C_0 как принадлежащей к одной из четырех групп и, с другой стороны, задавать выбор одной из форм «ед. ч.» или «мн. ч.» в случае, если K_0C_0 принадлежит классу четвертой группы.

Правила выбора, отвечающие классическому представлению, исходят из того, что контекстная зависимость сводится к естественно-семантическому противопоставлению 'I' ~ 'W', а си-

[6] По счастью, цель нашего эксперимента позволяет безболезненно исключать из рассмотрения все подобные «сомнительные» случаи, ограничивая эмпирическую базу наблюдений лишь случаями, не вызывающими сомнений. Формально при этом считается, что во всех «сомнительных» случаях функции приписывается значение —.

туация расчлененности исчерпывается существительными singularia и pluralia tantum.

Полное решение поставленной задачи получить применением описанной процедуры контекстного анализа практически невозможно. В самом деле, при попытке осуществить эту процедуру не умозрительно, а реально, мы тотчас столкнемся с неизбежным эффектом «прагматической несопоставимости», проявляющимся в данном случае в том, что для двух прагматически достаточно удаленных существительных множества совместимых контекстов окажутся практически непересекающимися; аналогично, для двух прагматически достаточно удаленных контекстов практически непересекающимися окажутся множества совместимых с ними существительных. В самом деле, количество естественных предложений с общим контекстом для таких существительных, как *огурец* и *ударение*, *война* и *чернильница*, *история* и *карандаш* ничтожно мало; те же контексты, которые все же попадают в пересечение, как правило, недостаточно характеристичны. (Таковы маловыразительные контексты вроде *Это. . .*, *описание. . .*, *обойтись без. . .* и т. п.) [7].

В такой ситуации эвристически полезно обратиться сперва к наблюдению числового поведения ограниченной группы существительных, принадлежащих, с одной стороны, к одному «семантическому полю» (во избежание указанных выше трудностей) и обладающих, с другой стороны, нетривиальным числовым поведением, т. е. поведением, не объяснимым в рамках классического представления.

---

[7] Примечательно, что формально та же трудность преследует исследователя и при контекстном анализе, имеющем другие цели. Например, при изучении падежного поведения существительных. Однако здесь-то и проявляется кардинальное различие между синтаксическими (формально-согласовательными) и семантико-грамматическими (как число, вид и некоторые подобные) категориями. По отношению к разным типам категорий различна реакция языковой интуиции: выбор правильной падежной формы носитель языка совершает одинаково свободно как в контексте «семантически убедительном», так и в контексте «семантически странном», однако оценить сравнительную правильность числового оформления существительных в предложениях типа

(15)* *Утюг* ^{Sg} *суммы равен сумме утюгов*
(16)* *Утюги* ^{Pl} *сумм равны суммам утюгов*

практически невозможно. Как раз обсуждаемое свойство падежа как формально-согласовательной категории использовал А. В. Гладкий (Гладкий, 1973), сопоставивший каждому падежу контексты, совместимые с любым существительным (для дат. падежа контекст *k* +. . ., для родительного — *от* + . . . и т. п.). Указанное обстоятельство — одно из фундаментальных препятствий на пути изучения употреблений грамматических форм «семантических категорий»; в этом можно видеть одну из основных причин абсолютной неразработанности соответствующей проблематики в лингвистических исследованиях предшествующего времени.

В качестве такой малой группы мы рассмотрим названия плодов (прежде всего овощей и фруктов) [9]. Нетождественность их числового поведения бросается в глаза; ср.:

(17) *Привезли кабачки*^{Pl}, *помидоры*^{Pl}, *баклажаны*^{Pl}, *но брюкву*^{Sg}, *свеклу*^{Sg} *репу*^{Sg}

(18) *Салат из огурцов*^{Pl} ~ *из редиски*^{Sg}

Хотя среди этих существительных имеется некоторое количество дефектных (например, *морковь*, *капуста*) огромное большинство — свободно-числовые (*огурец — огурцы*, *помидор — помидоры*, *репа — репы*, *тыква — тыквы* и т. д.). Тогда как в рамках классического представления нетождественность числового поведения объясняется только для существительных Sgt или Plt (нетождественность, представляемая примерами типа *привезли сливки*^{Pl} ~ *привезли молоко*^{Sg}).

Рассмотрим фрагмент таблицы, регистрирующей числовое поведение нескольких существительных на нескольких контекстах:

Таблица 1

	Баклажан	*Огурец*	*Помидор*	*Свекла*	*Репа*	*Капуста*	*Горох*
(1) *Любите ли вы. . .?*	Pl	Pl	Pl	Sg	Sg	Sg	Sg
(2) . . . *дорожает.*	Pl	Pl	Pl	Sg	Sg	Sg	Sg
(3) *Этот участок земли отвели под . . .*	Pl	Pl	Pl	Sg	Sg	Sg	Sg
(4) *Вымой, пожалуйста, эт(-от, -у, -и) . . .*	Sg~Pl	Sg~Pl	Sg~Pl	Sg	Sg	Sg	Sg
(5) *Вымой еще несколько . . .*	Pl	Pl	Pl	Pl	Pl	—	—
(6) *Вымой еще один (одну) . . .*	Sg	Sg	Sg	Sg	Sg	—	—
(7) *Что ты положила в миску? . . .*	Sg~Pl	Sg~Pl	Sg~Pl	Sg~Pl	Sg~Pl	Sg	Sg

Сразу видно, что значения числовой функции высоко упорядочены: здесь представлено всего три типа столбцов и четыре типа строк. Расширение числа рассматриваемых существительных и

[9] Выбор именно этой группы не случаен. Во всей лексике современного русского языка нельзя найти более яркого и компактного примера. Недаром именно эта лексическая зона не раз привлекалась к иллюстрациям как раз в связи с обсуждением проблематики числа. Исследованию разных возможных описаний числового поведения этой группы лексики посвящена специальная статья, подготовленная автором, стимулированная в значительной степени рядом публикаций, появившихся недавно на страницах журнала Wiener Slawistischer Almanach.

рассматриваемых контекстов не увеличивает разнообразия типов строк и столбцов [1].

Тождественное числовое поведение обнаруживают существительные *баклажан, огурец, помидор* (далее этот класс обозначаем C^{I} — тип *баклажан*); *свекла, репа* (обозначаем C^{II} — тип *репа*) и *капуста, горох* (обозначаем C^{III} — тип *капуста*). При этом обращает на себя внимание тот факт, что в типе *баклажан* преобладают значения Pl, а значения Sg появляются только в тех строках, в которых Sg единственно возможное значение (как в строке 6) или обязательное наряду с значением Pl, (как в строках 4 и 7). Тогда как в типе *репа*, наоборот, преобладающим оказывается значение Sg, а Pl встречается только в тех строках, в которых Pl единственно возможное значение (как в строке 5) или обязательное наряду с значением Sg (как в строках 4 и 7). Тождественны контексты 1, 2 и 3; 4 и 7; т. е. всего имеет место четыре типа контекстов: K^{I} — *Любите ли вы X?*, K^{II} — *Вымой, пожалуйста, X*, K^{III} — *несколько X* и K^{IV} — *один X*.

В последних двух контекстах (типах контекстов) очевидно задано смысловое противопоставление 'I' ~ 'W'; выбор числового оформления подчинен естественно-семантическому правилу ('I' в K^{III} — оформление «ед. ч.», 'W' в K^{IV} — оформление «мн. ч.»), однако существительные третьего класса (тип *капуста*) несовместимы как раз с этими контекстами. В первом контексте семантическое противопоставление 'I' ~ 'W' очевидно не определено, соответственно наблюдается и разнобой оформлений. Контексты второго типа (K^{II}) занимают промежуточное положение: они совместимы с существительными третьего класса (тип *капуста*), уподобляясь в этом контекстам, в которых естественно-семантическое противопоставление не определено (т. е. контекстам класса K^{I}), и допускают смысловое противопоставление Sg ~ Pl, интерпретируемое в соответствии с естественно-семантическим правилом (т. е. как смысловое противопоставление 'I' ~ 'W'), уподобляясь контекстам K^{III} и K^{IV}, в которых противопоставление 'I' ~ 'W' задано.

Если отвлечься от строк (4) и (7), то мы увидим, что таблица (в оставшейся части) представляет совмещение двух простейших типов упорядоченности. Причем это те типы упорядоченности, которые представлены в той зоне употреблений, которая составляет эмпирическую базу классического представления. А именно, это с одной стороны контекстная зависимость: данный класс контекстов требует от всех C, совместимых с ним, одного и того же

[1] Мы отвлекаемся от ряда дополнительных по отношению к рассматриваемой проблеме эффектов; в частности, не учитываются различного рода поверхностно-синтаксические эффекты, особенности выбора числовых форм в составе фразеологизмов (ср. *строить глазки*^{Pl} ~ *положить глаз*, ^{Sg} *подарить на зубок*^{Sg} ~ *положить зубы*^{Pl} *на полку* и т. п.); также мы отвлекаемся от эффектов, связанных с так называемым генерическим единственным.

оформления. С другой стороны, это зависимость от класса лексем, выступающих в роли носительниц граммем рассматриваемой категории. В соответствии с классическим представлением о правилах выбора числового оформления ситуация контекстной зависимости отождествляется со смысловым противопоставлением, задаваемым оппозицией 'ɻ' ~ 'W', а ситуация расчлененности ограничивается сферой дефектных существительных.

Замечание. Отметим сразу, что расчленённость правил выбора автоматически предполагает соответствующую лексикографическую обработку: расчлененное правило выбора грамматического оформления опирается как на исходную на информацию о классовой принадлежности лексем. Сведения же о принадлежности лексемы к тому или иному классу должны содержаться в словаре. В соответствии с классическим представлением о механизмах выбора числовых форм в словаре должны быть помечены только дефектные существительные с указанием типа дефектности: Sgt или Plt. В этом и состоит существующая лексикографическая практика: во всех известных словарях русского языка используемые числовые пометы сводятся к трем противопоставленным числовым характеристикам: свободно-числовое, как *книга* (обычно никак не помечается), Sgt, как *молоко*, и Plt, как *сливки*[10]. Утверждение о том, что расчлененность имеет место и в сфере свободно-числовых, означает, что соответствующим образом должна быть произведена и лексикографическая подготовка; т. е. что специальными числовыми пометами должны снабжаться не только «вырожденные», «аномальные», а именно дефектные по числу, существительные, но все существительные без исключения.

Тот факт, что контекстная зависимость не всегда сводится к зависимости «семантически-обусловленной» (определяющейся оппозицией 'ɻ' ~ 'W'), хорошо известен. Многократно отмечались ситуации поверхностно-синтаксической обусловленности, наиболее яркий пример которой видим в числовых выражениях типа: *два карандаша*^{Sg}, *пять карандашей*^{Pl}, *двадцать один карандаш*^{Sg}. Хотя полный каталог поверхностно-синтаксических условий до сих пор не создан, в настоящей работе мы отвлекаемся от рассмотрения этого типа обусловленности, предполагая, в условном порядке, что правила поверхностно-синтаксического содержания можно будет объединить с остальными в порядке простого логического суммирования. Менее известно то обстоятельство, которое можно считать доказанным уже несколькими продемонстрированными примерами, что ситуация расчлененности отнюдь не исчерпывается существительными дефектными. В самом деле, объяснение эффекта, наблюдаемого в минимальных парах типа *сеять репу*^{Sg} ~ *сеять астры*^{Pl}, *баклажаны*^{Pl} *подорожали* ~ ~ *свекла*^{Sg} *подорожала* можно искать либо в нетождественности смыслового задания, либо в нетождественности поверхностно-синтаксических конструкций, либо, наконец, в расчлененности. Исключение, в силу нелепости соответствующих предположений,

[10] Реально обычно для маркировки одного класса используется целая серия несинонимичных помет типа «мн. нет», «мн. неупотр.», «обычно ед.», «преимущ. ед.», «мн. нежелат.» и т. п. с нечетко определенным различием.

первых двух объяснений, вынуждает нас принять утверждение о расчлененности.

Таким образом схематически картину, наблюдаемую в таблице (за исключением строк 4 и 7), можно изобразить в табл. 2.

Таблица 2

	$C^{I} \sim C^{II}$		C^{III}
K^{I}	Pl	Sg	Sg
K^{II}	Sg	Sg	—
$\widetilde{K^{III}}$	Pl	Pl	—

Теперь обратимся к анализу исключенных строк — третьей и седьмой. Легко видеть, что формально они могут быть представлены в виде логической суммы трех простейших строк. Посмотрим, в какой степени такое представление допустимо с содержательной точки зрения. Контекст *Вымой мне X* допускает в общем случае три осмысления:

(1′) вымой, пожалуйста, *некоторую порцию продукта X*
(2′) вымой, пожалуйста, *одну штуку X-а*
(3′) вымой, пожалуйста, *несколько штук X*

Эти три осмысления склеиваются различно при совмещении с лексемами разных классов:

Таблица 3

	1′	2′	3′
Вымой, пожалуйста, баклажан Sg	—	+	—
Вымой, пожалуйста, баклажаны Pl	+	—	+
Вымой, пожалуйста, репу Sg	+	+	—
Вымой, пожалуйста, репы Pl	—	—	+
Вымой, пожалуйста, капусту Sg	+	—	—
(* *Вымой, пожалуйста, капусты* Pl)			

Легко видеть, что осмыслению 1′ отвечает строка как у контекста K^{I}, осмыслению 2′ — как у контекста K^{III}, осмыслению 3′ — как у контекста K^{IV}. Соответственно, осмыслению 1′ отвечает неопределенность оппозиции ‘ɩ’ ~ ‘W’, а осмыслениям 2′ и 3′ определенность ‘ɩ’ и ‘W’ — соответственно.

Теперь видим, что деление контекстов на три класса содержательно интерпретируется в табл. 4.

Таблица 4

Определена ли оппозиция '|' ~ 'W'?		
да		нет
'|'	'W'	$K^{I}(//K^{II})$
$K^{IV}(//K^{II})$	$K^{III}(//K^{II})$	

Таблица 5

В какой числовой форме выступает C в случае неопределенности оппозиции '|' ~ 'W'?	Совместимо ли данное C с определенностью оппозиции '|' ~ 'W'?	
	да	нет
	C^{II} Sg *репа*	C^{III} Sg *капуста*
	C^{I} Pl *баклажан*	—

Деление же существительных на классы определяется содержательно в табл. 5.

Прежде чем формулировать правило выбора числового оформления введем в целях сокращения формулировок несколько условных терминов.

Договоримся различать а р и ф м е т и ч е с к и е и н е а р и ф м е т и ч е с к и е употребления существительных, подразумевая под первыми употребления в ситуации определенности смыслового противопоставления '|' ~ 'W'. Соответственно договоримся называть контекст а р и ф м е т и ч е с к и м, если все совместимые с ним употребления существительных — арифметические, и н е а р и ф м е т и ч е с к и м — в противном случае. (Легко видеть, что указанное деление контекстов будет взаимоисключительным только при условии, что некоторые контексты мыслятся расщепленными).

Существительные, выступающие во всех своих неарифметических употреблениях в форме ед. числа, будем называть Sg-о р и е н т и р о в а н н ы м и (тем самым относя к этому типу и обычное Sgt), а существительные, выступающие во всех своих неарифметических употреблениях в форме мн. ч., будем называть Pl-о р и е н т и р о в а н н ы м и.

Теперь можно сформулировать правило выбора числового оформления в следующем, достаточно общем, виде:

(18) если существительное Sg-ор., то по естественно-семантическому правилу в арифметических употреблениях и в форме ед. ч. — в прочих случаях;
если существительное Pl-ор., то по естественно-семантическому правилу в арифметических употреблениях и в форме мн. ч. — в прочих случаях.

Или, иначе, так:

(19) если существительное Sg-ор., «мн. ч.», только,
если имеет место 'W';
если существительное Pl-ор., то «ед. ч.» только,
если имеет место '|'.

Полное обследование всех существительных, формирующих рассматриваемую группу, показывает, что в этой зоне господствует действительно поразительная упорядоченность числового поведения. Здесь все без исключения существительные подчиняются следующему закону: во всех неарифметических употреблениях каждое данное существительное следует всегда одному и тому же числовому оформлению.

Очевидно, что именно это удивительное свойство рассматриваемых существительных обеспечивает ту высокую степень упорядоченности числового поведения, которая наблюдается в этой зоне лексики. Этим свойством объясняется и простота правил, и доступность их обнаружения. В самом деле, ведь возможное разнообразие контекстов, представляющих неарифметические употребления, оказывается здесь несущественным. Это замечательное свойство, обнаруженное у некоторых существительных, мы будем называть в дальнейшем монотонностью числового поведения, а существительные — монотонными[11].

Нетрудно заметить, что до тех пор, пока мы не будем выходить за пределы области монотонности, до тех пор мы будем свободны от тех трудностей контекстного анализа, рассмотрение которых предшествовало разбору настоящего примера. В самом деле, задача наблюдения числового поведения существительных сводится к выявлению направления ориентированности, а трудность сравнения числового поведения двух существительных, сильно удаленных прагматически, отпадает, за отсутствием необходимости сопоставления их на множестве разных неарифметических контекстов.

Количество различных числовых классов существительных, возможных в среде монотонных существительных, невелико и

Таблица 6

Допускает ли неарифметические употребления?		Допускает ли арифметические употребления?	
		да	нет
да	Sg-ор.	C^{I} *репа*	C^{III} *капуста*
	Pl-ор.	C^{II} *баклажан*	C^{IV} *макароны* **
нет		C^{V} *картофелина* *	

* См. ниже замечание о сингулятивах.

** Этот класс в данной группе не представлен; ср., однако, приближающиеся к этому классу такие существительные, как *почки*, *арбашки* и некоторые другие.

[11] Очевидно, что сформулированные выше определения Sg- и Pl-ориентированности корректны лишь в применении к монотонным существительным.

исчерпывается некоторым набором логических возможностей (табл. 6).

Замечания о Sgt и Plt. I. Легко видеть, что отличие класса C^{I} от класса C^{II} (и соответственно C^{II} от C^{III}) в совместимости с арифметическими контекстами. Такая интерпретация наблюдаемых противопоставлений позволяет несколько иначе оценить статус дефектных существительных Sgt и Plt. Они в свете защищаемой интерпретации оказываются не аномальным явлением, а естественным следствием действующих закономерностей: несовместимость с арифметическими употреблениями порождает Sgt в среде Sg-ор., и Plt — в среде Pl-ор. Такой взгляд (насколько он оправдан в отношении всего материала, мы пока не обсуждаем) заставляет иначе осмыслить само явление числовой дефектности: из периферийного и нарушающего основную логику числовой категории оно перемещается в позицию центральную, объясняющую весь механизм функционирования числовой категории как грамматической в современном русском языке [12].

Замечательно, что в полном согласии с нашими наблюдениями оказывается и утверждение особого статуса существительных типа *сани* (см. Зализняк, 1967).

В самом деле, признание их принадлежности к классу Plt типа *макароны, сливки* и т. п., потребовало бы постулирования какой-то более сложной и менее компактной классификации существительных; потребовалось бы определенным образом усложнять и формулировку правил. Признание же омонимии форм: *сани*^{Sg} *сани*^{Pl} позволяет сохранить как классификацию, так и правила в том простейшем виде, который приведен выше. При этом (как это и формулирует А. А. Зализняк) только для класса типа *сани* оправдано название pluralia tantum, тогда как для классов типа *молоко*, или типа *сливки* особого названия не требуется, так как они не более чем естественные подклассы Sg-ориентированных и Pl-ориентированных.

II. Заметим, что правила (19) не используют противопоставления классов $C^{I} \sim C^{III}$ и $C^{II} \sim C^{IV}$. И это не случайно. По существу самого дела необходимо различать вопросы, связанные с допустимостью/недопустимостью определенных употреблений, и вопросы грамматического оформления, коль скоро первый вопрос решен положительно. В целом вопросы первого типа в большей степени зависят от индивидуальных речевых установок говорящего и в меньшей степени допускают регламентацию «предписывающими правилами грамматики». Подтверждение этого тезиса находим в изобилии в лексикографической практике: разнобой в расстановке числовых помет (содержательно сводимых к Sgt и Plt) и стремление нюансировать каждую из двух (ср., например, «только ед.», «мн. нет», «мн. неупотр.», «мн. нежелат.», «обычно ед.») свидетельствует о зыбкости этих делений и неуверенности лексикографа. С нашей точки зрения в грамматическом плане все такие пометы имеют один смысл: указание на Sg-ориентированность. Деление же на Sg- и Pl-ориентированные удается провести с достаточной четкостью.

ЛИТЕРАТУРА

Гладкий А. В. Попытка формального определения понятий падежа и рода существительного. — В кн.: Проблемы грамматического моделирования. М., Наука, 1973.

Зализняк А. А. Русское именное словоизменение, М., 1967.

[12] Любопытно в этой связи отметить, что аналогичное устройство рассматриваемой лексики наблюдается и в других современных славянских языках; в частности, в польском, словацком.

Зализняк А. А., Падучева Е. В. О контекстной синонимии единственного и множественного числа существительных. — Информационные вопросы семиотики и информатики, 1970, № 4.
Зализняк А. А. О понимании термина падеж в лингвистических описаниях. I. — В кн.: Проблемы грамматического моделирования. М., Наука, 1973.
Курилович Е. Проблема классификации падежей (1949). — В кн.: Очерки по лингвистике. М., 1962.

Г. А. СМИРНОВА

ОСОБЕННОСТИ ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ И МОРФОНОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ НЕСКЛОНЯЕМЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. II

Статья продолжает сопоставительное описание особенностей фонологической и морфологической структуры несклоняемых и склоняемых существительных. С несклоняемыми существительными сопоставляются склоняемые существительные в двух исходных позициях склоняемых имен: позиции им. пад. ед. числа (первая исходная позиция) и позиции им. пад. мн. числа (вторая исходная позиция). Настоящая статья посвящена выявлению особенностей фонологической и морфонологической структуры несклоняемых существительных в позиции им. пад. мн. числа.

Различные структурные типы несклоняемых существительных рассматриваются, как и в позиции им. пад. ед. числа, относительно их возможности быть или не быть потенциально склоняемыми, т. е. с целью выявления фонолого-морфонологических ограничений, налагаемых системой языка, что и обусловило их сопоставительное описание со склоняемыми существительными по их конечным сочетаниям.

Конечные ударные [о], [ó], [э], [э́], [у], [у́], также как и конечные безударные [о], [ó], [у], [у́], [э], [э́] существительных в позиции второй исходной формы (им. пад. мн. числа) — показатели несклоняемых слов.

Как склоняемым, так и несклоняемым существительным в позиции им. пад. мн. числа свойственны конечные ударные [а], [а́], [и], [ы] и конечные безударные [ъ] (орф. а), [ъ/э] (орф. е), [и], [ы].

Морфонологические ограничения на склоняемость существительных с финалями *-а*, *-е* рассматривались при сопоставлении этих существительных с формой им. п. ед. числа склоняемых существительных, имеющих соответствующие флексии. Нет ни одного существительного с финалью *-а* или *-е*, которое бы употреблялось только с признаком мн. числа, у большинства существительных с финалями *-а*, *-е* признак ед. числа и форма им. пад. ед. числа имеет

преимущественное употребление перед формой им. пад. мн. числа. В позиции им. пад. мн. числа особого внимания заслуживает сопоставление несклоняемых существительных с финалью *-и* и склоняемых существительных с флексией *-и*$_1$ по сочетаниям конечного гласного с предшествующим согласным[1].

КОНЕЧНОЕ tv СКЛОНЯЕМЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С ФЛЕКСИЕЙ *-и*

Флексия *-и* (ударный и безударный вариант) исходной формы склоняемых существительных сочетается с 34 предшествующими согласными, реализуясь после твердых в согласных звуке [ы], после мягких согласных — в звуке [и].

Конечный [ы] сочетается с 15 твердыми согласными: шумными губными [п], [б], [ф], [в], переднеязычными зубными [т], [д], [с], [з], [ц], небно-зубными [ж], [ш], сонорными зубными [н], [л], небно-зубным [р], губным [м]. Нет сочетаний конечного [ы] с предшествующими твердыми заднеязычными [к], [г], [х].

Конечный [и] сочетается с 19 мягкими согласными: шумными губными [п'], [б'], [ф'], [в'], переднеязычными зубными [т'], [д'], [с'], [з'], небно-зубными [ч'], [ш̄'], [ж̄'], заднеязычными [к'], [г'], [х'], сонорными [м'], [н'], [л'], [р'], [j]. Остановимся более подробно на описании сочетаемости флексии *-и* с предшествующим согласным в форме им. пад. мн. числа склоняемых существительных с учетом ударного и безударного варианта флексии и производности-непроизводности рассматриваемых существительных.

Конечное tv у склоняемых непроизводных существительных с ударной флексией *-и*

I. Сочетание ударной флексии *-и* с шумным согласным

1) губным
[п]: серпы, шипы, [б]: грибы, рабы, [ф]: графы, [в]: булавы, львы, [в']: пахви
2) переднеязычным зубным
[т]: бинты, жгуты, [т']: культи, путти, [д]: тамады, скирды
[с]: басы, усы [с']: караси, [з]: картузы, тузы, [з']: стези, язи, [ц]: изразцы, скворцы
3) переднеязычным небно-зубным
[ш]: барыши, ерши, [ж]: багажи, ежи, [ч']: бахчи, грачи, [ш̄']: борщи, лещи, [ж']: дожди
4) заднеязычным
[к']: армяки, каблуки, [г']: сапоги, утюги, [х']: лопухи, стихи

II. Сочетание ударной флексии *-и* с сонорным согласным

1) губным
[м]: пимы, умы
2) переднеязычным зубным
[н]: зипуны, слоны, [н']: кетмени, лини, [л']: журавли, ковыли, [л]: ослы, чехлы
3) переднеязычным небно-зубным
[р]: багры, ковры, [р']: волдыри, декабри
4) среднеязычным
[j]: буи, воробьи, чаи

[1] О конечных сочетаниях структуры vv несклоняемых существительных с финалью *-и* см. (16), в разделе: «Несклоняемые существительные с конечными сочетаниями структуры vv».

В непроизводных существительных ударная флексия *-и* сочетается с 29 предшествующими согласными, выступая после твердых согласных в звуке [ы], после мягких — в звуке [и]. Конечный ударный [ы] сочетается с 15 твердыми согласными: шумными губными [п], [б], [ф], [в], переднеязычными зубными [т], [д], [с], [з], [ц], переднеязычными небно-зубными [ш], [ж], сонорным губным [м], сонорными переднеязычными зубными [л], [н], небно-зубными [р]. Функционально ненагружено одно конечное сочетание [фы]: *графы́* (*графа́*) [2]. Нет сочетаний с твердыми заднеязычными [к], [г], [х].

Конечный ударный [и] сочетается с 14 предшествующими мягкими согласными: шумным губным [в'], зубными [т'], [с'], [з'], небно-зубными [ч'], [ш'], [ж'], заднеязычными [к'], [г'], [х'], сонорными переднеязычными [н'], [л'], [р'], среднеязычным [j]. Отсутствуют сочетания конечного [и] с губными [п'], [б'], [ф'], [м'], зубным [д']. Функционально ненагружены сочетания [в'и]: *пахви*, [с'и]: *караси*, [ж'и]: *дожди*. На грани нагруженных и ненагруженных сочетаний стоят сочетания ударного [и] с зубными [т'], [з'], реализующиеся в трех—четырех словах.

Конечное tv склоняемых производных существительных с ударной флексией *-и*

I. Сочетание ударной флексии *-и* с шумным согласным

1) губным: ударная флексия *-и* производных существительных не сочетается с губными шумными согласными
2) переднеязычным зубным
[т]: сваты, [т']: ломти
[д]: склады́ (по складу́), нелады, [д']: вожди
[ц]: борцы, истцы
3) переднеязычным небно-зубным
[ш]: глупыши, малыши, [ж]: кутежи, чертежи
[ч']: лихачи, москвичи
4) заднеязычным
[к']: битки, барчуки, [г']: брюзги, торги
[х']: пастухи, петухи

II. Сочетание ударной флексии *-и* с сонорным согласным

1) губным: ударная флексия *-и* производных существительных не сочетается с сонорным губным согласным
2) переднеязычным зубным
[н]: бегуны, колдуны, [н']: плетни, ступни
[л]: послы, хвалы, козлы, [л']: горбыли, писки
3) переднеязычным небно-зубным
[р]: бочары, школяры, [р']: звонари, пустыри
4) среднеязычным
[j]: жнеи, попадьи, толчеи

У производных существительных мн. числа (которым есть оппозиция производных существительных ед. числа) ударная флексия *-и* сочетается с 18 предшествующими согласными.

[2] Степень функциональной нагрузки конечного сочетания определяется числом слов, в которых это сочетание функционирует. Функционально нагруженными считаются конечные сочетания, встретившиеся не менее чем у трех склоняемых существительных, см. (4, 16).

Конечный ударный [ы] сочетается с 8 твердыми согласными: шумными зубными [т], [д], [ц], небно-зубными [ш], [ж], сонорными [н], [л], [р]. Нет сочетаний ударного [ы] с губными [п], [б], [в], [ф], [м], зубными [с], [з], заднеязычными [к], [г], [х]. Функционально ненагружены сочетания [ы] с зубным [т], на грани нагруженных и ненагруженных сочетаний находятся сочетания [ы] с зубным твердым [д].

Конечный ударный [и] сочетается с шумными мягкими зубными [т'], [д'], небно-зубным [ч'], заднеязычными [к'], [г'], [х'], парными сонорными [н'], [л'], [р'], среднеязычным [j]. Отсутствуют сочетания с мягкими губными [п'], [б'], [ф'], [в'], [м'], мягкими зубными [с'], [з'], небно-зубными [ш'], [ж']. Функционально ненагружены сочетания конечного ударного [и] с мягкими зубными [т'], [д'].

Конечное *tv* склоняемых непроизводных существительных с безударной флексией *-и*

I. Сочетания безударной флексии *-и* с шумным согласным

1) губным
[п]: лампы, тропы, [п']: цепи, степи
[б]: губы, шубы, [б']: голуби, хляби
[ф]: жирафы, катастрофы, [ф']: верфи
[в]: мотивы, октавы, [в']: ветви, черви

2) переднеязычным зубным
[т]: анкеты, хаты, [т']: дети, гости
[д]: воды, орды, [д']: желуди, тетради
[с]: гуси, лоси, [с']: косы, крысы
[з]: вазы, слезы, [з']: витязи
[ц]: овцы, улицы

3) переднеязычным небно-зубным
[ш]: афиши, ратуши, [ж]: вельможи, лыжи
[ч']: матчи, тучи
[ш']: вещи, мощи, [ж']: дрожжи

4) заднеязычным
[к']: клерки, парки, [г']: ашуги, лозунги
[х']: чехи, эпохи

II. Сочетание безударной флексии *-и* с сонорным согласным

1) губным
[м]: зимы, пальмы

2) переднеязычным зубным
[н]: рупны, стены, [н']: бани, яблони
[л]: иглы, скалы, [л']: букли, вафли, гантели

3) переднеязычным небно-зубным
[р]: астры, игры, [р']: гири, звери

4) среднеязычным
[j]: аллеи, ульи

У непроизводных склоняемых существительных безударная флексия *-и* сочетается с 33 предшествующими согласными.

Конечный безударный [ы] сочетается с 15 твердыми согласными: шумными губными [п], [б], [ф], [в], переднеязычными зубными [т], [д], [с], [з], [ц], небно-зубными [ш], [ж], с сонорным губным [м], сонорными зубными [н], [л], небно-зубным [р]. Сочетание [цы] стоит на грани функционально нагруженных и ненагру-

женных сочетаний, остальные сочетания конечного [ы] с твердыми согласными функционально нагружены. Отсутствуют сочетания конечного безударного [ы] с заднеязычными [к], [г], [х].

Конечный безударный [и] сочетается с 18 мягкими согласными: шумными губными [п'], [б'], [ф'], [в'], переднеязычными [т'], [д'], [с'], [з'], небно-зубными [ч'], [ш'], [ж'], заднеязычными [к'], [г'], [х'], сонорными парными [н'], [л'], [р'], среднеязычным [j]. Функционально ненагружены сочетания конечного [п] с губными [б'], [ф'], небно-зубным [ж']. На грани функционально нагруженных и ненагруженных сочетаний находятся сочетания [п'и], [в'и].

Конечное tv склоняемых производных существительных с безударной флексией *-и*

I. Сочетание безударной флексии *-и* с шумным согласным

1) губным
[п]: всхрапы, скрепы, [п']: крепи, насыпи
[б]: жалобы, изгибы, [б']: дроби, глуби
[в]: битвы, нормативы, [в']: свекрови, любови
2) переднеязычным зубным
[т]: одесситы, рефераты, [т']: почести, сласти
[д]: награды, взгляды, [д']: клади, проповеди
[с]: актрисы, замесы, [с']: бабуси, смеси
[з]: французы, угрозы, [з']: рези, связи
[ц]: луковицы, пехотинцы
3) переднеязычным небно-зубным
[ш]: волокуши, пустоши,
[ж]: арбитражи, кражи
[ч']: задачи, плачи
[ш']: чащи, усищи, [ж']: вожжи
4) заднеязычным
[к']: канавки, остатки,
[г']: бродяги, ожоги
[х']: краюхи, пряхи

II. Сочетание безударной флексии *-и* с сонорным согласным

1) губным
[м]: архаизмы, дремы, [м']: озими
2) переднеязычным зубным
[н]: жемчужины, тайны, [н']: баловни, песни
[л]: зазывалы, радиолы, [л']: были, капли
3) переднеязычным небно-зубным
[р]: задиры, реакторы, [р']: аптекари, потери
4) среднеязычным
[j]: лентяи, урожаи

Безударная флексия *-и* в производных склоняемых существительных сочетается с 32 предшествующими согласными.

Конечный безударный [ы] сочетается с 14 твердыми согласными: шумными губными [п], [б], [в], зубными [т], [д], [с], [з], [ц], небно-зубными [ш], [ж], сонорными [м], [н], [л], [р]. Нет сочетаний конечного [ы] с губным [ф], заднеязычными [к], [г], [х]. Функционально нагружены все сочетания [ы] с твердым согласным.

Безударный [и] сочетается с 16 предшествующими мягкими согласными: шумными губными [п'], [б'], [в'], зубными [т'], [д'],

[с'], [з'], небно-зубными [ч'], [ш̄'], [ж̄'], заднеязычными [к'], [г'], [х'], сонорными [м'], [н'], [л'], [р'], [j]. Отсутствует сочетание [и] с мягким губным [ф']. Функционально ненагружено сочетание [ж̄'и]. Сочетания [д'и], [з'и], [м'и] стоят на грани функционально нагруженных и ненагруженных сочетаний. У существительных ед. числа с конечными мягкими согласными [д'], [з'], [м'] (орф. *дь*, *зь*, *мь*) затруднено образование из-за лексического значения (отвлеченное качество) коррелирующего по значению существительного мн. числа (ср. *гладь*, *наледь*, *пестрядь*, *изморозь*, *понизь*, *привязь*, *ломь*, *заумь*).

КОНЕЧНОЕ tv СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С УДАРНОЙ ФИНАЛЬЮ *-и*

I. Сочетание ударной финали *-и* с шумным согласным

1) губным
[п']: пи, [б']: пиябби
[ф']: фифи, суфи, [в']: визави, пехлеви
2) переднеязычным зубным
[т]: ханты, [т']: ассорти, баяти, конфетти, травести
[д']: бигуди, ди
[с']: джерси, иваси, реверси, такси, шасси
[з]: занг-бозы, чуб-бозы, [з']: жалюзи, кузи
3) переднеязычным небно-зубным
[ш]: аиши, бахши, виши, жирши, кюйши, оленши
[ж]: хаджи
[ч']: бызанчи/пызанчи, манасчи, чи
4) заднеязычным
[к']: кроки, маки
[г']: буги, зырны-трынги, спаги
[х']: газахы

II. Сочетание ударной финали *-и* с сонорным согласным

1) губным
[м']: машуми
2) переднеязычным зубным
[в']: дурранн
[л']: аргали, вали, гуругли, ли, пароли, сомали, шабли
3) переднеязычным небно-зубным
[р']: альпари, бри, драпри, жюри, канари, кочари, кюри, маркетри, папетри, пари, попурри, рефери, ри, тильбюри, фри, эспри
4) среднеязычным
[j]: мирзаи, рубаи

Ударной финали *-и* предшествует 21 согласный.

Конечный [и] (орф. *и*) сочетается с 16 мягкими согласными: шумными губными [п'], [б'], [ф'], [в'], переднеязычными зубными [т'], [д'], [с'], [з'], небно-зубным [ч'], заднеязычными [к'], [г'], сонорными [м'], [н'], [л'], [р'], [j].

Конечные сочетания [п'и], [б'и], [ф'и], [д'и] свойственны только несклоняемым существительным, конечные сочетания [ш̄'и], [ж̄'и], [х'и] есть только у склоняемых существительных с конечным ударным [и].

Общими для склоняемых и несклоняемых существительных являются 11 конечных сочетаний: [в'и], [т'и], [с'и], [з'и], [ч'и], [к' и], [г'и], [н'и], [л'и], [р'и], [ji], из которых два сочетания [в'и] и [с' и] функционально ненагружены у склоняемых существитель-

ных, а два [т'и], [з'и] реализуются в трех—четырех склоняемых словах, т. е. находятся на грани функционально нагруженных и ненагруженных сочетаний. Функционально нагружены у склоняемых существительных семь сочетаний, общих с несклоняемыми: [ч'и], [к'и], [г'и], [н'и], [л'и], [р'и], [ји].

Конечный ударный [ы] (орф. *ы*, *и*) сочетается у несклоняемых слов с 5 твердыми согласными: переднеязычными зубными [т], [з], заднеязычным [х], шипящими [ш], [ж]. Сочетание [хы], зафиксированное в одном слове *газахы*, отсутствует у склоняемых слов, оно чуждо фонетической системе русского языка и характеризует не столько несклоняемые слова, сколько слова, не освоенные русским языком: *газахы*, скорее, транлитерация иноязычного слова. Сочетания [ты], [зы], встретились в единичных несклоняемых словах: *ханты*, *занг-бозы*, *чуб-бозы*, употребительным из них является только слово *ханты*, имеющее и склоняемую форму ед. числа — *хант*, *-а*. Наиболее распространено в несклоняемых словах сочетание [шы], функционально нагруженное у склоняемых существительных. Функционально нагружено у склоняемых существительных и конечное сочетание [жы], зафиксированное у несклоняемых существительных в единственном отыменном производном образовании *хаджи* (хадж).

КОНЕЧНОЕ tv СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С БЕЗУДАРНОЙ ФИНАЛЬЮ *-и*

I. Сочетание безударной финали *-и* с шумным согласным

1) губным
[п']: гуппи, кепи, окапи, кипи, серапи, топи, хиппи, чомпи
[б']: алиби, беби, бобби, гоби, дерби, кольраби, лобби, оби, рабби/равви, регби
[в']: брави, диви-дивн, кивн/кивикивн, моурави, рапаклви, саперави, сацивн
2) переднеязычным зубным
[т']: агути, вапити, граффити, гуджарати, коати, кьянти, муфти, негретти, паблисити, пенальти, просперити, сати/сутти, сити, спагетти, тутти, тримурти, фусти, шавантн
[д']: барунди, бренди, вади, денди, кади, карунди, леди, миледи, канди, скуди, хинди, эфенди, ягуарунди
2) переднеязычным зубным
[с']: буси, груси/гурунси, джерси, липси, манси, патеси
[з']: бриндизи, гази, мафиози
[ц]: наци
3) переднеязычным небно-зубным
[ж]: тахтаджи, тораджи, гижи
[ч']: гуанчи, ольчи/ульчи
4) заднеязычным
[к']: буки, виски, дудуки, кабуки, кавасаки, крепки, маки, сулки, хаки, чероки, янки
[г']: буги/буги-вуги, грогги, саранги, чанги, эйлаги
[х']: маратхи, сандхи, синдхи

II. Сочетание ударной финали *-и* с сонорным согласным

1) губным
[м']: агами, амми, боржоми, брахми, гоми, гумми, ками, коми,
3) переднеязычным небно-зубным
[р']: аллегри, бери-бери, бихариенри, гикори, давлури, девана-

комми, ларгеми, рами, саами, салями, суоми, татами, томми, хоруми, цунами, шимми

2) переднеязычным зубным [н']: афгани, бикини, гварани/гуарани, гурджаани, дзанни, кангани, каршуни, кипиани, кокни, лаццарони/ладзарони, маркони, мацони, махагони, мукузани, нани, пани, пенни, пони, сулугуни, телиани, хиндустани, чобони, мартини

[л']: алкали, бенгали, брокколи, гризли, дивали, доли, кали, картули, колли, крамбамбули, криманчули, кули, лапилли, негрелли, непали, пали, перхули, ралли (авторалли, моторалли), сомали, суахили, ткемали, урмули, халигали, хорули, цинандали, чахохбили

гари, джентри, индри, кашмири, кири, колибри, кондотьери, кросс-коунтри, лори, маори, мари, мегари/мехари, мтиулури, мцыри, пандури, пери, пифферари, сазандари, саламури, сари, сафари, соянари, сарубери, ствири, тари, тори, форестьери, харакири, чианури, чонгури, чунири, шаири, шаривари, шерри

4) среднеязычным [j]: апараи, брагун, вайшьи, варангон, гильзаи, камиларои, мабуи, массаи, таи, хавасупаи

Безударной финали *-и* предшествует 19 согласных: 16 мягких, 3 твердых.

Конечный безударный [и] (орф. *и*) сочетается с шумными мягкими губными [п'], [б'], [в'], переднеязычными зубными [т'], [д'], [с'], [з'], небно-зубным [ч'], заднеязычными [к'], [г'], [х'], сонорным губным [м'], переднеязычными [н'], [л'], [р'], среднеязычным [j]. Перечисленные конечные сочетания есть у склоняемых существительных.

Двенадцать сочетаний конечного безударного [и] с предшествующим согласным, общие для склоняемых и несклоняемых существительных, функционально нагружены у склоняемых существительных: [т'и], [д'и], [с'и], [з'и], [ч'и], [к'и], [г'и], [х'и], [н'и], [л'и], [р'и], [jи]. Функционально ненагружены у склоняемых существительных сочетания [б'и], [м'и]: [б'и] — у непроизводных и производных склоняемых существительных, [м'и] — у производных. На грани функционально нагруженных и ненагруженных сочетаний находятся сочетания [п'и], [в'и].

Конечный безударный [ы] (орф. *и*) сочетается у несклоняемых существительных с зубной аффрикатой [ц], шипящим [ж], эти сочетания зафиксированы в единичных малоупотребительных словах: *нацы*, *тахтаджы*, *тораджы*. Сочетание [жы] функционально нагружено у склоняемых существительных — производных и непроизводных, сочетание [цы] — у производных склоняемых существительных.

Среди несклоняемых существительных с безударной финалью *-и* преобладают непроизводные, простые существительные. Но есть несколько слов, обладающих сложной, членимой структурой: это, во-первых, сложные слова, сохраняющие словообразовательную структуру языка-источника, одни из них образованы

повтором корня без изменения или с минимальным изменением его облика (*бери-бери*, *буги-вуги*, *диви-диви*, *киви-киви*, *хали-гали*), другие состоят из двух разных корней (*казус белли*, *кросс-кунтри*), во-вторых, сложные слова, возникшие по модели (или отвечающие модели) сложных слов русского языка: *авторалли*, *моторалли*, и, в-третьих, членимые отыменные образования: *мафиози* (*мафия*), *пани* (*пан*), *пенни* (*пенс*), *пифферари* (*пифферо*), *хиндустани* (*хинди*). Но все эти членимые существительные не противостоят по своим конечным сочетаниям нечленимым несклоняемым словам и поэтому рассматриваются вместе с ними.

Соотношение конечных сочетаний структуры tv несклоняемых и склоняемых существительных представлено в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Сопоставительная таблица сочетаний конечного [и] несклоняемых и склоняемых существительных с предшествующим мягким согласным

Согласные	Финаль -и		Флексия -и			
			ударная		безударная	
	ударения	безударения	в непроизводных словах	в производных словах	в непроизводных словах	в производных словах
п'	+	+	–	–	+	+
б'	+	+	–	–	+	+
ф'	+	–	–	–	+	–
в'	+	+	+	–	+	+
т'	+	+	+	+	+ *	+ *
д'	+	+	–	+	+ *	+
с'	+	+	+	–	+ *	+ *
з'	+	+	+	–	+ *	+
ч'	+	+	+ *	+ *	+ *	+ *
щ'	–	–	+ *	–	+ *	+ *
ж'	–	–	+	–	+	+
к'	+	+	+ *	+ *	+ *	+ *
г'	+	+	+ *	+ *	+ *	+ *
х'	–	+	+ *	+ *	+	+ *
м'	+	+	–	–	–	+
н'	+	+	+ *	+ *	+ *	+ *
л'	+	+	+ *	+ *	+ *	+ *
р'	+	+	+ *	+ *	+ *	+ *
j	+	+	+	+	+	+ *

* Звездочкой отмечены функционально нагруженные сочетания

Сопоставительный анализ несклоняемых существительных с финалью *-и* и склоняемых существительных с флексией *-и* по конечным сочетаниям структуры tv позволил разделить несклоняемые существительные с финалью *-и* на две группы в зависимости от наличия—отсутствия морфонологических ограничений на склоняемость.

Таблица 2

Сопоставительная таблица сочетаний конечного [ы] несклоняемых и склоняемых существительных с предшествующим твердым согласным

Согласный	Финаль -и		Флексия -и			
			ударная		безударная	
	ударная	безударная	в непроизводных словах	в производных словах	в непроизводных словах	в производных словах
п	—	—	+ *	—	+ *	+ *
б	—	—	+ *	—	+ *	+
ф	—	—	+ *	—	+ *	—
в	—	—	+ *	—	+ *	+ *
т	+	—	+ *	+	+ *	+ *
д	—	—	+ *	+	+ *	+ *
с	—	—	+ *	—	+ *	+ *
з	+	—	+ *	—	+ *	+ *
ц	—	+	+ *	+ *	+	+ *
ш	+	+	+ *	+ *	+ *	+ *
ж	+	+	+ *	+ *	+ *	+ *
к	—	—	—	—	—	—
г	—	—	—	—	—	—
х	+	—	—	—	—	—
м	—	—	+ *	—	+ *	+ *
н	—	—	+ *	+ *	+ *	+ *
л	—	—	+ *	+ *	+ *	+ *
р	—	—	+ *	+ *	+ *	+ *

* Звездочкой отмечены функционально нагруженные сочетания.

В первую группу собственно несклоняемых существительных вошли несклоняемые существительные с конечными сочетаниями ударного [и́] с предшествующими мягкими губными [п'], [б'], [ф'], [м'] и ударного [ы́] с твердым заднеязычным [х].

Конечные сочетания [п'и́], [б'и́], [ф'и́], [м'и́], [хы́], отсутствующие у склоняемых существительных, — морфонологические показатели несклоняемых слов.

Большинство несклоняемых существительных с конечными ударными и безударными [и́], [и], [ы́], [ы] вошло во вторую группу. По структуре конечных сочетаний и конкретным реализациям этой структуры несклоняемые существительные второй группы ничем не отличаются от склоняемых существительных. Несклоняемые существительные этой группы при отсутствии запретов на склоняемость других системных уровней, помимо морфонологического, фактически являются потенциально склоняемыми. Их потенциальная склоняемость чаще всего реализуется в ненормативной речи, причем наибольшая вероятность стать склоняемыми есть у несклоняемых существительных с конечными сочетаниями, аналогичными функционально нагруженным конечным сочетаниям склоняемых существительных.

Приведем несколько примеров на склоняемость существительных с финалью -и в ненормативной речи.

Янки: Смех, Евфимий Васильевич, — сказал Борзин, японцы ищут *янков* с клипера. Переполох, все разбежались по сопкам (Задорнов. Хэда). Я один там был, в барах ел и пил. Попивал в барах с *янками* джин (Маяковский. 150 000 000. Поэма).

Жалюзи: Но в магазинах чего только нет: *жалюзей*, правда, нет (В. Шукшин. Постскриптум). И вот ты подходишь, поворачиваешь за шишечку влево, и в комнате такой полумрак. Поворачиваешь вправо — опять светло. А все дело в *жалюзях*, которые в окне (там же). Под наружной оболочкой размещается внутренняя прокладка из алюминиевых *жалюзей*, которые автоматически управляют доступом естественного света (Англия, 2, 1979).

Иваси: Двое — учительница арифметики и машинист локомотива — познакомились в очереди за *ивасями* (Крокодил, 18, 1981).

Драпри: . . . и бедный Ваня-грамотей склоняет уж *драпри-драпрей* (Демьян Бедный).

Склоняемая форма существительного с финалью *-и* не всегда свидетельствует о ненормативном употреблении данного слова, она может выступать и как склоняемый нормативный вариант несклоняемого слова. Склоняемые варианты некоторых существительных с финалью *-и* зафиксированы словарями: *манси*, мн. *-ей* (СУ, ОС—1), *маратхи*, *-ов* (МАС), *спаги*, *-ов* (БАС).

Пример на текстовую употребительность нормативных склоняемых вариантов существительных с финалью *-и*.

Вайшьи: Согласно предположению выдающегося предшественника семиотического подхода к этнологии А. М. Хокарта, ритуальные функции существовали (а отчасти и сохраняются до сих пор) у тех каст, которые все вместе некогда входили в социальный ранг ремесленников, обслуживавший в ритуалах другие социальные ранги — брахманов, кшатриев, *вайшьев* (Вяч. Вс. Иванов. Очерки по истории семиотики в СССР).

Гильзаи: И хотя персидскому шаху Надиру Афшаху удалось впоследствии сокрушить *гильзаев*, однако у себя на родине, от Кандагара до Газни, они продолжали оставаться самостоятельными (Вокруг света, 6, 1977).

Масаи: Нет поныне соляной проблемы и у африканского племени *масаев* — следствие употребления в пищу домашнего скота (Вокруг света, 8, 1978).

ЛИТЕРАТУРА

1. *Аванесов Р. И.* Русское литературное произношение. М., 1972.
2. *Грудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П.* Грамматическая правильность русской речи. М., 1976.
3. *Зализняк А. А.* Грамматический словарь русского языка. М., 1977.
4. *Иванов В. В.* О функциональной нагрузке согласных в древнерусском языке X—начала XI в. — Вестник МГУ. Филология. М., 1966, № 4.

5. *Лопатин В. В.* Русская словообразовательная морфемика. М., 1977.
6. Обратный словарь русского языка. М., 1974.
7. *Ожегов С. И.* Словарь русского языка, 9-е изд. М., 1972.
8. Орфографический словарь русского языка, 13 изд. М., 1974.
9. *Панов М. В.* Современный русский язык. Фонетика. М., 1979.
10. *Реформатский А. А.* Очерки по фонологии, морфонологии и морфологии. М., 1979.
11. *Розенталь Д. Э., Теленкова М. А.* Словарь трудностей русского языка. М., 1976.
12. Русская грамматика, I. М., 1980.
13. Словарь современного русского литературного языка, т. I—XVII. М.—Л., 1948—1964.
14. Словарь русского языка, т. I—IV. М., 1957—1961.
15. Словарь ударений для работников радио и телевидения. М., 1967.
16. *Смирнова Г. А.* Особенности фонологической и морфонологической структуры несклоняемых существительных. I. — В сб.: Проблемы структурной лингвистики. 1980.
17. Толковый словарь русского языка, под ред. Д. Н. Ушакова. т. I—IV. М., 1935—1940.
18. Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка. Словарь—справочник. Л., 1973.
19. *Трубецкой Н. С.* Некоторые соображения относительно морфонологии. — В сб.: Пражский лингвистический кружок. М., 1967.

Л. И. ВАСИЛЕВСКАЯ

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИМЕНИ СОБСТВЕННОГО (МЕТОНИМИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОС У АНТРОПОНИМОВ)

Метонимический перенос в сфере коннотативно окрашенных собственных имен справедливо относится к числу явлений, определяющихся прежде всего процессами семантико-синтаксического, шире — контекстного характера (Арутюнова 1979). Вместе с тем остается актуальной задача выявления и систематизации тех ограничений лексико-семантического, синтаксического и контекстного характера, которые являются необходимым условием метонимического замещения в сфере собственного имени. Представляется, что подход к решению данной задачи с синтаксических позиций позволит также в известной степени уточнить существующие представления о функциональной специфике собственного имени.

В настоящей статье будет продолжено начатое серией работ автора [1] описание синтаксических особенностей антропонимов, в данном случае — личных собственных имен в метонимическом

---

[1] ... Лингвистика и поэтика. М., 1979; Проблемы структурной лингви... структурной лингвистики. 1980. М., 1982.

значении. Их функционирование в словосочетании и предло- определяется рядом факторов семантического и позиционного характера. Попытаемся показать это на примере наиболее распространенного вида метонимического замещения «автор/его произведение(я), творчество, метод, стиль. . .».

Демонстрируя этот вид метонимического переноса, обычно ограничиваются незначительным перечнем аналогов словосочетаний, часто только с переходными глаголами типа *читать Пушкина*, *любить Островского*, *смотреть Сурикова*, *слушать Баха* и т. п., не рассматривая, как правило, ограничения семантического и синтаксического плана, которые здесь возникают. Вместе с тем представляется, что антропонимы в метонимическом значении могут встречаться не только в синтаксической модели словосочетания, но и в других синтаксических условиях, в том числе — за рамками подобной сочетаемости. Значение антропонима при метонимическом сокращении «автор/его произведение (я), творчество. . .» не сводится лишь к усилению объектных компонентов в значении по сравнению с субъектными, которые более естественны для личных собственных имен в прямом значении, а обусловлено разнообразными причинами семантического и синтаксического характера. Кроме того, у личных собственных имен в метонимическом употреблении могут появляться некоторые синкретические значения, что вполне объяснимо, как представляется, с точки зрения категориальной семантики самой метонимии.

Рассмотрим три группы факторов, определяющих функционирование антропонимов в метонимическом значении: типы глагольных и именных словосочетаний с именами собственными в метонимическом значении; типы предложно-падежных форм антропонимов; типы предложений с антропонимами в метонимическом значении.

I. Метонимически сокращенные употребления с антропонимами отмечаются в сочетаниях с достаточно широким кругом глаголов, разбивающихся на ряд тематических групп.

Это прежде всего группа глаголов, обозначающих к о н к р е т н ы е д е й с т в и я некоторого лица или группы лиц над материальной стороной художественного произведения. В данном случае под общим словом «произведение» может подразумеваться вполне конкретная книга (экземпляр книги), собрание книг, картина, скульптура и т. д. К этой группе относятся глаголы типа: *иметь*, *брать*, *взять (с собой)*, *(от)дать*, *возвратить*, *забыть*, *получить*, *выписать*, *послать*, *отослать*, *прислать*, *выслать*, *держать (у себя, в руках)*, *достать*, *купить*, *продать*, *найти*, *искать*, *принести*, *нести*, *(по) носить (с собой)*, *направить*, *отправить*, *приобрести*, *просить* и др.: Ученый смотрит на часы и берется за книгу. — Так вы *дадите мне Гоголя?* — спрашивает Иван Матвеич, поднимаясь. — Дам, дам. (Чехов, Иван Матвеич); Готенрот у меня есть, *Масперо* я могу *достать*

(Лесков); *Приобрести Гиббона* в собственность — давняя мечта моя (Горький)[2].

К данной группе примыкают сочетания антропонимов в метонимическом значении и глаголов, обозначающих деятельность по изданию и производству художественных произведений. Это глаголы типа: *издавать, переиздавать, иллюстрировать, оформлять, реставрировать, печатать, перепечатать* и др.: *Печатаешь* ли ты *Демишеля*, которого перевели твои студенты? (Гоголь); Новый Вольф предпочел *издать Боборыкина* (Лесков); Ему предложил «Русский театр» *иллюстрировать Достоевского*. . . (Чехов).

Глаголы, с которыми сочетаются личные собственные имена в метонимическом значении, могут выражать эмоциональное отношение субъекта к воспринимаемому явлению искусства, состояние субъекта, вызванное подобным восприятием: *любить, нравиться, воспринимать, вдохновиться, восторгаться, влюбиться в . . ., благоговеть перед . . ., восхищаться, пристраститься к . . ., увлечься, почувствовать, интересоваться, плакать над . . .* и т. д.; *Восторгается Левитаном, любит Архипова* и немножко напоминает их то тем, то иным штрихом своих картин (Горький); *Влюблена в Толстого* по уши и поэтому не терпит современной литературы (Чехов); Когда-то все мы *плакали над страницами Гюго* (А. Н. Толстой).

Антропонимы в метонимическом употреблении могут сочетаться с глаголами, выражающими различные виды мыслительной деятельности субъекта, связанной с его работой над художественным произведением (произведениями) данного автора: *анализировать, познакомиться с . . ., читать, работать над . . ., доработать, переводить, заглянуть в . . ., заучивать, знать, заняться, изучать, (за) учить (наизусть), использовать, обращаться к . . ., опираться на . . ., открывать, перелистывать, пародировать, подражать, проводить время за . . ., разбирать, редактировать, рецензировать, сокращать, списывать с . . ., ссылаться на . . ., цитировать, штудировать, воспитываться на . . .* и др.; Впрочем, если ты *займешься Гереном*, чтобы развить и переделать его по-своему, — это другое дело (Гоголь); Пятницкий все еще *жует Винниченка* (Горький); *Бенедиктова заучивали наизусть* (Тургенев); За границей большой интерес к советской литературе. Хорошо *знают Шолохова, Ильина* (А. Н. Толстой); *Изучайте Гоголя, Толстого, Лескова, Чехова, Бунина* . . . Как можно в работе с этим материалом *опираться на Стивенсона* и *на Дюма* (Горький); Он мне на ночь *переводил Лонгфелло*, без которого он не кончал дня (Лесков); *Ссылаюсь . . . на Даля, Сахарова* (Салтыков-Щедрин).

[2] Приводимые в работе иллюстрации подобраны не только из художественных произведений названных авторов, но и из их публицистики и эпистолярного наследия.

Следующая группа глаголов, с которыми сочетаются личные собственные имена в метонимическом употреблении, включает в себя глаголы, выражающие действия субъекта по художественному воплощению произведений, обозначенных именем их автора: *декламировать, читать* (со сцены), *играть, разыгрывать, исполнять, интерпретировать, (ис) толковать, (по) ставить, взять, принять* (в репертуар), *давать* (в театре) (устар.) и др.: Когда хотели отказаться от драматургов, поставлявших свои пьесы Малому театру, они, конечно, хорошо сделали, что *взяли Чехова* (Мейерхольд); Я скверно *разыгрываю Бетховена* (Л. Толстой); Когда *дают Шекспира*, барон находится в самом возбужденном состоянии (Чехов); На заводе *исполняют Баха* (Шагинян).

Для всех выделенных групп, кроме, пожалуй, первой группы, параллельно глагольным сочетаниям с антропонимами в метонимическом значении отмечаются сочетания с существительными, т. е. возможны и аналогии именных словосочетаний с личными собственными именами в метонимическом употреблении. Ср. *читать Чехова — чтение Чехова, исполнять Метерлинка — исполнение Метерлинка, любить Пушкина — любовь к Пушкину, комментировать Шекспира — комментарий к Шекспиру, иллюстрировать Достоевского — иллюстрации к Достоевскому* и т. п.

Приведенный перечень глагольных и именных сочетаний с антропонимами в метонимическом значении «произведение (я) автора» в том случае, когда имеется в виду одно или несколько вполне конкретных произведений того или иного автора, можно дополнить словосочетаниями с именами собственными, заключающими в себе перенос имени автора на все его творчество в целом.

Это могут быть сочетания с ментальными глаголами типа *думать о ... помнить (вспоминать), забыть, представлять себе, иметь (понятие) о ..., отвергать, допускать* и др., которые предполагают в качестве объекта анализа не отдельные произведения данного автора, а скорее — все его творчество: Если бы удалось написать то, что *думаю о Гоголе* ... Больше музыкант тот, кто *отвергает и Бетховена*, чем тот, кто *допускает Вагнера* ... Автор *не имеет понятия* о всей работе лучших душ и умов человеческих по разрешению вопросов жизни: *о Конфуции, Лао-Тсе* [Лао Цзы], *Руссо, Вольтере, Канте, Лихтенберге, Шопенгауере, Эмерсоне* и других ... *Я вспоминал о Пушкине* и о Вашем понимании его (Л. Толстой) [3].

Другая группа сочетаний — это сочетания с коммуникативными предикатами *(за)(по)говорить о ..., (по)беседовать о ..., рассказать о ...* и др.: *Поговорить о Шекс-*

[3] Проводимые здесь и далее употребления не всегда воспринимаются как чистая метонимия, однако, как кажется, без анализа таких переходных случаев представление о функциональной специфике метонимического замещения у собственных имен было бы неполным.

пире, *о Гете* и вообще о драме очень хочется (Л. Толстой); Хотелось бы *побеседовать* с Вами *о Толстом* и о целом ряде литературных явлений последнего времени . . . (Горький).

К данной группе семантически примыкают сочетания с существительными, выражающими материализованный результат анализа творчества того или иного художника: *заметка о . . .*, *исследование о . . .*, *лекция о . . .*, *статья о . . .*, *спецкурс по . . .*, *очерк о . . .*, *диссертация о . . .* и др.: Я на днях послал маленькую *заметочку о Тургеневе* (Лесков); Я прошу у читателя позволения привести в этом месте отрывок из *лекции о Пушкине* (Тургенев); По соглашению с Елисеевым взялся написать *статьи о Грановском и о Феофане Прокоповиче* (Салтыков-Щедрин); Было бы хорошо, если бы Вы дали *очерк о К. Э. Циолковском*, т. е. о всех его работах . . . (Горький).

Отмечаются сочетания личных собственных имен в метонимическом значении «творчество автора» с эмотивными предикатами, однако преимущественно выраженными отглагольными существительными типа: *увлечение*, *интерес к . . .*, *отношение к . . .* и др.: В. И. Немирович-Данченко разжег в нас если не *увлечение Ибсеном*, то интерес к нему . . . (Станиславский, Моя жизнь в искусстве).

Сочетание имен собственных в метонимическом употреблении с оценочными предикатами, как правило, предполагает осмысление, оценку всего творчества того или иного художника. Часто это именные сочетания *оценка Пушкина*, *переоценка Загоскина*, *значение Гоголя* и др.: Извращение понятий, выражаемое . . . *в переоценке Шекспира*, служит признаком этого (Л. Толстой); Никто еще не пытался разъяснить русской публике *значение Гоголя* (Тургенев).

Отмечаются сочетания имен собственных в метонимическом значении также с существительными *влияние*, *воздействие*, *развитие* и др., уточняющие место творчества того или иного художника в мировой литературе и искусстве прошлого или настоящего. В некоторых случаях проявляется синкретизм метонимических значений «произведение (я) автора» и «творчество автора». Точная дифференциация этих употреблений возможна в более широком контексте. Ср.: *Влияние Щедрина* в моих сказках ощутимо (Горький); *Воздействие Тургенева* на нашу литературу было . . . хорошее (Л. Толстой).

Таким образом, в большинстве приведенных сочетаний личное собственное имя в метонимическом значении является семантическим и синтаксическим объектом при соответствующих предикатах, обозначающих действие, восприятие, состояние (некоторого субъекта). Однозначное понимание их значения и семантики собственного имени возможно уже в рамках словосочетания без необходимости обращения ко всему предложению или более широкому контексту. Представляется поэтому, что приведенные упо-

требления можно рассматривать как словосочетания собственных имен в метонимическом значении с глаголами и отглагольными существительными [4].

II. Рассмотрим основные предложно-падежные формы антропонимов в метонимическом значении «произведение (я) автора».

«*У* — Род падеж»: *читать у Пушкина*, *найти у Достоевского*, *посмотреть у Даля*, *встречать у Мольера* и т. п. в значении источника некоторого знания, информации: Понимание жизни и истории, передовые идеи они *черпали* в нашей классической литературе *у Пушкина*, *Тургенева*, *Белинского*, *Чернышевского*, *Добролюбова*, *Герцена*, *Л. Толстого*, *Щедрина*, *Островского*, *Горького* (А. Н. Толстой); *Посмотрите* диалог *у Лескова*, *Чехова*, *Бунина*, — не говорю о Тургеневе, о Льве Толстом . . . (Горький).

«*У* — Род. падеж» с объектным значением: *У Сенеки* встречаю много прекрасных мест о «неделании» (Лесков); *У Крамского* в пустыне — лучший Христос, которого я знаю (Л. Толстой); Сравнения никогда не бывают натянуты и холодны *у Тютчева* (Тургенев); *У Шиллера* действующие персонажи . . . не живые люди, но — носители идей (А. Н. Толстой); Но *у Пушкина* внешняя фабула проста, а внешнего действия почти нет. Все заключается во внутреннем действии (Станиславский, Моя жизнь в искусстве).

Предложно-падежная форма «*у* — Род. падеж», обычно у личных собственных имен имеющая субъектное значение, у антропонимов в метонимическом употреблении приобретает объектный смысл, может иметь значение источника некоторой информации, знания. Предложно-падежная форма «*у* — Род. падеж» вместе с тем в подобных употреблениях не полностью теряет субъектную окраску. Это прослеживается особенно явственно в предложениях при появлении дополнительного компонента, отсылающего к произведениям автора: [Это] говорит дворецкий *у Толстого в «Анне Карениной»* (Мамин-Сибиряк).

---

[4] В случаях, когда значение словосочетания не может быть понято однозначно в рамках предложения естественно рассматривать такие употребления, как контекстно зависимые. Кроме того, в условиях контекста личные собственные имена в метонимическом употреблении могут также приобретать некоторые дополнительные смысловые оттенки, при этом центральным компонентом значения продолжает оставаться метонимический перенос «автор/его произведение (я)». В таком случае целесообразно говорить не о двойной или более, чем двойной, метонимизации, а скорее — о конситуативно обусловленных употреблениях, а следовательно, по-видимому, о разговорном характере подобных фраз:

Я написал, чтоб он занялся Гонкуром (переводом произведений Гонкура) (Салтыков-Щедрин); О Голубинском никому не поверю. Я читаю его страстно . . . (Лесков); Ему нужнее. . . Цицерона учиться понимать жизнь других людей (Л. Толстой); Но вместо Ильина мне приходится обратиться к сухой прозе ученого доклада (Шагинян) и т. д. (о конситуативной обусловленности метонимических замен как приемте разговорной речи см.: Русская разговорная речь, 1973, с. 427—433).

Предложно-падежная форма «*в* — Предл. падеж» с объектным значением: *восхищать в . . ., увлекать в . . ., заметить в . . ., ценить в . . .* и др.: Ему это нужно было для создания того настроения, которое он так *ценил в «грубом» Вальтер-Скотте* и которым полны и «Онегин» и «Медный всадник» . . . (Мейерхольд); Забот такого рода мы в *Шукшине не заметили* . . . (Залыгин).

Ср. с конструкциями, в которых предложно-падежная форма «*в* — Предл. падеж» у метонимически окрашенных личных собственных имен имеет значение «творчество автора»: *Во Льве Толстом* творческая народная стихия прорастает мощным кряжем (А. Н. Толстой); По-моему, главное *в Достоевском* — поиск истины в человеке и поиск бога в мире и в себе (Бондарев, Берег).

«*Из* — Род. падеж» со значением источника информации: *черпать из . . ., выписывать из . . ., цитировать из . . .* и именные сочетания — *выписка из . . ., цитата из . . .* и др.; Ваши *выписки из Гюйо* мне очень понравились (Л. Толстой); . . . наше время щедро *черпает из Блейка*, подчас даже не указывая источников (Шагинян).

У антропонимов в метонимическом употреблении «творчество автора» предложно-падежная форма «*из* — Род. падеж» может приобретать значение источника некоторого влияния, воздействия: То обстоятельство, что *из Листа и Шопена* вместе вырос Скрябин, один из современнейших музыкантов, дает основание полагать, что рафинированная музыка буржуазии многим обязана Шопену и Листу (Мейерхольд).

«*Из* — Род. падеж» с объектным значением: (*про*) *декламировать из . . ., переводить из . . .* и др., а также именные сочетания — *переводы из . . ., места из . . ., отрывок из . . .*: Он стал на колени и *продекламировал* двадцать стихов *из Овидия* (Чехов); . . . Фет, *переводивший* довольно много *из Гейне*, относится к нему с какой-то помещичьей или офицерской неуклюжестью, которая проявляется почти во всех его переводах . . . (Блок); Свою поэтическую деятельность Акакий начал с *переводов из Лермонтова . . .* (А. Н. Толстой).

«*От* — Род. падеж» со значением источника влияния, воздействия: Не по стопам Пушкина надлежало Языкову обрабатывать и округлять стих свой . . . И скорей *от Державина*, чем *от Пушкина* должен был он засветить светильник свой (Гоголь).

«*К* — Дат. падеж» с целевым значением: *тянуться к . . ., стремиться к . . .*, а также *тяга, стремление к . . .*: . . . *с тягой к Шекспиру, Мольеру, Пушкину, Шиллеру* . . . (Мейерхольд).

«*К* — Дат. падеж» со значением исходного целого, к которому прибавляется некоторая часть (значение назначения): *комментарий к Шекспиру, предисловие к Шопенгауэру, поправки к Диккенсу* и т. д.: По случаю *предисловия к Мопассану* я достал книги по эстетике (Л. Толстой); Но чтоб получить «крепкую историю» из конгломерата «Записок», Лэнги вынужден был, правда тонко и

незаметно, внести существенные «*редакционные поправки*» к *Диккенсу* (Шагинян).

«*По* — Дат. падеж» со значением источника некоторого знания, информации: Я . . . знаю его [Египет] . . . *по Масперо и по Эберсу* (Лесков); Как изучать русский язык? *По Бодуэну де Куртене*, что ли? (А. Н. Толстой); Учиться нужно *по Пушкину*, а от того, кто скажет Вам, что Пушкин устарел, идите прочь! (Горький).

Предложно-падежные формы «*кроме* — Род. падеж», «*включая* — Вин. падеж», «*исключая* — Вин. падеж», «*без* — Род. падеж» и др. со значением включения/исключения: Я не знаю лучше книги изо всей новой литературы, *включая Пушкина* (Л. Толстой); [Драмы], *кроме Островского*, принимает неохотно (Салтыков-Щедрин); *Кроме Хомякова и Самарина*, нечего в руки взять (Лесков).

В сочетании с предлогами, передающими причинное значение, антропонимы в метонимическом употреблении, как, впрочем, и личные собственные имена в прямом значении (Васплевская 1982, с. 102) выступают как примета разговорного характера всей конструкции и не принадлежат, по-видимому, к явлениям кодифицированного литературного языка: Журнал закроют *из-за Демметра* (статьи Демметра) (Салтыков-Щедрин).

Это справедливо, как представляется, и для имен собственных в метонимическом употреблении с причинно-целевым значением (предлоги *для, ради, во имя. . .*): Ему нужно спасти Шекспира от поругания, а *для Шекспира* он на все готов: хоть на сто тысяч скандалов (Чехов).

Личные собственные имена в метонимическом употреблении, таким образом, совмещают в себе значения, с одной стороны, авторства, с другой стороны, материального результата деятельности некоторого лица, т. е. субъектно и объектно ориентированные компоненты значения, поэтому перечень семантико-синтаксических употреблений (предложно-падежных форм антропонимов) как бы охватывает эти два аспекта их семантики. Предложно-падежные формы антропонимов в метонимическом употреблении могут приобретать значения источника информации, влияния, значения части/целого, включения/исключения, добавления, объекта восприятия, анализа и т. п., что определяется прежде всего семантикой метонимически окрашенных собственных имен.

III. В предложении личное собственное имя как замещающее произведения называемого автора может занимать различные синтаксические позиции и выполнять разнообразные семантико-синтаксические функции.

Оно может выполнять роль предметного субъекта в предложениях двухкомпонентной модели: *Пушкин* не мог в то время стать достоянием масс . . . (А. Н. Толстой); Для этой публики *Толстой и Тургенев* слишком роскошны, аристократичны, немножко чужды

и неудобоваримы (Чехов); *Юлий Цезарь* помог Стендалю, видевшему бесчисленные античные памятники, оставленные римскими воинами на французской земле, очень близко, очень придвинуто к его времени почувствовать далекое прошлое (Шагинян).

В двусоставных предложениях именной модели антропоним в позиции подлежащего более естествен в тех случаях, когда в сфере метонимического переноса оказываются не отдельные произведения того или иного автора, а все его творчество в целом: В русском искусстве *Шаляпин — эпоха*, как Пушкин (Горький); Но все равно единственно, что спасает меня от этого ощущения гоголевской безмерности и бесконечности почти в математическом смысле, — так это история русской литературы. . ., в которой даже *Гоголь — не целое, а только часть целого . . . Гоголь был яркой попыткой литературы* понять глазами, виденьем, природным и вполне естественным способом все, что нужно и необходимо для человечества (Залыгин).

Рядом с именем собственным может быть слово или словосочетание, уточняющее значение метонимического сокращения: *Ведь Пушкин . . . каждая его фраза* — тема для целого произведения или по крайней мере для целого акта (Станиславский, Моя жизнь в искусстве); *Искусство Толстого, а лучше сам Толстой* — это могущественное устремление человека проникнуть в самую глубину своего существования . . . (Залыгин).

Собственные имена в метонимическом значении встречаются в пассивных конструкциях (предложения страдательного залога, с краткими страдательными причастиями в позиции сказуемого и др.). Ср.: *Франц Кафка ценен.* Чем объяснить? Недавний кумир Запада (Бондарев, Берег); Довольно идеализма. *Шиллер мог быть выдуман* при керосиновых лампах . . . (А. Н. Толстой); *Гоголь . . . переводится . . .* (Залыгин).

Значение «творчество автора» при метонимическом переносе у личных собственных имен может быть конкретизировано в отношении стиля, манеры, художественного метода того или иного автора, языка его произведений, различных элементов его поэтики, идейного содержания произведения и т. д. Реализация этих значений у личных собственных имен в метонимическом употреблении может происходить, в частности, в предложениях следующей структуры:

1) С предикатами — *чувствоваться, слышаться, напоминать, не миновать, впадать в (тон), упразднить, сблизить* и др. Приведем отрывки из писем М. Горького:

В языке *слышится* то *Гоголь* «Миргорода», то *А. Белый*, а чаще всего — Пильняк . . .; Ваш очерк слишком *напоминает Горбунова*; «Метель» *напоминает Верхарна* в переводах Брюсова, «Привет» — *Блока*, местами *чувствуется Бальмонт*; . . . Местами вы *впадаете в тон Леонида Андреева*. Ср. также: Говорят, что Мейерхольд совершил кощунство потому, что удалил тот смех, по кото-

рому все вдруг так стосковались, и в смехе этом *упразднил* самого *Гоголя!* . . . Лиза — хохотушка, здоровая, без пяти минут кормилица . . . Субретку играть нельзя, *впали бы в Мольера* (Мейерхольд); Именно реализм Толстого привлекал Ленина, и все выдающиеся деятели общественной мысли во всем мире после Толстого *не миновали Толстого* . . . (Залыгин).

2) Синтаксическая конструкция односоставного предложения с именем собственным в качестве главного компонента в сочетании с количественным определителем, квантификатором. Модель такого предложения имеет вид:

[Квантификатор — Род. падеж антропонима в метонимическом знач.]

Мережковский написал драму «Павел I» — и прескверно вышло. Никакого Павла нет, а есть *немного «Федора» Толстого и множество Дмитрия Мережковского* (Горький); . . . эклектизм является «обязательным» для каждого периферийного спектакля. *Немного МХАТа, немного Мейерхольда, немного Вахтангова, немного Охлопкова* и т. д. (Мейерхольд).

3) Появление в предложении предложно-падежной формы личного собственного имени в метонимическом значении с предлогами и предложными сочетаниями *под, от, по, в духе, в манере, в стиле, под влиянием* и т. п.

«*Под* — Вин. падеж имени»: Он пишет чуточку *под Ремизова* (Горький); Так противны все эти русские драмы *под Ибсена, Пшибышевского, Метерлинка* (Мейерхольд).

«*От* — Род. падеж имени»: Этот Ваш голос идет *от . . . А. Франса*; «Чемодан, наполненный дьяволами» — нечто *от В. Гюго*, и плохо (Горький).

«*По* — Дат. падеж имени»: Все это, все, что на сцене, рядом с ней, за нею, впереди нее, — уже не сыграть *по Шекспиру, по Островскому*, даже *по Толстому* . . . (Залыгин).

«*В духе, в манере, в стиле* . . . — Род. падеж имени»: И стремление большей части публики повеселиться в театриках . . . надо рассматривать как реакцию против томительно-скучных пьес той «современной» русской драматургии, которая строит свои пьесы *в манере Гауптмана, Ибсена, Чехова*; Хорошо было бы, если бы Фамусов выступал в пьесе с сицилийским темпераментом, *в духе какого-нибудь Ди Грассо* (Мейерхольд).

4) В предложениях двусоставной модели, где в позиции подлежащего — личное собственное имя в метонимическом употреблении, а в позиции сказуемого — краткое прилагательное, реже причастие.

В качестве примера подобных употреблений рассмотрим несколько отрывков из произведений С. Залыгина: Да, *Ножеф Дарваш социален и традиционен*, однако далеко *не консервативен* . . .; И так же, как природна сама природа, так *природен и*

Толстой; Гоголь был историчен уже в современности . . .; Трудно обнаружить у кого-то еще лиризм той же природы, разве только у Гомера, а позже — у Байрона, но *Гомер был мифологичен*, и этим все объясняется, а Байрон вовсе не лишен был интимности. Ср. также: *Сомерсет Моэм классичен*, речь его течет без суеты и фокусов, он весь в русле XIX века . . . (Шагинян).

Перечень приведенных примеров употребления метонимически окрашенных антропонимов в предложении можно, вероятно, продолжить. Важно подчеркнуть, что и на уровне предложения функционирование личных собственных имен в метонимическом значении сопряжено с целым рядом ограничений семантического и позиционного характера.

IV. Метонимия в сфере личного собственного имени ограничена определенными условиями семантико-синтаксического характера. Метонимическое значение у коннотативно окрашенных антропонимов появляется на основе их употребления в составе словосочетания или предложения. Контекст словосочетания или предложения выступает в качестве фактора, регулирующего нормативность метонимического переноса. В том случае, когда этот контекст не достаточен для целей метонимической идентификации, метонимический перенос может выступать как явление, определяемое условиями иного, в том числе ситуативного или функционально-стилистического плана (Некрасова 1975).

ЛИТЕРАТУРА

Арутюнова Н. Д. Метонимия. — Энциклопедия «Русский язык». М., 1979.
Василевская Л. Н. Синтаксические возможности имени собственного. I. — В кн.: Лингвистика и поэтика. М., Наука, 1979.
Василевская Л. Н. Синтаксические возможности имени собственного. II. — В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1978. М., Наука, 1981.
Василевская Л. Н. Синтаксические возможности имени собственного. III. — В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1980. М., Наука, 1982.
Некрасова Е. А. Метонимический перенос в связи с некоторыми проблемами лингвистической поэтики. — В кн.: Слово в русской советской поэзии. М., Наука, 1975.
Русская разговорная речь. М., Наука, 1973.

Л. А. МЕСЕНЯШИНА

СИНТАКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЛАГОЛОВ, ОБРАЗУЮЩИХ ВИДОВЫЕ ПАРЫ

Категория вида — одно из наиболее обсуждаемых явлений в русском языке. Известно, что в трудах В. В. Виноградова эта категория рассматривается как словоизменительная на основании лексического тождества членов видовой пары. Эта точка зрения нашла свое отражение, в частности, в Словаре современного рус-

ского литературного языка, где, как известно, глаголы, коррелятивные по виду, не разграничиваются в пределах одной словарной статьи.

Существует и иная точка зрения, согласно которой глаголы, входящие в видовую пару, считаются разными лексемами. Эта точка зрения воплощена, например, в «Русской грамматике» (1980).

В литературе не раз говорилось о влиянии вида глагола на его синтаксические свойства. В частности, в работах М. Е. Проселковой (Проселкова 1971, 1976) указывалось наличие дифференциации видовых форм глаголов, управляющих союзными и относительными придаточными: «На относительном подчинении специализируется главным образом совершенный вид» (Проселкова 1976, с. 50). Было в связи с этим высказано мнение о том, что на возможность сочетания глагола с союзной придаточной частью (с союзом *что*) влияет на видовое значение совершенного вида как таковое, а именно исчезновение в форме совершенного вида элемента неинформированности (Проселкова 1976, с. 50).

Таким образом, показывается, что значение достижения действием своего внутреннего предела, маркирующее совершенный вид, может влиять на синтаксические потенции слова. Задача настоящей статьи — продолжение наблюдения за тем, как семантическое различие в пределах видовой пары отражается на синтаксических потенциях глаголов, присоединяющих изъяснительные конструкции, установить, исчерпывается ли влияние вида на синтаксические свойства глагола отмеченными различиями.

Исследовались глаголы восприятия и мысли, способные к присоединению придаточных изъяснительных. Известно, что изъяснительные конструкции — это не только придаточные предложения, но и множество других конструкций простого и сложного предложения, способных передавать такое же значение: *он подумал, что их разделяет пропасть; . . . :их разделяет пропасть; их, подумал он, разделяет пропасть; . . .о пропасти, разделяющей их; он подумал: «Нас разделяет пропасть»* и т. д.

Множество конструкций изъяснения, употребляемых с одним и тем же глаголом, назовем синтактико-функциональным рядом (СФР). Сопоставлению подвергались СФР глаголов, коррелятивных по виду. При этом представлялись возможными следующие ситуации.

1. СФР видовых пар полностью совпадают.

2. СФР видовых пар имеют общий фрагмент, но каждый из них маркирован теми или иными конструкциями.

3. СФР видовых пар состоят в отношениях включения: все конструкции СФР глагола несовершенного вида входят в СФР совершенного вида, но не обратно.

4. То же самое, но маркированным оказывается СФР глагола несовершенного вида. (Заметим, что ситуации 3 и 4 могут существовать в двух разновидностях:

а) маркеры — везде одни и те же конструкции;
б) маркеры в разных видовых парах разные).

5. В части видовых пар маркирован СФР глагола совершенного вида, в части — несовершенного вида.

Первая ситуация говорила бы о том, что перед нами разные словоформы одной лексемы, причем грамматическое значение, за счет которого они различаются, нерелевантно для синтаксиса.

Вторая ситуация означала бы, что перед нами разные лексические единицы, принадлежащие одной лексико-семантической группе, чем и обусловлено некоторое сходство в их синтаксических свойствах.

Третья ситуация означала бы, что состав СФР представляет собой полное отражение семантической структуры опорного глагола, ситуация (4) означала бы, что либо представление о совершенном виде как о маркированном члене не соответствует действительности, либо семантическому плюс-маркеру соответствует минус-маркер в синтаксисе; причем подвид ситуации (а) означал бы однозначное соответствие между семантическим и синтаксическим маркерами, что, в свою очередь, говорило бы о семантической независимости видового значения глаголов с одной стороны и семантико-синтаксической свободе синтаксических коррелятов видового значения, с другой стороны; подвид (б) означал бы, что синтаксический коррелят видового значения связан не только с видовым семантическим компонентом, но также и с а) другими семантическими компонентами опорных глаголов, и б) со структурой ряда, в который входит данный синтаксический маркер. Ситуация (5) указывает на то, что состав СФР не коррелирует с видовыми значениями глаголов — для него существенны иные свойства их семантической структуры.

Анализ 65 видовых пар глаголов со значением мыслительной деятельности, восприятия, невосприятия и каузации восприятия показывает следующее. Для 28 видовых пар наблюдается ситуация (1). К их числу относятся следующие глаголы несовершенного вида и их корреляты совершенного вида: *взвешивать*, *внушать*, *выводить*, *выказывать*, *выслушивать*, *выявлять*, *догадываться*, *интересоваться*, *любопытствовать*, *намечать*, *обнаруживать*, *определять*, *отмечать*, *ощущать*, *пересматривать*, *подчеркивать*, *предвкушать*, *предугадывать*, *прикидывать*, *примечать*, *принимать*, *прислушиваться*, *проглядывать*, *прослушивать*, *просматривать*, *решать*, *соглашаться*, *признавать*. Ср., например, полную идентичность СФР глаголов *догадываться* и *догадаться*: *Я догадывался (догадался), что на каникулах я был такой же*; *Догадываюсь (догадался), кто это сделал*; *Он догадался (догадывается): на диван можно и лечь*; *«Петух скушал?» — догадывается (догадался) Сенечка*; *Все видишь — и не догадываешься помочь (не догадаешься помочь)*; *Ася догадывалась (догадалась) о его отношениях с Юлией*. Для 11 пар (глаголы несовершенного вида: *выдумывать*, *находить*,

открывать, подглядывать, подслушивать, предполагать, придумывать, скрывать, улавливать, чувствовать, чуять) — отмечена ситуация (2). Например, для пары *подглядывать — подглядеть* общими являются следующие конструкции: *Я не стал подглядывать (не подглядел), куда исчезнет бинокль; Это благороднее, чем подглядывать (пытаться подглядеть), не съела ли кухарка лишнего куска; И старается выражение лица подглядывать (подглядеть); Проверь, не подглядел (не подглядывает) ли кто за нашими встречами.* В то же время глагол *подглядывать* присоединяет конструкции, не свойственные глаголу *подглядеть: Ходит да подглядывает, чтоб чего не вышло (как бы чего не вышло).* Ср. **. . .подглядел, чтоб чего не вышло (как бы чего не вышло).* А глагол *подглядеть* маркирован конструкциями: *Дети подглядели, что я поцеловал Мари; Должно, подглядел кто, как ты через забор сигал; Я подглядел: их всего двое; Да она (я подглядел) и не уходила.*

Для остальных глагольных пар справедлива ситуация (5), причем маркированными оказываются СФР следующих глаголов несовершенного вида: *видеть, выяснять, глядеть, думать, знать, подмечать, показывать, понимать, предсказывать, представлять, слыхать, слышать, смотреть, считать.* А СФР глаголов совершенного вида маркированы у лексем: *вообразить, заметить, поверить, постичь, предощутить, признать, проследить, просмотреть, разобрать, раскрыть, рассмотреть, угадать, услыхать.*

Таким образом, анализируемые глаголы распались на три группы. Для первой группы справедливо предположение о том, что члены видовой пары — словоформы одной лексической единицы, для второй (меньшей) справедливо противоположное утверждение — члены видовой пары являются членами одной ЛСГ — не более того. Для третьей группы истинно утверждение о том, что для структуры СФР существен не вид глагола, а его семантическая структура в целом.

Несправедливым, таким образом, оказывается лишь одно предположение — о том, что состав СФР представляет собой отражение семантической структуры глагола. Отсюда, однако, не следует, что видовое значение глагола нерелевантно для его синтаксических свойств. Отсюда следует скорее то, что вид, как морфологическая характеристика глагола, по отношению к его синтаксическим свойствам не выступает как грамматическое явление, так как его взаимодействие с синтаксисом не регулярно.

Таким образом, по отношению к синтаксису видовое значение глагола выступает в качестве одного из семантических компонентов. Исследование же его роли для синтаксиса имеет те преимущества по сравнению с другими, собственно семантическими компонентами, что он, во-первых, регулярен, во-вторых, четко выделим. Вследствие всего этого, его роль легче поддается наблюдению. На следующем этапе ставится задача выяснить, связано ли

значение совершенного вида в глаголе с определенными синтаксическими конструкциями или нет. Для этого анализируются вторая и третья группы глаголов. Задача состоит в том, чтобы выявить конструкции, связанные с совершенным видом, и конструкции, связанные с несовершенным видом. Различие между второй и третьей группами глаголов состоит в том, что для глаголов второй группы как значение совершенного, так и несовершенного видов выступают как самостоятельные семантические компоненты, функционирующие в обоих членах видовой пары одновременно. В глаголах же третьей группы, СФР которых образуют привативные оппозиции, маркированным оказывается то совершенный вид, то несовершенный, и, таким образом, значение совершенного вида оказывается то плюс-маркером, то минус-маркером.

Таким образом, в глаголах второй группы значения совершенного и несовершенного вида более лексикализованы, нежели в глаголах третьей группы.

Для выявления списка конструкций, связанных со значением совершенного (и соответственно несовершенного) вида, представляется целесообразным исключить из множества конструкций, маркирующих СФР глаголов того или иного вида, те конструкции, которые в одном ряду маркируют глагол совершенного, а в другом — несовершенного вида — такое поведение конструкции свидетельствует о ее нейтральности к видовому значению, и ее маркирующая роль обусловлена, очевидно, иными причинами.

Итак, для каждой группы глаголов будут получены списки конструкций, маркирующих СФР с глаголами совершенного и несовершенного вида соответственно. Сопоставление конструкций, маркирующих тот или иной вид во второй и третьей группах, позволило бы получить ответ на поставленный вопрос. При этом совпадение маркерных конструкций в обеих группах указывало бы на действительную их связанность с определенным видом, а несовпадение означало бы отсутствие такой связи, идиоматичность структуры СФР и семантической структуры глагола, его задающего.

Сопоставление списков конструкций, маркирующих СФР во второй и третьей группах глаголов, обнаруживает, что часть конструкций, маркирующих глаголы совершенного вида во второй группе, совпадает с частью конструкций, маркирующих этот вид в третьей группе. Это конструкции типа: 1) *Дети подглядели (рассмотрели), что я поцеловал Мари;* 2) *Он раскрыл (нашел), в чем состоит тайна полярного сияния;* 3) *Итак, я угадал (подглядел): они продолжают встречаться;* 4) *Предположим (вообразим) даже, это случится не сегодня.*

Две другие конструкции, маркирующие совершенный вид в глаголах второй группы (это конструкции типа *Она подслушала про это (насчет этого) и обо всем донесла матери*), не совпадают с конструкциями, маркирующим этот вид в третьей группе. Они

совпадают (как ни странно) с конструкциями, маркирующими в третьей группе СФР глаголов несовершенного вида: *Насчет их свадьбы (про их свадьбу) я точно не знал*. Что касается остальных конструкций, маркирующих СФР глаголов совершенного вида в третьей группе, то это две конструкции (*Проследи-ка за этими манипуляциями внимательнее* и *Прасковья Ивановна не поверила известиям*), причем первая из них встречается в списке маркеров несовершенного вида второй группы: *За мной кто-то постоянно наблюдает, подслушивает*. Вторая же — уникальный маркер СФР (*Поверить*).

Сопоставление списков конструкций, маркирующих СФР глаголов несовершенного вида во второй и третьей группах, показывает следующее. Общей для обоих списков является лишь одна конструкция: *Сам все подмечает (подглядывает), чтоб я без дела не сидела*. В списке маркеров СФР глаголов несовершенного вида во второй группе содержатся, кроме дополнения с предлогом *за* (см. выше), еще две конструкции: *Подглядывай, как бы не сбежал твой братишка* и *Не чуешь, дома ли хозяин*.

В списке маркеров СФР глаголов несовершенного вида в третьей группе, кроме указанных ранее, присутствуют еще две конструкции: *Он смотрел, как вороны дрались на снегу из-за хлеба* и *А он понимает в людях*.

Таким образом, мы видим, что с семантикой совершенного вида связаны придаточные с союзом *что*, с союзными словами, сложные бессоюзные предложения изъяснительного типа и предложения с вводными конструкциями. А с семантикой несовершенного вида — придаточные с союзом *чтобы*. Связь этих конструкций с указанной видовой семантикой покажется убедительнее, если иметь в виду модальную семантику самих конструкций: все конструкции, маркирующие ряды глаголов совершенного вида, имеют утвердительную или вопросительную модальность (фактически вопросительность придаточного с союзными словами снята значением главной части (Грамматика современного русского литературного языка 1970), а конструкция придаточного с *чтобы*, маркирующая СФР с глаголами несовершенного вида, имеет условную, ирреальную модальность. Налицо, как видим, явление семантического согласования: достижение внутреннего предела в глаголах со значением 'получать, каузировать получение, обрабатывать, хранить информацию' предполагает утвердительную модальность, недостижение — ирреальную.

Совпадение маркирующих конструкций в разноименных группах допускает мысль о связанности этих конструкций — дополнений с предлогами *про* и *насчет*, с одной стороны, и дополнения с предлогами *за* — с другой — с иными, невидовыми компонентами значений, возможно, тождественных в глаголах, семантически сближенных.

Наличие неповторяющихся маркирующих конструкций может быть связано с индивидуальными семантическими особенностями изучаемых глаголов.

Наконец, обращает на себя внимание тот факт, что маркеры СФР глаголов несовершенного вида характеризуются гораздо меньшей регулярностью и упорядоченностью. Таким образом, можно сделать вывод о том, что маркированному глагольному виду соответствуют синтактико-функциональные ряды, маркированные специфическим набором конструкций.

Итак, анализ синтактико-функциональных рядов изъяснительных конструкций, присоединяемых видовыми парами глаголов со значением мысли, восприятия, каузации восприятия и невосприятия, показывает следующее.

1. Видовое значение может оказывать влияние на синтаксические свойства глагольного слова.

2. Влияние видового значения на синтаксические свойства слова не носит грамматического, регулярного характера, а является лексически обусловленным.

3. Значение совершенного вида как компонента семантики глагольного слова связано с определенными синтаксическими конструкциями, а именно с конструкциями утвердительной модальности.

4. Значение несовершенного вида, ввиду своей немаркированности, связано с меньшим количеством синтаксических конструкций, а именно с придаточным ирреальной модальности с союзом *чтобы*.

ЛИТЕРАТУРА

Грамматика современного русского литературного языка. М., Наука, 1970, с. 707.

Русская грамматика. М., Наука, 1980, с. 584.

Проселкова М. Е. Изъяснительно-относительные сложноподчиненные предложения с приглагольной придаточной частью в современном русском языке. Автореф. канд. дис. М., 1971.

Проселкова М. Е. Глагольный вид и способ распространения глагола. — В кн.: Вопросы синтаксиса и стилистики русского языка, вып. II. Ульяновск, 1976.

Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ

О ГРАММАТИЧЕСКОЙ ФОРМЕ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Грамматическая форма языковой единицы представляет собой точку пересечения ее парадигматических и синтагматических свойств. Поэтому всестороннее описание той или иной языковой единицы должно обязательно включать оба аспекта — парадигматический и синтагматический.

Синтаксические конструкции представляют собой сложные единицы, состоящие из единиц более низкого уровня. В связи с этим, описание синтаксических конструкций *должно быть опять-таки* двусторонним: с одной стороны, любая из них может быть описана «извне», как отдельная целостная единица, а с другой — она может быть описана «изнутри», как результат сочетания соответствующих составляющих.

Учитывая сказанное, можно утверждать, что *всестороннее* описание синтаксических конструкций должно обязательно включать четыре аспекта: 1) внутреннюю парадигматику, 2) внутреннюю синтагматику, 3) внешнюю парадигматику и 4) внешнюю синтагматику [1].

Цель предлагаемой работы — рассмотреть возможности данного способа описания в применении к сложносочиненному предложению (ССП). Исследование проводилось на материале русского и английского языков.

Предварительно следует отметить, что предложенные термины не являются достаточно строгими и определенными. Они имеют, скорее, рабочий характер и в дальнейшем могут быть уточнены. Кроме того, сами аспекты описания синтаксических конструкций имеют уже некоторую традицию в лингвистике. Так, аспект внутренней парадигматики, представляющий собой описание альтернативных рядов в составе синтаксических конструкций, отражен в работах В. А. Богородицкого, Н. С. Поспелова, В. А. Белошапковой, Л. Ю. Максимова, Е. Н. Ширяева. Аспект внутренней синтагматики, включающий рассмотрение порядка компонентов конструкции, средств связи между ними, представлен в работах М. Н. Петерсона, Е. В. Падучевой. Аспект внешней парадигматики, связанный с выявлением синонимичных синтаксических конструкций (или синонимичных преобразований), представлен в работах Г. А. Золотовой, П. А. Соболевой, И. В. Альтман, Л. И. Васплевской, Н. И. Формановской. И, наконец, аспект внешней синтагматики, в рамках которого рассматривается сочетаемость синтаксической конструкции, ее контексты, занимает известное место в работах Ф. Данеша, К. Гаузенбласа, Г. А. Золотовой.

Определив основные задачи каждого аспекта описания, перейдем к рассмотрению соответствующих характеристик ССП.

ВНУТРЕННЯЯ ПАРАДИГМАТИКА

В рамках данного аспекта предполагается рассмотреть характер варьирования компонентов ССП и степень этого варьирования

[1] Идея описываемого способа анализа синтаксических конструкций была предложена Е. Л. Гинзбургом и частично реализована Л. А. Месеняшиной — ее работа посвящена внутренней парадигматике русских изъяснительных конструкций.

в отношении структуры компонента, его грамматической формы, семантического типа и лексического состава.

Если считать, что в качестве компонентов ССП могут выступать предложения трех основных типов — простое (ПрП), сложноподчиненное (СПП) и ССП, — то число их простейших сочетаний будет равно девяти, т. е. получится по крайней мере девять моделей ССП [2].

Анализ английских текстов дает следующее распределение типов ССП:

1. ПрП-ПрП	3 311	4. ССП ПрП	148	7. СПП-ПрП	536
2. ПрП-ССП	201	5. ССП-ССП	42	8. СПП-ССП	61
3. ПрП-СПП	863	6. ССП-СПП	84	9. СПП-СПП	281

Очевидно, что большую часть ССП (66%) составляют симметричные предложения, т. е. ССП, оба компонента которых представлены одним и тем же типом предложения. Таких типов ССП — три: 1-й, 5-й и 9-й. На долю асимметричных типов ССП приходится всего 34%. Внутри группы симметричных ССП на долю предложений 1-го типа приходится 91%, 9-го — 8%, 5-го — 1%.

Анализ русских текстов дает несколько отличные цифровые данные, однако характер распределения типов ССП остается тем же.

Таким образом, ССП допускает определенное варьирование компонентов, но, во-первых, предпочтительнее оказываются симметричные компоненты, а во-вторых — наиболее простые, типа ПрП-ПрП. В связи с этим, анализ последующих характеристик ССП будет ограничен рамками предложений 1-го типа.

В пределах этого типа ССП отмечаются некоторые особенности сочинительных союзов в отношении степени варьирования компонентов (анализ в этом плане проводился пока только на материале английского языка): наиболее высокая степень варьирования компонентов наблюдается у ССП с союзом but (41%), несколько ниже она для союза and (30%) и еще ниже для союза or (28%).

В плане грамматической формы компонентов ССП выделяются обычно следующие шесть параметров [3]: модальная форма предложения, форма коммуникативной установки, структура предложения, модальная форма сказуемого-глагола, форма наклонения/времени, форма лица/числа.

Анализ ССП 1-го типа (пока только на материале английского языка) дает следующее распределение:

---

[2] Исчисление моделей ССП и их анализ см.: *Левицкий Ю. А.* Модели сложносочиненного предложения. Пермь, 1981.

[3] Подробный анализ варьирования грамматических форм компонентов ССП и соответствующая библиография представлены: *Левицкий Ю А.* Указ. соч.

Симметричны по всем шести параметрам	478 ССП
Симметричны по пяти параметрам	1 052
» » четырем »	1 036
» » трем »	512
» » двум »	201
» » одному »	30
Асимметричны по всем параметрам	2
Всего	3 311

Приведенные результаты показывают, что компоненты ССП допускают варьирование как самих параметров грамматической формы предложения, так и их сочетаний [4]. Однако, хотя имеются случаи полного несовпадения параметров, пределы варьирования их количественного состава достаточно ограничены: число ССП, компоненты которых симметричны не менее чем по четырем параметрам, составляет 77%. Число полностью симметричных ССП сравнительно невелико — всего 16%.

Наблюдается некоторое различие в степени варьирования компонентов ССП для разных союзов. Для предложений, симметричных не менее чем по четырем параметрам, она выражается следующим образом: для союза or 33%, but — 29%, and — 18%.

В качестве семантических параметров, характеризующих компоненты ССП, рассматривались типовые значения простых предложений: Состояние, Процесс, Действие и Действие/Процесс [5]. Анализ семантики компонентов рассматриваемых ССП (пока только на материале английского языка) дал следующие результаты: симметричных ССП 1555, асимметричных — 1756, всего 3311.

Таким образом, степень семантического варьирования компонентов ССП оказывается выше, нежели степень формального варьирования: число семантически асимметричных ССП составляет 53%. Наибольшую вариантность в этом отношении допускает союз but (54%), затем следуют союзы and (53%) и or (34%).

Анализ компонентов ССП в отношении вариантности их лексического состава проводился несколько иным путем. Были взяты полностью симметричные ССП, компонентами которых были простые предложения типа *Это книга*, *Это новая книга*, соединенные разными сочинительными союзами [6]. Результаты анализа показывают, что в плане лексического состава компоненты ССП допускают наибольшую степень варьирования, различающуюся, однако, в зависимости от союза. Единственным ограничением для всех сочинительных союзов как в русском, так и в английском языке является запрет на полное тождество компонентов ССП. Наибольшее число ограничений связано с союзами *и* и *а* (в англий-

[4] Там же.
[5] *Чейф У.* Значение и структура языка. М., 1975.
[6] *Левицкий Ю. А.* Семантика русских сочинительных союзов. — В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1978. М., 1981, с. 83—91.

ском — and), наименьшее — союзом *или* (английский or). Очевидно, эти различия связаны с семантикой сочинительных союзов.

Таким образом, анализ ССП в аспекте внутренней парадигматики дает возможность выявить состав моделей ССП, состав грамматических форм их компонентов и их семантические типы для каждого сочинительного союза. Варьирование отдельных частей внутри компонентов ССП дает возможность установить основные различия между сочинительными союзами.

ВНУТРЕННЯЯ СИНТАГМАТИКА

Данный аспект охватывает вопросы сочетаемости компонентов ССП, средств связи между этими компонентами, порядок их следования в пределах ССП.

Анализ характера сочетаемости компонентов ССП дает следующие результаты: первый компонент любого из трех типов (ПрП, ССП или СПП) чаще всего сочетается со вторым компонентом типа ПрП (72%) и реже всего с компонентом типа ССП (6%); тенденция к уподоблению второго компонента первому ярче всего выражена в тех случаях, когда первый компонент представлен ПрП (76%) и слабее всего — когда первый компонент представлен ССП (16%).

В асимметричных ССП компоненты типа ПрП чаще всего занимают первое место, компоненты типа СПП — второе, а компоненты типа ССП одинаково часто встречаются на обоих местах. Следуя принятой терминологии [7], компоненты типа ПрП можно охарактеризовать как сильноначальные, СПП — как сильноконечные, и ССП — как нейтральные.

Семантическая сочетаемость компонентов ССП характеризуется следующим образом: первый компонент со значением 'Состояние', 'Процесс', и 'Действие' чаще всего сочетается со вторым компонентом со значением 'Состояние' (соответственно 64%, 45% и 38%), а первый компонент со значением 'Действие/Процесс' чаще всего сочетается с подобным же компонентом (35%). Наименьшую сочетаемость компоненты со значением 'Состояние' дают с компонентами 'Действие' (10%), компоненты со значением 'Процесс' — с компонентами 'Действие/Процесс' (10%), а компоненты 'Действие' и 'Действие/Процесс' — с компонентами 'Процесс' (соответственно 19% и 14%). Что касается расположения в пределах ССП, то компоненты с указанными типами семантики довольно равномерно распределены в отношении начала и конца ССП.

Анализ ССП типа ПрП-ПрП дает возможность выявить степень уподобления второго компонента первому в отношении той или иной грамматической формы предложения. Результаты анализа

[7] *Левицкий Ю. А.* Модели сложносочиненного предложения.

показывают, что наибольшая степень уподобления компонентов имеет место по параметру коммуникативной установки (97%), наименьшая по структуре предложения (41%).

Ход исследования русского материала был несколько иным. Для выявления характера зависимости второго компонента от первого был проведен эксперимент, в ходе которого испытуемым предлагалось несколько простых предложений. Эти предложения нужно было дополнить до ССП, используя союзы *и*, *а*, *но*.

Полученные ССП делятся на две группы. Первая характеризуется тождеством синтаксических структур и идентичностью лексического состава компонентов. При этом лексический состав компонентов ССП может различаться либо одним элементом (тип А), либо двумя и более (тип Б).

Вторая группа ССП характеризуется различием синтаксических структур и лексического состава компонентов. При этом выделяется три разновидности: во втором компоненте повторяется один из элементов первого компонента (тип В); во втором компоненте употребляется указательное местоимение *это*, соотнесенное либо с одним из лексических элементов первого компонента, либо со всем первым компонентом в целом (тип Г); во втором компоненте нет формально выраженного элемента, связанного с одним из элементов первого компонента. Ср., например:

А. *Книга лежит на столе, и тетрадь лежит на столе*

Б. *Книга лежит на столе, а тетрадь лежит на окне*

В. *Книга лежит на столе, и я хочу ее прочесть*

Г. *Книга лежит на столе, и я знаю об этом*

Д. *Мальчик идет быстро, но на пляже уже никого нет*

Таким образом, степень влияния первого компонента на второй может быть самой различной. Наивысшая степень этого влияния характеризуется полным уподоблением второго компонента первому по всем грамматическим параметрам, вплоть до структуры предложения — наименее «симметричного» из всех рассмотренных. Не может быть полностью тождественным лишь лексический состав компонентов, но и здесь различия оказываются минимальными (типы А и Б).

Меньшая степень влияния представлена «разбросом» параметров предложений, прежде всего их синтаксической структуры. Однако связь между компонентами полностью не утрачивается: либо во втором компоненте присутствует в той или иной форме один из лексических элементов первого (типы В и Г), либо они связаны через ситуацию или контекст (тип Д).

Что касается средств связи между компонентами ССП, то помимо сочинительных союзов и симметричности грамматических форм, здесь используются те же самые «скрепы», что и в связном тексте, а именно — повторы, замещения и эллипсис [8].

[8] Анализ средств связи в ССП всех девяти типов см.: *Левицкий Ю. А.* Структура связного текста. Пермь, 1978.

Еще один параметр, характеризующий ССП в аспекте внутренней синтагматики, — это порядок его компонентов. В этом отношении все ССП могут быть разделены на две группы. К первой относятся такие, порядок компонентов в которых может быть изменен без изменения общего смысла всего предложения. Обратимыми являются, например, ССП типа А и Б: *Книга лежит на столе, и тетрадь лежит на столе → Тетрадь лежит на столе, и книга лежит на столе.*

Ко второй группе относятся такие предложения, в которых изменение порядка компонентов приводит либо к искажению, либо к утере общего смысла предложения. Необратимыми предложениями являются, например, ССП типа В, Г и Д: *Книга лежит на столе, и я хочу ее прочесть → *Я хочу ее прочесть, и книга лежит на столе; Книга лежит на столе, и я знаю об этом → *Я знаю об этом, и книга лежит на столе; Мальчик идет быстро, но на пляже уже никого нет → ?На пляже уже никого нет, но мальчик идет быстро.*

Таким образом, в аспекте внутренней синтагматики ССП могут группироваться либо по своей форме (симметричные и асимметричные), либо по своей семантике (обратимые и необратимые). Сочетание обоих пар признаков дает возможность выделить четыре структурно-семантических типа ССП: 1) симметричные обратимые, 2) симметричные необратимые, 3) асимметричные обратимые, 4) асимметричные необратимые.

ВНЕШНЯЯ ПАРАДИГМАТИКА

В рамках данного аспекта речь идет об эквивалентности ССП и других синтаксических конструкций или, иными словами, о синонимичных преобразованиях ССП.

Каждый из пяти установленных в предыдущем разделе типов ССП характеризуется не только своими формальными особенностями, но и допустимыми способами преобразований. Так, ССП типа А легко преобразуются в ПрП с однородными членами: *Книга лежит на столе, и тетрадь лежит на столе → Книга и тетрадь лежат на столе.*

ССП типа Б могут быть подвергнуты аналогичному преобразованию при условии введения в предложение слова *соответственно: Книга лежит на столе, а тетрадь лежит на окне → Книга и тетрадь лежат, соответственно, на столе и на окне.*

Другим возможным способом преобразования ССП данного типа является превращение его в СПП с союзами *тогда как, между тем как: Книга лежит на столе, тогда как тетрадь лежит на окне.*

ССП типа В могут быть преобразованы в СПП с придаточными определительными: *На столе лежит книга, и я хочу ее прочитать → На столе лежит книга, которую я хочу прочитать.*

Возможно также (при изменении характера референции): *Книга, которую я хочу прочитать, лежит на столе.* ССП типа Г преобразуются в СПП с придаточными изъяснительными: *На столе лежит книга, и я знаю об этом → Я знаю о том, что на столе лежит книга → Я знаю, что на столе лежит книга.*

ССП типа Д могут быть преобразованы в СПП с придаточными самых различных типов (в зависимости от характера отношений между компонентами) — временными, причинно-следственными, условными и т. д.: *Мальчик идет быстро, но на пляже уже никого нет → Мальчик идет быстро, хотя на пляже уже никого нет; Я нажимаю кнопку, и лампочка вспыхивает → Когда я нажимаю кнопку, лампочка вспыхивает → Если я нажимаю кнопку, то лампочка вспыхивает → Лампочка вспыхивает, потому что я нажимаю кнопку.*

Естественно, что приведенные способы преобразований не являются единственными и конечными (за исключением, может быть, типов А и Б) — каждое ССП может быть преобразовано в ПрП с причастным или деепричастным оборотом или с отглагольным именем [9]. Здесь важно лишь отметить, что любой тип ССП входит в целый ряд (парадигму) синонимичных конструкций, и что для каждого типа ССП этот ряд достаточно строго определен.

ВНЕШНЯЯ СИНТАГМАТИКА

В данном разделе должны быть представлены контекстные связи ССП, указаны те типы контекстов, в которых могут встречаться ССП. Исследование контекстных связей ССП пока еще не проводилось, однако типы контекстов могут быть достаточно просто исчислены.

ССП, как и всякое другое предложение, может занимать одну из четырех позиций в тексте: независимую или свободную, начальную, конечную и срединную. Свободная позиция предложения может иметь место либо в заголовке, либо при независимом, отдельном употреблении. Такое употребление характерно, например, для пословиц, поговорок, крылатых выражений и т. п.: *Отзвонил, и с колокольни долой; Правда хорошо, а счастье — лучше.* Занимая начальную позицию в тексте, ССП может сочетаться с последующим предложением, которое может оказаться либо ПрП, либо ССП, либо СПП. Занимая конечную позицию, ССП следует за предложением также одного из трех указанных типов. И, наконец, занимая срединную позицию (любую, кроме первой и последней в тексте), ССП и справа и слева может сочетаться с одним из трех типов предложений. Таким образом, учи-

[9] См., например: *Формановская Н. И.* Стилистика сложного предложения. М., 1978.

тывая все отмеченные позиции, число контекстов ССП составляет 17.

Что касается средств связи ССП с контекстом, то они ничем не отличаются от тех, которые используются для связи как независимых предложений в тексте, так и компонентов ССП. Последние были рассмотрены в разделе «Внутренняя синтагматика».

Представленный способ описания дает возможность, с одной стороны, более детально рассмотреть отдельные аспекты структуры и семантики ССП, а с другой — объединить отдельные, подчас разрозненные характеристики в одну полную исчерпывающую картину. Так, анализ ССП в плане внутренней парадигматики позволяет выявить взаимосвязь варьирования в пределах компонентов ССП с употреблением разных сочинительных союзов, что дает возможность установить характер системных отношений между этими союзами, их семантические различия. Рассмотрение ССП в аспекте внутренней синтагматики, вскрывающее типы взаимосвязи и взаимозависимости его компонентов, позволяет выявить основные структурно-семантические типы ССП в целом. В аспекте внешней парадигматики определяются синтаксические конструкции, семантически эквивалентные установленным типам ССП. И, наконец, в аспекте внешней синтагматики представляется возможным описание контекстов ССП, определение уместности в данном контексте как ССП, так и его семантических эквивалентов.

Помимо такой «вертикальной» связи, указанные аспекты тесно связаны и по другим направлениям. Так, внутренняя парадигматика, предметом которой являются преобразования внутри ССП, связана и с внешней парадигматикой, предметом которой являются преобразования ССП как целостной единицы. Если в плане внутренней парадигматики производится исчисление и анализ «внутренних» контекстов ССП, то в плане внешней синтагматики производится исчисление и анализ его внешних контекстов.

Предметом внутренней синтагматики является исследование сочетаемости компонентов ССП, тогда как предметом внешней парадигматики является, по существу, исследование сочетаемости одного из компонентов ССП, имеющего форму независимого предложения, с компонентами, представляющими собой либо зависимые предложения, либо их трансформы. Если внутренняя синтагматика исследует внутренние связи компонентов ССП, то внешняя синтагматика исследует внешние связи ССП как целостной единицы с контекстом. Представляется, что изложенный в данной работе способ описания может быть применен и при анализе других сложных синтаксических конструкций.

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. СТИХОВЕДЕНИЕ

М. Л. ГАСПАРОВ

«СПИ, МЛАДЕНЕЦ МОЙ ПРЕКРАСНЫЙ»: СЕМАНТИЧЕСКИЙ ОРЕОЛ РАЗНОВИДНОСТИ ХОРЕИЧЕСКОГО РАЗМЕРА

Эта статья продолжает серию описаний семантических ореолов некоторых русских стихотворных размеров. Под семантическим ореолом, состоящим из семантических окрасок (как общее значение слова из частных значений слова) понимается совокупность ассоциаций между стихотворным размером и темами, образами, мотивами, интонациями, устойчиво повторяющимися в этом размере. Ассоциации эти — никоим образом не органические («хорей естественно подходит для бодрых и веселых стихов»), а исторические («хорей кажется таким, потому что в разное время им было написано много таких стихов»). Показать, как эти исторические ассоциации складывались, — в этом и заключается задача исследований подобного рода. Первым образцом такого исследования «вширь» была статья Б. Томашевского о строфике Пушкина (Томашевский 1959), исследования «вглубь» — статья К. Тарановского о теме пути в 5-ст. хорее (Тарановский 1963); потом мы попытались более систематически описать семантические ореолы 4-ст. хорея с дактилическими и мужскими окончаниями (ДМ), 3-ст. хорея, 3-ст. ямба и 3-ст. амфибрахия (Гаспаров 1973, 1976, 1979, 1982). Теперь мы попробуем присоединить к ним еще один размер — чередование 4- и 3-ст. хорея в разновидности с чередованием женских и мужских окончаний ЖМ [1].

Этот размер, как и предыдущие, нами обследованные, восходит к нескольким разнородным источникам. Б. Томашевский (Томашевский 1959, с. 279—280) остановился только на одном из них, наименее важном — французском. Здесь чередование 7- и 5-сложных строк, по традиции приравнивавшихся к 4- и 3-стопному хорею, было употребительно (как и вообще нечетносложные размеры) в легких песнях и за их пределы почти не выходило. На семантику русского стиха это если и оказало влияние, то лишь позже, в 1860-е годы. Вторым источником, лишь мимоходом упомянутым у Томашевского, был немецкий стих. Здесь 4-, 3-ст. хорей развился как силлаботонизация народного дольника; мы увидим,

[1] Автор приносит глубокую благодарность Л. М. Маллер, работавшей над тем же материалом и поделившейся с ним указаниями на некоторые тексты и интересными наблюдениями.

что из немецких стихотворений 4-, 3-ст. хорея ЖМ по крайней мере два (не много Шиллера и маленького Рельштаба) оказались важны для истории русского размера. Наконец, третьим источником был украинский силлабический «коломыйковый» стих (|4+4|+6 слогов), воспринимавшийся русскими поэтами как 4-, 3-ст. хорей ЖЖ. Украинские песни записывались в русских сборниках еще в XVIII в., подражания им начались на рубеже XIX в. (*Чернобровый, черноглазый Молодец удалый. . .* Мерзлякова; ср. у Пушкина первый вариант песни девушек в «Онегине»: *Вышла Дуня на дорогу. Помолившись богу. . .*), а в XIX—XX вв., после Шевченко, становятся обычны (от некрасовского *Отпусти меня, родная, Отпусти, не споря. . .* до мандельштамовского *Клейкой клятвой пахнут почки, Вот звезда скатилась. . .*).

Первое известное появление 4-, 3-ст. хорея ЖМ в русской поэзии — это «Казак» молодого Пушкина: *Раз, полунощной порою, сквозь туман и мрак, Ехал тихо над рекою Удалой казак. . .* (1814, напечатано в 1815, перепечатано только Анненковым в 1855). Здесь можно видеть взаимодействие всех трех вышеназванных традиций: французской — в эротическом сюжете; немецкой — в балладном жанре; украинской — в декорациях и стиле. Но стихотворение прошло незамеченным, и немногие обращения к нашему размеру до 1840 г. однозначно держатся только одной семантической традиции — немецкой. «Рыцарь Тогенбург» Шиллера был переведен Жуковским в 1818 г.; он запомнился размеру темой отречения от мира и тихой смерти во имя высшего идеала. Шиллеровская же «Надовесская похоронная песнь» была переведена Кюхельбекером (1818—1820; потом ее вновь переводил Михайлов); ее мотивы — смерть и обзор жизненного и посмертного пути — тоже оставят след в русском размере. «Прощание» («Романс») Ф. Глинки (печ. 1818) варьирует «тогенбурговские» мотивы: отречение от счастья во имя высшего идеала (здесь — патриотического), война, верное ожидание и возможная смерть. «Утешение бедного поэта» Дельвига (1819, как «заимствованное с немецкого») выдержано в более песенно-веселом тоне, но тоже построено вокруг мотива ожидания, преодолевающего всепогубляющее время (*Жду и верю в исполненье! . .*). Этот мотив ожидания станет основным в хореических «колыбельных».

Переломом в судьбе размера были 1840—1841 гг., когда подряд явились «Казачья колыбельная песня» Лермонтова (печ. 1840, февраль), его же «Спор» (1841), «Деревенский сторож» Огарева (печ. 1840, октябрь) и его же «Серенада» из Рельштаба на музыку Шуберта (1840, печ. 1842). Отсюда идут четыре отчетливо дифференцированные семантические традиции 4-, 3-ст. хорея ЖМ XIX в.: «колыбельная», «балладная», «бытовая» и «серенадная»; рядом с ними оживает и пятая, менее отчетливая — «песенная» («Песня бандуриста» Гребенки, 1841).

Первая традиция, «колыбельная», обрисовывается наиболее отчетливо: здесь почти в каждом стихотворении присутствует сознательная отсылка к лермонтовскому образцу. В этом образце есть приметы всех трех истоков нашего размера — ритм (скорее всего) от шубертовской серенады, рефрен от французской легкой поэзии и «казачья» тема от подражаний украинскому; но после Лермонтова они порознь уже не ощущались. Определяющая черта «колыбельной» схематики — контраст пассивного «сна» в настоящем и радостно-деятельного будущего в ожидании. Первыми откликами на Лермонтова были прямые иронические перепевы: Некрасов (1845) :.. *.Будешь ты чиновник с виду И подлец душой*); Суриков (1864, транспонировка некрасовской «Колыбельной» из чиновничьего мира в купеческий: . . .*Все торговые обманы Сам поймешь собой*); Минаев (1870-е: . . .*И запустишь смело руку В кассу иль в сундук*); Вейнберг (1862, о журналисте); Огарев (1871, «Песня русской няньки у постели барского ребенка»); поздний случай такого использования готовой формы — у Чюминой (1905, с обращением схемы: в настоящем смута, в будущем «Со святыми упокой»). Потом ирония отпадает, остается неподдельно светлая картина будущего — у одних поэтов в бодрых трудовых красках («Сибирская колыбельная песня» Омулевского, 1883: *Спи, дитя! В стране изгнанья Ты — ей сын родной; Все ее мечты, желанья Пусть растут с тобой*; Иванов-Классик, 1891: *Жизнь — не проблеск, жизнь — не шутка, Счастье впереди, В нашу жизнь, моя малютка, Ты трудясь входи*, с рефреном *Трудовой твой грош*; ср., уже с обращением не к дитяти, а к взрослому у Фигнер, 1888), у других — в виде загробного блаженства (П. Жадовский, 1886: *В царстве вечного покоя Ты придешь ко мне, И никто не разлучит нас В чудной стороне; Над тобою жизни буря, Милый, уж шумит. Так играй же беззаботно, Пока сердце спит. . .*). В советское время эта «колыбельная» традиция оживает у Инбер («Сыну, которого нет», 1926: *Ночь идет на мягких лапах, Дышит, как медведь. Мальчик создан, чтобы плакать, Мама — чтобы петь. . .*), у Кирсанова («Моя именинная», 1927: *Поцелуй бойца Семена В моложавый ус, Положи в кошель ременный Хлеба теплый кус. . .*).

Форма колыбельного монолога легко побуждает к попыткам переадресовки: так, у Городецкого возникает «Молитва воина» (1914) *Не меня храни, родная, В роковом бою, Ты храни, не покидая, Родину мою*; ср. потом неожиданную реминисценцию у Сикорского (1958) *Вырос я, готовый к бою. . .* В «Колыбельной» Ахматовой (1915) образ сына оттесняется образом отца, а мотив будущего — мотивом разлуки: *Спи, мой тихий сын, мой мальчик, Я дурная мать. . . Да хранит святой Егорий Твоего отца.* В другом стихотворении 1915 г. автор делает и следующий шаг: сын исчезает совсем, картина будущего перемещается на отца: *Будешь жить, не зная лиха, Править и судить, Со своей подругой*

тихой Сыновей растить. И во всем тебе удача, Ото всех почет. Ты не знай, что я от плача Дням теряю счет. . . Можно считать, что эти стихи уже выходят из рамок «колыбельной» традиции и вступают во взаимодействие со смежными; таких случаев будет еще много.

Вторая традиция, «балладная», оказывается неожиданно скудной: исключительная популярность лермонтовского «Спора» (ср. перепев Б. Алмазова, 1863) не только не вызвала подражаний, но даже не смогла заглушить влияния более давнего «Рыцаря Тогенбурга». Тематическая схема «Спора» — контраст сонного «востока», отрекшегося от мира (повторяющийся мотив «сна», — может быть, отголосок «Колыбельной»; мотив отречения — наследие «Тогенбурга»), и деятельного, наступательного «севера». Из этих двух элементов только первый, «отречение от мира», переходит в баллады следующего поколения — в «Легенду» Фета, 1843 (. . .*Всю неволю жизни яркой Втайне отлюбил. . .* и т. д. до финальной лермонтовской реминисценции *Снял кафтан, перекрестился — И махнул рукой*) и в «Илью Муромца» А. К. Толстого (. . .*Государыне пустыне Поклонюся вновь*). Даже в сниженно-иронической балладе Майкова «Lacrymae Christi» героем оказывается пустынник. Отголоски же исторической проблематики «Спора» обнаруживаются лишь в стихотворениях бессюжетных, т. е. выбивающихся из балладной традиции: таковы «Север» М. Дмитриева, 1844 (*Север грозный, север бранный!. . Богатырь седой!*), «Новгород» К. Аксакова, 1851 (*Все пустынно и уныло, Имя лишь одно Говорит о том, что было И прошло давно. . . И, избранница всей Руси, Поднялась Москва. . .*), «Каменные бабы» Случевского, 1880 (ироническое развитие той же лермонтовской темы отупелого сна). Особняком стоит в этой группе стихотворений «Мороз» Сурикова (1865) — несмотря на случайную лермонтовскую реминисценцию (*Я устала ждать*, — ср. потом ту же формулу у Инбер), оно не связано со «Спором», сюжет в нем от Некрасова (*И красотка стынет. . . стынет. . . Сон ее клонит*), а декорации от Огарева (*По селу мороз трескучий Ходит самбольшой*). Здесь тоже можно говорить о начинающемся взаимовлиянии разных традиций.

Третья традиция, «серенады», обязана своим возникновением, конечно, не столько стихам Рельштаба, сколько музыке Шуберта. Первый перевод, Огарева, был вложен в уста поющему персонажу панаевской повести «Актеон» (1842: *Песнь моя, лети с мольбою Тихо в час ночной. В рощу легкою стопою Ты приди, друг мой. . .*— этот текст поется в концертах и до сих пор); первое подражание, Ростопчиной, было озаглавлено «Слова на серенаду Шуберта» (1846: *Замолчи, не пой напрасно, Сладкий соловей. . .*), стихотворение Апухтина — «Серенада Шуберта» (1857: *Ночь уносит голос страстный, Близок день труда. . . О, не медли, друг прекрасный, О, приди сюда! . .*). Далее следуют «Первая любовь» Красова

(1840-е: *О! приди ко мне скорее, В заповедный час, — Здесь никто в густой аллее Не увидит нас. . .*), «Таганрогская ночь» Щербины (1844: *. . .Там твои уста и плечи Буду целовать, Слушать пламенные речи, Звуки заучать!. .*), «Свидание» Яхонтова (1851: *Где ты? Вечера сиянье Гаснет за горой, Весь я — трепет, ожиданье, Будто сам не свой. . .*). В несколько сниженных тонах эта ситуация приглашения к свиданию предстает у А. К. Толстого (1840-е: *Милый друг, тебе не спится, Душен комнат жар. . . Встань, приют тебя со мною Там спокойный ждет . .*, а в рукописном варианте даже *Час настал нам быть счастливым, Друг, не откажи!*) и у Крестовского (1856, концовка: *Все-то льнешь ты только к книгам — Хуже день от дня; Хочешь вылечиться мигом — Полюби меня!*); промежуточное положение занимает Иванов-Классик (1880-е? *Ночь тепла, любви приветом Дышит. . . а кругом. . . Выходи ж ко мне скорее, Девица-краса. . .*). В конце этого ряда можно поставить песню Алискана из блоковской «Розы и креста» (1912): *День веселый, час блаженный, Нежная весна. . . Соловей тебе влюбленный Счастие принес. . .*

«Серенады» подобного рода хорошо вписывались в лирику XIX в., потому что схема их совмещала две самые популярные темы, природу и любовь; картина природы (обычно монтируемая из одних и тех же элементов: ночь, сад, луна, соловей, иногда река) оживлялась напряженностью любовного чувства. Такая двухчленность допускала упрощения: одна из тем могла быть представлена развернуто, а другая лишь в намеке. Так, в цитированном стихотворении Крестовского «природа» остается лишь в начальной строке (*Сядем вместе у березы — Что ты скучен так?. .*), а все дальнейшее развивает тему «полюби меня». Чаще, однако, подробно разворачивается картина обстановки (даже не обязательно природы), а о свидании не упоминается или упоминается между прочим. В этом направлении сразу стал экспериментировать Фет. Его стихотворение под заглавием «Серенада» (до 1847) на деле оказывается не серенадой, а колыбельной (ср. такое же скрещение двух традиций у А. Григорьева *Спи спокойно — доброй ночи*, 1843, где отмечены и другие переклички с Фетом): картина вечерней природы остается, но вместо приглашения к свиданию, за нею следует приглашение ко сну: *Тихий вечер догорает, Горы золотя. Знойный воздух холодает — Спи, мое дитя* и т. д., с рефреном. Такими же «незаконченными серенадами» выглядят летний пейзаж (1842) *Теплым ветром потянуло, Смолк далекий гул. Поле тусклое уснуло, Гуртовщик уснул. . .* и два зимних пейзажа (1842 и 1858)»: *Перекресток, где калитка И стоит и спит. . .* и *Скрип шагов вдоль улиц белых, Огоньки вдали. . .* Сохраняется мотив свидания (но не в призыве, а уже в прошлом) в стихотворении (1847) *На двойном стекле узоры Начертал мороз. . . Месяц быстрыми лучами Пронизал стекло. . . Ты давно не отдыхала, Ты утомлена. . .* По этим образцам делали стихотворения и другие

поэты: последнее стихотворение воспроизведено Ратгаузом (1893) в *День погас. В дали туманной Сонмы звезд горят. . . Ты на грудь ко мне склонилась, И не спишь, и спишь. .*, а летний пейзаж А. М. Федоровым (1898): *Знoeн полдень. Степь не дышит. Влаги ждет земля. . .* Однако главное достижение Фета оказалось не здесь, а там, где он выделил для разработки не сами пейзажные или иные мотивы, а структурный принцип их нанизывания в серенаде — перечисление. Так явилось знаменитое безглагольное (1850): *Шопот, робкое дыханье, Трели соловья. . . И лобзания, и слезы, И заря, заря!. .*

Все эти стихотворения, как известно, сразу стали излюбленными предметами для пародистов; но любопытно, что пародии на «Серенаду» и «Шопот, робкое дыханье» идут обычно параллельно, не совмещаясь. «Серенаду» трижды пародировал Минаев: (1865) *Тихий вечер навевает Грезы наяву, Соловей не умолкает. . . Вот чем я живу* (рефрен); (1860) *Воздух майской негой тает, Гуще мрак ночной, Где-то пес на месяц лает. . . Спи, городовой!*; (1863) *. . .Летний вечер догорает. В избах огоньки, Майский воздух холодает — Спите, мужички!* «Шопот, робкое дыханье» пародируется у Минаева дважды (1863): *Холод, грязные селенья, Лужи и туман. . . Посрамленье, гибель Руси И разврат, разврат!* и *Топот, радостное ржанье, Стройный эскадрон. . . И марш-марш во все лопатки, И ура, ура!*; у Вормса (1864): *Звуки музыки и трели, — Трели соловья. . . Трели, я, она и небо, Небо и она;* у Добролюбова (1860): *. . .Абрис миленькой головки, Страстных взоров блеск, Распускаемой шнуровки Судорожный треск. . .* Более интересны, пожалуй, такие пародические отголоски, как никитинский «Ночлег в деревне» (о котором далее) и, может быть, «Молодой турка» В. Соловьева (1889): *. . .Жду в саду нетерпеливо Я мою газель. . . Но папá блюдет ревниво Всех своих мамзель. . .*

Четвертая традиция, наметившаяся в 1840-х годах, «бытовая», наименее отчетливо схематизирована: это — простое описание (порой довольно пространное), часто с эмоциональным резюме (обычно — «скучно», «больно», «тяжело» и пр.). Откуда пришел этот размер в первое стихотворение этой линии, «Деревенский сторож» Огарева (1840), не совсем ясно, — может быть, народная декорация от украинских песен, известных автору «Дона», а эмоциональная тональность от «Тогенбурга»: ср. *Скучно! радость изменила, Скучно одному; Песнь его звучит уныло Сквозь метель и тьму. . .* Еще более непосредственное пародическое отталкивание от «Тогенбурга» заметил Тынянов в «Извозчике» Некрасова (1855): *. . .Все глядит, бывало, в оба В супротивный дом: Там жила его зазноба — Кралечка лицом. . . А как утром пробудились. . . На вожжах висел!. .* Ср. в позднейшем, еще более выразительном «Эй, Иван!» (1867): *Все равно — помру с печали, Жить я не могу! А всего бы лучше с глотки Петли не снимать. . .* Больше всего сделал для утверждения этой семантической окраски Никитин боль-

шими стихотворениями «Утро на берегу озера» (1854): *Ясно утро. Тихо веет Теплый ветерок. . .* (поначалу стихотворение кончалось все тем же светлым пейзажем, потом в него была введена минорная тема «сиротки»), «Дедушка» (1857—1858): *Лысый, с белой бородою Дедушка сидит. . . Где ты черпал эту силу, Бедный мужичок?*, «Пряха» (1857—1858); *Ночь и непогодь. Избушка Плохо топлена. . . Прожитая грусть-кручина За сердце берет. . .* и далее повествовательная часть о судьбе пряхиного мужа. Популяризации размера много содействовало и ставшее хрестоматийным стихотворение Майкова «Картинка» (1861), хотя в нем эмоциональная концовка не традиционно-скорбная, а официально-бодрая: *Посмотри: в избе, мерцая, Светит огонек; Возле девочки-малютки Собрался кружок. . . По-печатному читает Мужичкам дитя. . . Про желанную свободу Дорогую весть. . . Ваши детки уж увидят Свет лицом к лицу!. .*

Последующие стихотворения этой традиции иногда прямо копировали какие-нибудь из этих образцов: так, Круглов («В бабки», 1876: *На лужайке, близ дороги — Множество ребят. . .*) воспроизводит никитинское «Утро. . .», только тоскует в концовке не сиротка, а барчук, которому тоже нельзя играть с ребятами; так, Синегуб («Ночь в тюрьме», 1873—1878: *Сторож ходит за дверями, Сон его клонит*) воспроизводит огаревского «Сторожа», только эмоциональная кульминация *И тоска одолевает Все сильней, сильней!* передана от сторожа лирическому герою-узнику. Повествовательный элемент обычно не усиливается, описание не превращается в рассказ (хотя смежная традиция баллады и могла бы толкать на это) — такие стихотворения, как «Горе» Сурикова, выглядят довольно редкими исключениями (1872: *Получил письмо от внука Дедушка Федот. . . Пишет внук, чтобы не ждали Денег от него. . . У него по самый локоть Отнята рука. . .*). Майковское заглавие «Картинка» остается типично для ощущения этой семантической окраски. Вместо баллад, на «картинки» влияют серенады с их перечневыми пейзажами. Самый любопытный случай — это «Ночлег в деревне» Никитина (1857—1858): первые две строфы его воспринимаются как очередная пародия на «Шопот, робкое дыханье. . . И заря, заря!» (*Душный воздух, дым лучины, Под ногами сор, Сор на лавках, паутины По углам узор; Закоптелые полати, Черствый хлеб, вода, Кашель пряхи, плач дитяти. . . О, нужда, нужда!*), и только третья смягчает это впечатление и придает стихотворению относительную самостоятельность (*Мыкать горе, век трудиться, Нищим умереть. . . Вот где нужно бы учиться Верить и терпеть!*). Никитина же по своему обыкновению копирует Дрожжин: *Труд да горе, капля пота пополам с слезой, И тяжелая забота С вечною нуждой. Ломота в костях, мозоли С грязью на руках, Жизнь без счастья и без воли В четырех стенах. . .* («Песни рабочих», 1875; *без счастья и воли* — реминисценция со стороны, из Некрасова); *Невеселая картина: Дождь стучит*

в окно, Чуть горит в светце лучина, По углам темно. Стены мокрые от пота, Каплет с потолка; Здесь живет нужда, забота И тоска, тоска. . . («В избе», 1882; в первой строке — тоже реминисценция со стороны, из 3-ст. хореев «Грустная картина. . .») Отсюда уже неожиданно близко и до «Каменщика» Брюсова (1903): *Камни, полдень, пыль и молот, Камни, пыль и зной. Горе тем, кто свеж и молод, Здесь, в тюрьме земной!. .*

Даже и там, где описание остается статично, можно заметить тенденцию к лиризации: эмоциональная часть разрастается, собственно бытовая сокращается. Особенно это видно у Сурикова: так, в его стихотворении (1867) *Сердцу грустно, сердце ноет, Тяжело невмочь! За окошком вьюга воет, На дворе уж ночь. . .* не эмоциональная часть выступает кульминацией на фоне сюжетной, а сюжетная (разговор из-за стены: *Что ж, сгубить меня хотите, За него отдать?. .*) на фоне эмоциональной. В стихотворении (1874) *Ты лежишь в гробу тесовом, Друг наш дорогой. . .* о жизненном пути покойника говорится кратко и расплывчато, а кульминацией становится *Твой завет всем честным людям Мы передадим.* Вообще тема смерти в этих стихах становится все настойчивее (вспомним «Надовесскую похоронную песнь»): *Тихо тощая лошадка По пути бредет; Гроб, рогожею покрытый, На санях везет. . .* (1864) — и дальнейшая эмоциональная растушевка. Так постепенно размываются границы и у этой семантической традиции, открывая возможность скрещивания и взаимодействия с остальными.

Завершением этой «бытовой», «крестьянской» семантической традиции можно считать цикл «Деревня» в «Пепле» А. Белого (два стихотворения 1906, остальные — 1908): картинки-перечни, резкий лиризм (стихи от первого лица), но все нанизано на пунктирный сюжет с любовью и убийством (*Красною струею прыснул Красной крови ток. . .*) Вне сюжета в «Пепле» остались еще два стихотворения того же строя и стиля (1908): «Деревня» (*. . .Злое поле жутким лаем Всхлипнет за селом. . .*) и «Вечерком» (*Взвизгнет, свистнет, прыснет, хряснет, Хворостом шуршит. . .*) — они вынесены во вступительный цикл рядом с другими стихами, задающими тон и темы дальнейших циклов, — и третье, из другой темы, «Ты» (1906: *Меж сиреней, меж решеток Бронзовых притих. Не сжимают черных четок Пальцы рук твоих. . .*); было ли оно началом или ответвлением разработки нашего размера у Белого, сказать трудно. Цикл Белого не остался без отголосков у современников: С. Соловьев копирует его в «Обманутой девушке» (1910): *Провела часок веселый Девка с молодцом. . . Обещался до Николы Все покрыть венцом. . .*; П. Потемкин в двух стихотворениях «Смешной любви» (1908): *Пляшет в листьях ветер хлесткий, Даль лесов пестра. . . Чью я, вестница печали, выпью кровь-вино? Чье засохнет на кинжале Красное пятно?. .*; а у Гумилева в «Оборванце» (1912) бродяжья декорация Белого сочетается

с мотивом «любви издалека», идущим от «Тогенбурга»,— мы опять выходим за границу семантической традиции.

Наконец, пятая из семантических традиций нашего размера — песенная; она самая неопределенная по содержанию, зато самая живучая. У начала ее, как было сказано, стоит «песня бандуриста» Гребенки из поэмы «Богдан»: она начинается *Были у орла два сына. Вырос старший сын; Младший рано на чужбину Залетел один. . .* и кончается: *Братья обнялись родные И сильны опять, Как великая Россия Да Украйна-мать!* Другие песни из этой поэмы, более бытового содержания, имитировали украинский коломыйковый стих ЖЖ точнее, но эта с ее официальным аллегоризмом требовала более «литературной» рифмовки — видимо, так и явилась здесь эта форма. Отрывок Гребенки (печ. 1841, январь) мог даже подсказать тему и размер (но, конечно, не стиль) лермонтовскому «Спору». За песней Гребенки последовала «Запорожская мелодия XVII в.» Щербины (1842: *Вот несется черный ворон, Хлопает крылом. . .*), потом переложение шведской песни у Берга (1853, уже с влиянием «сонной» тематики колыбельных и серенад: *Если б, сердце, ты лежало На руках моих. . . И заснуло б, ретивое, Ты передо мной! . .*), польской у Плещеева (1859: *Тебе няньки песни пели, А уж я люблю. . .*), неаполитанской у Майкова (1858—1859: *Далеко на самом море Я построю дом. . .*); и даже переводы из Шевченко перестраиваются из ЖЖ в ЖМ у Сурикова (1871: *Жди, вернусь я из похода,— Мне гусар сказал. . .*, с тематическим отголоском пушкинского «Казака») и у Родионова (1872: *Полно, полно мне шататься, Людям докучать. . .*). Этот «народный» исток песенной традиции скрещивается с «французским» истоком: на него несомненным образом опирается использование нашего размера в комических куплетных стихах 1850—1860-х годов: В. Курочкин, «Общий знакомый» (1856, с рефреном *. . .Милый Петр Ильич!*); Минаев, «Юмористам» (1863, с рефреном *. . .Сохрани вас бог!*); ср. В. Курочкин, «Бедовому критику» (1859, с финальной реминисценцией из 3-ст. хорея *. . .Покорись и ты!*), Н. Курочкин, «В ресторане» (1858, монолог), Жулев, «Беззаботная» (1862), Пальмин, «Обыкновенные песни» (1865). Ощущение песенности сохраняется за нашим размером и в следующую литературную эпоху — отчасти как сознательная стилизация под недавнюю старину (Блок, 1909: *Как прощались, страстно клялись. . . Взял гитару на прощанье. . . Вспоминай же, ради бога, Вспоминай меня. . .* — едва ли не отсюда потом является у Р. Казаковой *Постарею, побелею, Как земля зимой . .*, ее концовка *. . .Вспоминай меня без грусти, Ненаглядный мой*), отчасти независимо ни от какой стилизации (Брюсов, 1900: *Мне поется у колодца, Позабыт кувшин. Голос громко раздается В глубине долин. . .* — едва ли не отсюда потом является «Песенка» Ахматовой, 1911: *Я на солнечном восходе Про любовь пою, На коленях в огороде Лебеду полю. . .*).

После всего этого не так уж удивительно, что песенная традиция хорея 4—3 ЖМ возрождается и в советское время, тогда как остальные традиции глохнут и проявляются в лучшем случае отдельными стихотворениями (как колыбельные). Наиболее приверженк этому размеру Прокофьев: *Не ковыль-трава стояла У гремучих вод — То стоял позиционно Партизанский взвод* (1933); *Эх, немало взято с бою Сел и городов! Эх, немало трубят в поле Молодых годов!* (1933); *За рекою в непокое Вишня расцвела* (1953); *Во темном бору морошка Крупная растет, Во темном бору в сторожке Солнышко живет* (1959); *Тополиный, тополевый Друг мой Ленинград* (1957); *Целый вечер разливался Про любовь баян* (1953—1954); *Гаснет солнце за рекою, А любовь горит* (1953, с отголоском серенадной традиции) и др. Но и у других поэтов мы находим: *Не туман стоял высоко — Ветер пух крутил: По-над дымным лугом сокол Голубя когтил* (Шубин, 1937); *На седых уральских кручах Вороны кричат. По Заволжью черной тучей Стелется Колчак* (Сурков, 1937); *Всюду были вы со мною, Верные друзья* (Матусовский, 1954); *В городском саду играет Духовой оркестр* (Фатьянов, 1947); *Едет парень на телеге Через речку вброд* (Глейзаров, 1945); *Пой, родимый, пой, любимый Курский соловей* (Недогонов, 1947). У Ушакова ироническое стихотворение нашего размера называется «Романс» (1940: *Мы страдали, мы любили, Мы страдали вновь. . .* — с реминисценцией из «Ты» Белого); у В. Соколова — «Городской романс» (*Кто-то где-то пишет песню На чужой мотив. . .* и т. д., с интонационными реминисценциями из «Теней на стене» Блока); а у Р. Рождественского — «Песня» (1959—1962: *. . .Выйдет на эстраду тенор, Ручки распахнет. . . Эта песня мне знакома — Ты не так поешь!. .*).

Таковы пять семантических окрасок нашего размера, которые можно было бы назвать «исходными»; все они (кроме «быта») связаны с какими-то жанрами или жанровыми разновидностями: песня, баллада, серенада, колыбельная. Следующие четыре окраски менее отчетливы: они не жанровые, а только тематические. Условно их можно обозначить словами «пейзаж», «сон», «свет» и «тоска»; предположительно их можно назвать «вторичными» и возвести «пейзаж» к серенаде, «сон» к колыбельной, «свет» к балладе и «тоску» к «быту». Наиболее важны и образуют как бы тематическую оппозицию «свет» и «тоска», две другие окраски так или иначе с ними взаимодействуют.

Семантическая окраска «свет» определяется признаком: мир иной, высшее блаженство, высшая красота, обычно с мотивами света и сияния. Среди исходных семантических окрасок она присутствовала, хотя и неясно, в «Тогенбурге» (*где меж темных лип светился Монастырь святой. . . Чтоб прекрасная явилась, Чтоб от вышины В тихий дол лицом склонилась, Ангел тишины*): не исключено, что дополнительное влияние на формирование этой семантической окраски оказала и другая баллада Жуковского,

сходная по завязке и развязке, хоть и несходная по размеру, «Алонзо» (*Там, в стране преображенных. . . Небеса кругом сияют, Безмятежны и прекрасны. . . Там в блаженствах безответных*). Во всяком случае первые же стихотворения, несущие эту окраску, явно примыкают к традиции Жуковского (и его немецких образцов): это Ф. Глинка (1830—1850-е?) «Отчего?» (. . .*Оттого, что голос тайный Часто шепчет нам: Быт земной есть быт случайный, Дом родимый — там!*) и «Молитва пресвятой деве» (*Между солнцем и луною Дева-мать стоит, И чудесной тишиною Лик ее блестит*. . .). В ту же ситуацию «Алонзо», но с иным исходом вписывается одно из первых стихотворений А. Григорьева («Е. С. Р.», 1842): *Между вечностью и мною Встанет образ твой. И на небе очарован Вновь я буду им . . . Ослепленный их лучами, С грустью на челе. . .* В ту же сторону направляет Майков свои «Облачка» (1857): *Любо их следить очами. . . Выше — вечность, бог!. . .* Полонский начинает стихотворение «Памяти Ф. И. Тютчева» (1876): *Оттого ль, что в божьем мире Красота вечна, У него в душе витала Вечная весна. . . Ярче в нем сверкали искры Божьего огня. . . Выше всех земных кумиров ставил идеал . .*, ему подражает Фофанов в юбилейном стихотворении «А. А. Фету» (1889): *Есть в природе бесконечной Тайные мечты, Осеняемые вечной Силой красоты. Есть волшебного эфира Тени и огни. . .* и т. д., с дополнительной скрепой-цитатой *И пока горит мерцанье В чарах бытия: Шопот. Робкое дыханье. Трели соловья. . .*

Кульминационным стихотворением этой семантической традиции можно считать у В. Соловьева (1875): *В сне земном мы тени, тени. . . Жизнь — игра теней, Ряд далеких отражений Вечно светлых дней. . . Голос вещий не обманет. Верь, проходит тень,— Не скорби же: скоро встанет Новый вечный день.* Оно задает тональность итоговому явлению этого ряда — четырем стихотворениям Блока (1901—1904), которые трудно ощущать иначе, как единый метрический цикл: *Чем больней душе мятежной, Тем ясней миры. . . в иные дали Проникает взгляд. . .; Сторожим у входа в терем. верные рабы. . . Бисер нижет, в нити вяжет — Вечная весна. . . Молча свяжем вместе руки, Отлетим в лазурь; Мы живем в старинной келье У разлива вод. . . К нам прольется в двери келий Светлая лазурь. . . Мы помчимся к бездорожью В несказанный свет:* и самое большое — *Дали слепы, дни безгневны, Сомкнуты уста. . . Нежно белыми словами Кликал брата брат. . . Всадник встанет, конь вздыбится В голубой пыли. . . Мы опять расплещем крылья, Снова отлетим!. .* (мотив «отлетим» появляется с редкой настойчивостью). Это не единственные стихотворения Блока в нашем размере, но и остальные обычно перекликаются с ними: темой сказки («Сны», 1912, упрощенно транспонирующие ту же тему витязя и царевны; «Тени на стене», 1907, может быть, через *И на вьюжном море тонут Корабли*, в предыдущем стихотворении перекликающиеся со стихотворением П. Со-

ловьевой, 1900: *Там далеко в синем море Ходят корабли. . .* и т. д., про «рой земных теней») — или темой весны (1905: *Не мани меня ты, воля, Не зови в поля!. . .*; 1907: *Распушилась, раскачнулась Под окном ветла. . .*). Тема весны настолько постоянна в этом размере у Блока, что, быть может, это отсюда она подсказала размер Брюсову в «Веснянке» (1918): *Лишь на севере мы ценим Весь восторг весны. . .* Из других стихотворений этого периода примечателен «Ангел-хранитель» Гумилева (1912), где тема «света» не подчеркнута, но образность (*. . .Но покинуть королеву Для вассала — стыд*) возвращает нас к «тогенбурговским» истокам этой семантики.

Семантическая окраска «тоска» начала развиваться, как мы уже видели, из семантической окраски «быт», когда в этих стихотворениях описательная часть начала сокращаться, а эмоциональная — разбухать. Но любопытно, что первое большое стихотворение, задающее этот семантический тон, было связано не с темой быта, а скорее всего, с тою же балладной темой любви издали и любви через смерть. Это 8-е стихотворение цикла «Борьба» А. Григорьева (1857): *Вечер душен, ветер воет, Воет пес дворной; Сердце ноет, ноет, ноет, Словно зуб больной. . . Все одна другой страшнее Грезы предо мной. . . Вот с постели поднимают, Вот кладут на стол. . . Не сули мне счастье встречи В лучшей стороне. . . Здесь — хоть звук бывалой речи Дай услышать мне. . .* Это стихотворение Григорьева, несомненно, помнил Суриков, начиная свое (уже цитированное) стихотворение *Сердцу грустно, сердце ноет, Тяжело невмочь!. .* Два стихотворения Сурикова построены по той же схеме, что и у Григорьева: тоскливая обстановка, а потом вызываемые ею «грезы», только не страшные, как у Григорьева, а контрастно-светлые, под конец опять перебиваемые мрачной действительностью. Одно — пространное (1876): *Тишь и мрак. . . закрыты ставни. . . И волшебные мечтанья. . . И она ко мне подходит. . . Соловей поет так нежно В воздухе ночном. . .* (явная реминисценция из серенад) *. . .Все давно ли это было,— Где ж теперь оно? Сердце сжалось, очерствело, В нем темно, темно. . .*; другое — более сжатое (1867—1868): *На дворе бушует ветер, Дождик бьет в окно. . . Детства прошлого картины! Только вы светлы. . . Детство, нет тебе возврата! Пронеслось, прошло. . .* (ср. у Дрожжина, 1912: *Все, что было, миновало, Не вернуть назад. . .*); в третьем стихотворении контрастное место воспоминаний занимает песня (1867—1868): *За окном скрипит береза, В комнате темно. . . За окном — чу! — песню кто-то Весело поет. . . Пой же, друг, пока поется, Жизнь пока светла; А как горе к ней привьется — все оденет мгла. . .* В стихотворении Сурикова «Доля бедняка» (1865—1866) семантика «тоски» является из предельной лиризации семантики «быта» — когда «быт» как бы взаимодействует с «песнею»: *Эх ты доля, эх ты доля, Доля бедняка! Тяжела ты, безотрадна, Тяжела, горька!. .* и т. д. В стихо-

творении Клюева (до 1912) «быт» как бы взаимодействует с «колыбельной», от которой содержание стихотворения транспонируется в будущее время: *Вечер ржавой позолотой Красит туч изгиб. Заболею за работой Под гудочный хрип. . . Убиенного младенца Ангелы возьмут. . .* и т. д. Совсем любопытный случай почти механического скрещения семантических традиций является в стихотворении Мережковского «Возвращение» (1891): оно начинается «тоской» (*О березы, даль немая, Грустные поля. . . Это ты — моя родная, Бедная земля. . .*), а продолжается неожиданно «серенадой» (*Теплый вечер догорает, Полный тихих грез, Но заря не умирает Меж ветвей берез. Милый край с улыбкой ясной. . .* и т. д.). На эту мрачную семантическую традицию опираются, в конечном счете, и такие стихи, как «Лишняя» Ахматовой (1959: *Тешил ужас. Грела вьюга. Вел вдоль смерти мрак. . .*) и «Вот и нет меня на свете. . .» В. Соколова.

Семантическая окраска «пейзаж», как мы видели, начала отделяться от «серенад» еще у Фета. Изредка мотив свидания сохраняется в виде рудимента: *Путь туманен, кони бойки, Снежной пеленой Ночью темною на тройке Мчимся мы с тобой. . .* (Иванов-Классик, 1870—1880-е). Иногда пейзажная тема получает подкрепление из других семантических традиций: из балладного «Спора» с его сонным миром (. . .*Утро брежжится далеким Светом, а кругом Все как будто спит глубоким Непробудным сном* — Иванов-Классик, 1873), из бытовой поэзии с ее перечнями обстановки (*Пыль на улице. Травою Площадь поросла. . . По безлюдным переулкам Блещут огоньки. . .* — Фофанов, 1903). Приобретя, таким образом, самостоятельность, «пейзаж» ищет законченности в разработке эмоциональной кульминации (то же мы видели в семантической окраске «быт»): это дает ему выход в окраски «света» и «тоски». Светлый пейзаж дает (обычно в концовке) бодрость и веру в будущее: Жадовская (1847—1856), начав под Фета *Свежесть утра, роз дыханье, Говор светлых вод, Гибких веток колыханье, Ясный неба свод. . .*, кончает под Лермонтова . . .*И среди житейской битвы Твердо сохраню Веру сердца, пыл молитвы И любовь мою;* а Кириллов (1923), начав . . .*Прямо в окна так и плещет Розовой волной. Быстро встал, взглянул на небо — Голубая сень. . .*, кончает: *Ничего, пробьемся, выйдем В светлые года, С нами солнце, радость, утро — Торжество труда.* «Светлый» же пейзаж дает и контрастное оттенение душевной мрачности: так у Щербины (1846): *Ароматный ветер веет, Ясны небеса. . . Но при общем ликованьи Грустен я стою, Незнакомое страданье Точит грудь мою. .*, так у Розенгейма (1868—1878): *Ярко светит в небе чистом Полная луна. . . За себя давно я, море Людям все простил, Но ведь есть иное горе, Горе выше сил. . .*). Противоположный контраст — мрачный пейзаж, оттеняющий душевную бодрость, удалось встретить лишь один раз, в восьмистишии К. Павловой «Воет ветр в стени огром-

ной» (1850): *. . .В сердце радостная вера Средь кручины злой, И нависли тяжко, серо Тучи над землей.*

Последняя из выделенных нами семантических окрасок, «сон», опирается, понятным образом, прежде всего на традицию лермонтовской «Колыбельной», но получает подкрепление и от «Спора». Здесь тоже возможны эмоциональные выходы и к «свету» (сонные видения), и к «тоске» (сонное оцепенение). Среди стихов о «светлых снах» необходимо отметить одно, в строгом смысле слова не принадлежащее нашему размеру (это не 4-3-4-3-, а 4-4-4-3-стопный хорей): «Качка в бурю» Полонского (1850: *Снится мне: я свеж и молод, Я влюблен, мечты кипят. . . От зари роскошный холод Проникает в сад. . .*; этот сон о свидании в саду мог быть одним из источников суриковского *Тишь и мрак. . . закрыты ставни*). Полонский был одним из любимых поэтов Блока; на его поэтику и стилистику (в целом, а не только в данном стихотворении) явно ориентировано стихотворение Блока «Сны» (1912: *И пора уснуть, да жалко, Не хочу уснуть! . За моря, за океаны. . . Где царевна спит. . .*). Здесь основа произведения — пересказ «светлых снов»; Брюсов же в стихотворении «Сны» (1908) обходится даже без пересказа, одним декларативным противопоставлением мира снов и мира яви: *Спите, дети! спите, люди! В тихой темноте, У земной, родимой груди, Преданы мечте! . Что вам утро! Утром глянет Беспощадный свет; Утром снова душу ранит Сталь людских клевет. . .* Среди стихов о «тяжких снах» выделяется «У могилы матери» Сурикова (1865—1866): «сон» здесь метафорический и означает смерть, но построено стихотворение целиком по «колыбельной» схеме, только усложненной: взгляд на жизнь в будущее, окаймленный двумя взглядами на ту же жизнь в прошлое, с другого конца: *Спишь ты, спишь, моя родная, Спишь в земле сырой. . . Никогда, твоих, родная, Слов мне не забыть: «Без меня тебе, сыночек, Горько будет жить!» . . И слова твои сбылися. . . У твоей сырой могилы Сын-бедняк стоит. . . И когда меня, родная, Принесут к тебе. . . Буду спать я, спать спокойно Рядышком с тобой. . .* Остальные «сонные» стихи проще: у Сологуба это мрачное наслаждение сном (1895: *Шум и ропот жизни скудной Ненавистны мне. Сон мой трудный, непробудный В мертвой тишине. . .*), у Чюминой отчаянная попытка вырваться из сна (1888: *Тучи темные нависли Низко над землей, Сон оковывает мысли Непроглядной мглой. . . Боже мой! услышь моленье, О, не дай заснуть! .*).

На этом, собственно, кончается семантическая эволюция нашего размера. 1840—1850-е годы дали усиление семантической окраски «серенада», 1860—1880-е — окраски «быт», 1900-е — окраски «свет», все это на ровном фоне «песни» и отчасти «колыбельной». В советское время этот размер выходит из употребления — кроме как в «песне») — ни «сон», ни «тоска», ни «блаженный свет» не были созвучны новой эпохе, а эксперименты над новыми, неиспробо-

ванными семантическими окрасками не велись, так как все вообще разностопные урегулированные силлабо-тонические размеры привлекают меньше внимания, чем в XIX в. Можно отметить лишь несколько разрозненных, но характерных попыток переломить инерцию «сна» и «тоски»: «Как Давида помирал» Твардовского (1937), «Лирика» Кирсанова (1947: . . .*И подняться в жизнь заставит Лестничками строк*), уже упоминавшаяся «Песня» Рождественского (не без кирсановской интонации: *Чтоб она из душных спален Позвала людей. . .*). Но они не меняют картины.

Подводя итоги и сопоставляя их с тем, что мы видели в семантике других размеров, можно сделать такие наблюдения.

Лишний раз мы убеждаемся, что семантический ореол размера складывается не органически, а исторически: «бодрые и веселые» эмоции, привычно связываемые с ритмом хорея (или хотя бы 4-ст. хорея) здесь отнюдь не преобладают, и это даже ведет к непопулярности размера в наши дни (также замер в наши дни и 3-ст. хорей . . . *Отдохнешь и ты*). Исторические же корни этого ореола уходят далеко за пределы русской классики — в французский, немецкий и украинский стих. Для формирования ореола важны немногие стихотворения, получающие популярность классики и надолго сохраняющие влияние. Для нашего размера эти «задающие тон» стихотворения созданы прежде всего Лермонтовым (как и для размеров *Горные вершины. . .*, *Уж за горой дремучею. . .*, *По синим волнам океана. . . Выхожу один я на дорогу. . .*). Эта исключительная роль Лермонтова — а не Пушкина — в семантической истории русского стиха представляет интересную историко-литературную проблему. После лермонтовского толчка в размере выделяются 4—5 «исходных» семантических окрасок; их традиции эволюционируют, скрещиваются и в конечном счете образуют несколько новых, «вторичных» семантических окрасок (то же — и в 3-ст. ямбе). Исходные окраски хранят связь с какими-то жанровыми характеристиками, вторичные характеризуются только темами (то же и в 3-ст. ямбе, и в 3-ст. амфибрахии). Среди этих вторичных окрасок две ощутимо противопоставляются как главные («свет» и «тоска»), и на них ориентируются остальные (то же и в 3-ст. амфибрахии). Совокупность всех окрасок семантического ореола широка, но не всеохватна: так, в нашем размере практически отсутствуют стихотворения торжественно-патетические, отсутствуют философски-медитативные (исключения вроде «Спешных строк» Пастернака или «Сядь у моря — жди погоды» Фета своей необычностью только подтверждают правило), а такая всеобщая тема, как любовь, является лишь в связи с серенадой и «небесным светом» (отступления у Цветаевой развития не получили). Можно заметить любопытную особенность: три первичные семантические окраски имели в своем строении некоторую диалектическую двойственность. «Колыбельная» разворачивала тему будущего, но в настоящем это был «сон»; «серенада» давала пейзаж,

но эмоциональной окраской была «любовь»; «быт» нанизывал описания, но эмоциональным узлом оказывалась «тоска»; а потом и «сон» и «тоска» стали самостоятельными вторичными окрасками. «Баллада» такой двойственности не имела — потому, вероятно, эта семантическая окраска и не получила развития; «песня» тоже не имела, но ей помогало то, что она могла принимать любое содержание. Может быть, это значит, что среди семантических окрасок жизнеспособнее те, в которых заложена такая внутренняя двойственность — точно так же, как среди размеров жизнеспособнее те, семантические ореолы которых богаче непохожими друг на друга окрасками.

ЛИТЕРАТУРА

Гаспаров М. Л. К семантике дактилической рифмы в русском хорее. — In: Slavic Poetics. The Hague, Mouton, 1973, p. 143—150.

Гаспаров М. Л. Метр и смысл: к семантике русского трехстопного хорея. — Изв. АН СССР, СЛЯ, 1976, т. 35, № 4, с. 357—366.

Гаспаров М. Л. Семантический ореол метра: к семантике русского трехстопного ямба. — В кн.: Лингвистика и поэтика. М., Наука, 1979, с. 282—308.

Гаспаров М. Л. Семантический ореол трехстопного амфибрахия. — В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1980. М., Наука, 1982.

Тарановский К. О взаимодействии стихотворного ритма и тематики. — In: American contributions to the 5th International Congress of Slavists, v. I. The Hague, Mouton, 1963, p. 287—332.

Томашевский Б. В. Строфика Пушкина. — В кн.: *Томашевский Б. В.* Стих и язык. М.—Л., Гослитиздат, 1959, с. 202—324.

Источники упоминаемых и цитируемых текстов

Для удобства большинство ссылок дается на издания «Библиотеки поэта», большая серия, изд. 2 (БП). — Жуковский, БП, 396; Ф. Глинка, БП, 129, Соч. (1869), I 366, 376; Дельвиг, БП, 125; Пушкин, Полн. собр. соч. (изд. АН СССР, 1949), I 45; Лермонтов, Полн. собр. соч. (изд. АН СССР, 1954), II, 140, 193; Огарев, БП, 106, 351, 737; Плещеев, БП, 281; Поэты кружка Н. Станкевича БП, 273, 415 (Красов, Аксаков); Поэты 1840—1850-х гг., 102, 194, 428 (Ростопчина, Гребенка, Берг); М. Дмитриев, Стих. (1865), I, 114; К. Павлова, БП, 146; А. Григорьев, БП, 81, 82, 152; Щербина, БП, 339, 370, 388; Ю. Жадовская, Полн. собр. соч. (1885), I 117; П. Жадовский, Собр. стих. (1886), 257, 447; Розенгейм, Стих. (1896), 432; Алмазов, Стих. (1874), 773; А. К. Толстой, БП (изд. 1-е), I 74, 300; Майков, БП, 135, 155, 356, Полн. собр. соч. (1914), I, 185; Полонский, БП, 127, 332; Фет, БП, 157, 158, 166, 170, 173, 211, 223, 451; Никитин, БП, 141, 276, 267; Некрасов, БП, I, 99, 188, II 269; Поэты «Искры», БП, I 71, 117 (В. Курочкин), II 117, 602, 650, 693, 819 (Минаев, Н. Курочкин, Вейнберг, Жулев, Пальмин); Минаев, Чем хата богата (1880), 95; Русская стихотворная пародия, БП, 404, 428, 505, 507, 510, 514 (Минаев, Вормс, Добролюбов); Крестовский, Собр. соч. (1904), IV 193; Суриков и поэты-суриковцы, БП, 67, 74, 81, 86, 99, 108, 110, 133, 136, 146, 189 (Суриков), 366 (Родионов), 392, 407 (Дрожжин); Дрожжин, Песни старого пахаря (1913), 98; Поэты-демократы 1870—1880-х гг., БП, 137, 235, 367, 465, 480, 567 (Синегуб, Фигнер, Омулевский, Иванов-Классик, Яхонтов); Иванов-Классик, Стих. (1891), 22, 32; Случевский, БП, 177; Апухтин, БП, 310; Фофанов, БП, 112, 216; В. Соловьев, Б П, 60, 149; Поэты 1880—1890-х гг., БП, 164, 316, 329, 363, 397, 547, 687 (Мережковский,

Чюмина, П. Соловьева, Федоров, Ратгауз, Круглов); Сологуб, БП, 155; Брюсов, Собр. соч. (1973), I, 219, 415, 468; III 17; Блок, Собр. соч. (1960), I 83, 169, 316, 319, II 77, III 170, 266, IV 174; Белый, БП, 160, 174, 193—205, 259; С. Соловьев, Апрель (1910), 145; Городецкий, БП, 129, 312; Клюев, Собр. соч. (1954), I, 123; Ахматова, БП, 37, 83, 255; Цветаева, БП, 59, 217; Пастернак, БП, 558; Потемкин, Смешная любовь (1908), 69, 71; Пролетарские поэты . ., БП, 255 (Кириллов); Инбер, Собр. соч. (1965), I 158; Прокофьев, БП, 211, 212, 401, 407, 421, 445, 505; Исаковский, БП, 294; Твардовский, Собр. соч. (1966), I 135; Кирсанов, Собр. соч. (1975), II 10, I 31; Шубин, Стих. и поэмы (1958), 32; Казакова, Помню (1974), 193; Сикорский, Избр. стих. (1975), 97; В. Соколов, Спасибо, музыка (1978), 40, 78; Г. Рождественский, Избр. произв. (1979), I 187; Песни нашей Родины (М., 1957), 117, 345, 381, 387, 456 (Сурков, Недогонов, Глезаров, Фатьянов, Матусовский).

Н. А. КОЖЕВНИКОВА

О ЗВУКОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЗЫ А. БЕЛОГО

А. Белый осознавал звуковое сходство слов, как свидетельство глубокой первоначальной связи вещей и явлений, как память древнего смысла. «Звукопись, — утверждал он, — доисторическая жестикуляция языка; в нее вписана печать некогда жившего и не всегда угасшего смысла» [1]. В ранней статье «Лирика и эксперимент» Белый высказал мысль о том, что между разными уровнями художественного произведения — содержанием, ритмом, синтаксисом, словом и звуковой инструментовкой существует «неуловимая пока параллель» [2]. К этой мысли он возвращался много раз, положив ее в основу изучения звуковой организации стиха и прозы (Блок, Гоголь). Такие взгляды на звук и звуковую организацию текста определили одно из направлений эксперимента и в творчестве самого А. Белого, в первую очередь в его прозе.

Предметом экспериментов писателя в ранних произведениях, симфониях, были крупные единицы текста. Звуковая организация текста имела для Белого лишь побочный интерес. Тем не менее он пробует возможности некоторых приемов, не стремясь к последовательности их применения. Самый обычный из этих приемов — аллитерация приобретает утрированный вид — она организует не только отдельные сочетания типа *серебряные, сквозные; хрупкими, хладными снегами*, а целые развернутые, хотя и немногочисленные фразы: А в небесах сиял свод серо-синий, свод страшный и скучный с солнцем-глазом посреди; Ленивая лунная ночь, лепетавшая талыми пятнами, изливалась льющимся лепетом;

[1] *Белый А.* Мастерство Гоголя. М.—Л., ГИХЛ, 1934, с. 234.
[2] *Белый А.* Символизм. М., Мусагет, 1910, с. 283.

Кукушечий клич клира покликивал с клиросов; Грустно-рунные струны с серебряных лютней срывая, кто-то бледный грустил, как прежде, грустил, как прежде.

Сближение прозы с поэзией, которое было одной из основных задач А. Белого, в симфониях выражается в том, что в прозу переносится такое специфическое для стихотворной речи средство, как рифма. Белый то рифмует отдельные небольшие отрезки текста, то концентрирует рифменные созвучия в рамках однородных членов. Этот способ сочетания рифмующихся слов используется в основном в «Кубке метелей»: Это шла *старина*, *весна*; кружевом *пролетающих* листьев, в далях *тающих*; и гнался за ней рев *звериный*, *старинный*; *снежинкой-пушинкой*; *красным*, *атласным* станом; Проливались *жемчужные* песни, — *снежные*, *нежные* сказки, *вьюжные*; *Вьющий* был ветер, *поющий*, *метущий*, волокна *вьющий*.

Помимо этих нарочито инструментованных фраз, в симфониях встречаются и отдельные сочетания, представляющие собой синтаксически связанные паронимы. Они в основном сосредоточены в Первой симфонии: в *мантии* снежного *тумана*; *бездонные* шатуны, туманные, *дымно-сизые*; вопли ветра — *северного Ревуна*; Ветер понемногу *сгонял* и *огонь*, и золото: нагонял синий вечер; И сам *король закрывал* морщинистое лицо свое красным рукавом; а когда *уставали*, *застывали*; *тростниковая страна*; она вся *заструлась* и *растаяла* облачком. Но есть и во Второй и в Четвертой симфониях: Глаза были *грустные* и *горестные*; *спрятавшись* и от времени и от *пространства*; *ленты* серебра певучие *налетели*; *метнул* громную *молнию*; *стеклянной* пастью *оскаленный* и т. п.

В «Серебряном голубе» картина несколько меняется. Разные приемы звуковой организации текста используются значительно более последовательно, чем в предшествующих произведениях. На смену концентрации аллитераций приходят менее подчеркнутые и более обычные для классической литературы сочетания, связанные повторяющимся начальным согласным звуком: *странно* и *смутно*; и *светил*, и *сверкал*; *болдела и бормотала*; *с жаркими*, *жадными* . . . поцелуями; волнением *жестоким* и *жадным*; *громкий гнусавый* тенорок; из-за *пышных*, *пыльных* груш; *как* черные *воры*, *как волки*. Подобные сочетания входят в состав более развернутых, в частности, трехсловных сочетаний: *сияла*, *светила*, плавала *в свете*; *седой*, *сухой*, *чужой* какой-то; *тихо*, *степенно*, *скромно*; *бури*, *битв*, *восторгов*. Эти сочетания дополняются сочетаниями рифмующихся слов, которые в романе употребляются довольно последовательно: на поверхности зеркала, *холодной*, *бесплодной*; в *шоколадном нескладном* платье; *крепко* и *цепко*; *лучисты* и *чисты*; *кипенье* да *пенье*; *густо* и *пусто*; в *жуткой* и *чуткой* тьме; *гадкие*, *сладкие*; *мразь* да *грязь*, в солнечном *блеске* и *треске* кузнечиков и т. п.

Более широко используются и синтаксически связанные паронимы. Помимо традиционного сочетания *ветер рвет*, здесь содержатся и менее обычные сочетания, основанные на звуковой близости: *осенняя синичья* сладкая пискотня; *колокольчики* у ног его *закачались*; гром, грусть, *страсть потрясали* стены эти не раз; Знает ли он, какие в золотом рыдали воздухе *струны — струи* ее души?; томно *тускнеет* сама *тоска*; давил и *душил душу* жар троицына дня; *вился* и *веял*; полк *малиновых мальв; стрижи . . . режут*, жгут. Одно и то же слово приобретает разные звуковые соответствия: *Кинула* зычные *клики* целебеевская *колокольня — клинькала* в синюю бездну дня целебеевская *колокольня*.

Подобным образом организуются и некоторые повторяющиеся сочетания: *пологий лог; хруст хвороста*. Определенные звуковые комплексы повторяются в разных сочетаниях, стремясь превратиться в звуковые лейтмотивы: Из *тумана* едва *мутнел темный* шпиц; *темная, томная* белоглавая . . . туча; в *мутной тьме*. На основе звуковой близости сочетаются слова не только в речи повествователя, но и в речи персонажей: *Строить*, брат, надо, *строгать* . . .; Но как *простить преступление?*

«Серебряный голубь» занимает в творчестве А. Белого особое место. Белый резко меняет свои ориентиры — от опытов перенесения в прозу музыкальной формы он обращается к творчеству Гоголя, которое становится своеобразным источником романа. С опорой на опыт Гоголя связано и более последовательное использование средств звукосмысловой организации текста, которую сам Белый ставит в зависимость от гоголевских приемов. Исследуя особенности звукописи Гоголя в поздней книге «Мастерство Гоголя», Белый обратил внимание на такие сочетания, как *радуга крадется; горы горшков; листья любистка; дребезжание дрожек* извозчика; крепкий, как у *черепахи, череп; вольно* и *плавно; плавно* словно *павы; трипло всхлипывали*; среди хаоса *колес* и *козел; яркостью красок; цапнет . . . царапнет*. К этим примерам можно прибавить еще целую серию разнообразных сочетаний, основанных на звуковой близости слов: *молния, изламываясь* между туч; *пестрое пространство; дрогнула дорога;* все *отстает* и *остается* позади; *окровавившись* и *покрывшись* пылью; Высокий *Криван, накрывший* свое темя, будто шапкою, серою тучею; все в *колокольнях, колоннах*, статуях, башнях; звуки *болезненно лобзают*; снегирь, словно *щеголеватый* польский *шляхтич; домы* росли и будто *подымались* из земли.

Объединение слов на основе звуковой близости было не чуждо и другим писателям XIX в. Сочетания такого типа встречаются у Толстого: *дым*, незаметно *подымающийся* в жаркое небо; вершины осин с обмытыми, ярко *блистающими* на холодном солнце *листьями*; отпечаток *коленей оленя*; у Тургенева: *залитый золотом* швейцар; неперестающим *широким шорохом; доступное* ему *достоинство*; точно у нее в горле *стеклышки столкнулись* и т. п.

Одна из излюбленных позиций, в которой паронимы сочетаются довольно устойчиво, — соположение: А река *ревет* и *рвет*, как дикий зверь; *бедная* Луиза, *бледная*, как полотно; *прям* и *упрям*; гостей *развели* и *развезли; щупая* себя за желудок и *щипля* за ухо; он полон *смолой* и *соломой* (Марлинский), она едва *держалась* на ногах и *дрожала* всем телом; *резко* и *редко; странно* и *страшно* неровен; *серой*, *сырой* землею (Тургенев), осенний *простор; пестрота* и оголенность; в нагроможденных друг на друга *долинах*, горах, облаках и *льдинах*; ночь была *свежая* и неподвижно *светлая; оглянулся* на Оленина и *пригнулся*; Как хорошо показалось небо,. как *голубо*, спокойно и *глубоко!; душистые*, *пушистые* кашки (Л. Толстой).

Собственные имена, так же как и апеллятивы, попадают в сочетания, основанные на звуковой близости. Некоторые из них носят вполне обычный характер, например, *Вронский вернулся* у Л. Толстого, но есть и такие, в которых звуковая связь подчеркнута. Так в «Вешних водах» Тургенева акцентирована фамилия *Полозов*, имеющая звуковые соответствия и в авторской речи (*Полозов . . . полез*, кряхтя, в карету), и в речи самого персонажа (Еще бы мне не *пользоваться*! И *полезный* же я ей человек!).

Таким образом, вольно и невольно, А. Белый продолжает традиции русской прозы — в разных ее проявлениях. Одновременно он соприкасается и с писателями современниками, прежде всего с А. Ремизовым, в разных вещах которого содержится целый ряд паронимических сочетаний: *уханье ухабов;* улыбались *губы*, страдая, *губя*, и целуя, и звали-обещали *притуманенные темные* глаза, пели песню; в знак *позора* и *презренья*; вспыхивали *дрова* и *деревья*; капельки крови, *горячие*, *горькие;* с *печатью* остывших бурь *пучины* греховной; и зоркие птицы, как черные молнии, *молча мчались* к востоку; все мысли его *ломались* как *соломинки*; дождик серыми *каплями-лапками* пополз по крыше; она повисала на плечи, и *давила*, и не *давала* выбраться; *торчит чертополох; руки* ее — *реки* текут; и в колеснице — *оскаленный скелет* в терновом венце; *путали перепутья; искривленными кровавыми* очами. Паронимы объединяются и с собственными именами: Не *покличет* ли кто *Калечины; Коротит* день *Корочун; Каркал Кок-кокоряшка*.

«Петербург» характеризует еще большее тяготение к сближению рядом стоящих слов. Важные в смысловом отношении слова объединяет аллитерация: *белый*, *бледный* и *бешеный*; *будет — бред*, *бездна*, *бомба; монотонно*, *медлительно*, *мертвенно; мрачные мрежи* из реющих *мороков*. Центральные в смысловом отношении слова — *роковая рука*, *шар ширился*, *лак*, *лоск* и *блеск* связаны паронимическими отношениями, которые распространяются и на другие, довольно многочисленные сочетания, не столь ответственные со смысловой точки зрения: *пепел* и *пыль; вздымался дымовой* столб разговора; *разблистались листики* инкрустаций;

петербургские *купола* ослепительно *закупались* однажды в октябревском морозном воздухе; с *душившим душу* восторгом; *прогромоздились грозящие Гауризанкары* событий; с одинокого *гробового бугра; колыхался*, как *колокол*; с кровати *ослепительной спаленки; кони кинулись;* из зеркала . . . *посмотрела смерть* в сюртуке; *старичок строчит* мемуары; жестяное *горло* грамофона *изрыгало; оступаясь и путаясь;* над *окровавленным ковриком*; был в сумасшедшем *парении* с *нетопыриным* крылом; *пал* мохнатыми *лапами; текли котелки; многоголовую, многоголосую*, огромную черноту и т. п.

В то же время рифма почти полностью уходит из поля зрения писателя. Такое сочетание, как *медная, бедная молодежь* представляет скорее исключение, нежели правило. Приближая ритм прозы к стихотворному, Белый в «Петербурге» отказывается от использования более явных и наглядных приемов стихотворной речи.

Ключевые слова романа и его отдельных сюжетных линий пересекаются в звуковом отношении. Такие слова, как *проспект, пространство, пустырь, преступление, праздный, призрачный* находятся в явном звуковом родстве, которое постоянно подчеркивается: мокрый скользкий *проспект пересекся* мокрым *проспектом;* европейский *проспект* есть не *просто проспект; пересекая* эти *пространства; простиравший персты; простирались* холодные руки из *пространства в пространство;* и *простерлись проспекты; преследовал праздною* мозговою игрой; за *простые* случайности, за *посторонние*, совершенно *праздные* мысли; *проснулась* боязнь таких *широких пространств*; а так *приступая, преступали* они какой-то душевный закон; *преступник, распятый* страданием и т. п.; ср.: второе *пространство сенатора, странные страны, странное* поведение *сенаторского* сына.

Некоторые слова в разных контекстах приобретают разные звуковые соответствия. Однотипные паронимы имеют отчасти совпадающий круг соответствий, разные контексты частично пересекаются, часть их непосредственно связана с опорным повторяющимся словом. Этот принцип многократного отражения звукового состава определенного слова (или слов) в серии других характеризует и развернутые фрагменты текста. Для звуковой организации «Петербурга» существенно последовательное развитие длинных звуковых рядов, охватывающих главы и их серии. Фрагменты текста, в которых слова сближаются, чередуются с фрагментами, в которых они отделены друг от друга значительными промежутками.

Одно из сквозных слов романа — *ветер* имеет несколько разных соответствий. В нескольких главках повторяются слова *ветер* и *подворотня*, которые приобретают звуковые соответствия в строке или соседних строках: Край *подворотни* перед ним *завертелся*; Аполлон Аполлонович невольно прислушался к го-

лосу, озирая *мертвые подворотни*, стрекотавший в *ветре* фонарь и отхожее место; в скважинах *просвистал сыроватый ветер* морской; *ветер* стонал в *подворотне* и напротив сразмаху ударился о железную вывеску «Дешевой столовой». Другие соответствия слова *ветер* также объединяются с ним или стоят от него на недалеком расстоянии: *Ветры вторили*: — Отцеубийца! — Обманщик!; *ветер* из *отворенной форточки* ледяною струей присвистнул на ясном атласе; *отвратная* грязь *непроветряемых* кондитерских кухонь; свивались и развивались их белые *веера*, производя тихий *ветер* и т. д.

В такие объединения включается не только слово *ветер*, но и другие, близкие по звучанию слова: *верста*, *отверстие*, *вертлявый* и слова со звонким согласным: *дверь*, *двор*, *дрова* и т. п.: с *отвращением отвернулся* от пестрого зала; в уме *завертелись* давно *затверженные* строчки; средь цилиндров, околышей, котелков, *косовороток*, шинелей — в световой, тусклой мути, являющей из-за бедных финских болот над *многоверстной* Россией геенны *широкоотверстую* раскаленную пасть. Между этими объединениями однотипных в звуковом отношении слов рассеяны отдельные слова с аналогичным или сходным звуковым составом.

В каждом звуковом ряду можно выделить несколько центральных слов, которые не только приобретают разные соответствия, но и объединены между собой смысловыми связями. *Домино* появляется в окружении слов *дом*, *дама*, *дым*: В этом *доме* хозяйкою была *дама*. . . Эта *дама* однажды, смеясь, ему сообщила, что какое-то красное *домино* повстречалось с ней только что в неосвещенном подъезде . . . Даже и сплетенный *дым* поднимается от огня.

Связываются два лейтмотива романа—*домино* и *дым*. *Домино* и *дама* — обозначения двух центральных героев романа — Николая Аблеухова и Софьи Петровны. Николай Аблеухов — не только *домино*, но и «*неведомый*, бледный, тоскующий — *демон* пространства», а Софья Петровна — не только *дама*, но и *ведьма*. Эти лейтмотивы в свою очередь пересекаются с лейтмотивами Медного всадника и Петербурга: *дымный*, *медный*, *темный*, *туман*, *муть*, *тень*, которые неоднократно сочетаются в небольших отрезках текста. Естественно, что этими сквозными звуковыми рядами дело не исчерпывается, их в романе больше, но принцип их организации таков же, ср.: *слякоть*, *стекло*, *котелок*, *тусклый*, *костлявый*, *скелет*.

В некоторых отрезках текста сквозные звуковые лейтмотивы романа окружены парами и цепочками разнотипных созвучий. Небольшие фрагменты текста строятся как лирические стихотворения: Куст кипел; белогривые полосы полетели с залива; они подлетали у берега клочковатою пеной; они облизывали пески; будто тонкие лезвия, они неслись по пескам; доплескивались до соленого озерца; наливали в него раствор соли; и бежали об-

ратно. Меж ветвями куста было видно, как раскачивалось парусное судно, — бирюзоватое, призрачное; тонким слоем срезало пространство острокрылыми парусами; на поверхности паруса уплотнялся туманный дымок.

Одну цепочку перекликающихся слов образуют слова *залива*, *облизывали*, *лезвие*, *доплескивались*. Это последнее слово обращено к таким разным словам предшествующего отрывка, как *кипел* и *полосы*. Его консонантный состав отражается и в некоторых словах дальнейшей части текста: *наливали*, *соли*. От слова *озерца* тянется нить к таким словам, как *парусное*, *бирюзоватое*, *призрачное*, *срезало*, *пространство*, *парусами*.

В следующем отрывке те же созвучия приобретают иное лексическое наполнение и включены в иное звуковое окружение: За столами писцы; на стол приходится пара их; перед каждым: перо и чернила, и почтенная стопка бумаг; писец по бумаге поскрипывает, переворачивает листы, листом шелестит и пером верещит (думаю, что зловещее растение «вереск» происходит от верещания); так ветер осенний, невзгодный, который заводят ветра — по лесам, по оврагам; так и шелест песка — в пустырях, в солончаковых пространствах — оренбургских, самарских, саратовских. . .

Звуковой облик этого отрывка образуют такие переклички, как *за столами — листом шелестит — по лесам — шелест; пара — перед*, *перо*. Это последнее слово входит как составная часть в слово *переворачивает*, которое соотносится с сочетанием *пером верещит*. Перекликаются и слова *приходится — происходит*, *ветер — вереск*. Постепенно на первый план выходят слова, связанные повторяющейся группой согласных, *растение*, *пустырях*, *пространства*, *саратовский*.

«Петербург» занимает промежуточное место между ранним творчеством Белого и его поздними романами. Принципы организации текста, которые станут затем основными в произведениях большой прозы, сначала были опробованы на периферии. В книге путевых заметок «Офейра», датированных 1910—1919 гг., паронимия представлена гораздо более широко и явственно, чем в «Петербурге»: *ветер*, который бил в спину нам, *вертится* белым винтом, ср. в стихах: *ветер* — винт *перевертной*, *ветер верткий* вором; выпали *стаи сует* из души; *смешное смешенье; древние деревья; режущим скрежетом;* разводы *распластанных полосатых* хвостатых фазанов; *перепластавшись расплюснутым* носом; среди *толока тел; выспренним присвистом; развернулся* причудливый *веер* культуры; *разлапыми пальмами; гребни* Атласа, *горб* Захуана; в *синеющей сени;* вечерние *просини* белых *простенок; парчевый чепрак; грациозно гарцуют; оловянный отлив* низкорослой *оливковой* чащи; от *калимого* солнцем *калеки* и т. п.

Не только резко увеличивается количество слов, входящих в сочетания, основанные на звуковой близости, но отчасти ме-

няется и характер этих сочетаний. Значительная часть паронимических сближений представляет собой метафоры: *фыркнувший фейерверк* скрипок и слов; летающий воздух — *златистый злодей (злодей золотой); рог горы*; среди *бури бурнусов*; саваны *бурных бурнусов; выбрызнуть* белый *бурнус; скелет — скалится; скалится скалами* остров.

В «Котике Летаеве», «Крещеном китайце» и «Масках» увеличивается количество перекликающихся слов, в частности паронимов в небольших отрезках текста, меняется их концентрация, так как пространство, на котором осуществляется звукосмысловой эффект, сжимается. Близкое соседство некоторых слов заменяется более тесной связью между ними. Распространенная в «Петербурге» пара *тень-стена* входит в такие сочетания, как *бестенные стены*, среди *стен* и *теней*, *теневая стена*. Пара *веер—ветер*, сближенная в «Петербурге» в пределах фразы: Свивались и развивались их белые *веера*, производя тихий *ветер*, сближаются еще больше: *веер*, *ветрящий* ей в грудь; пара *ветер—ветки* преобразуется в *ветрящийся*, *ветвящийся*.

Становятся разнообразнее и типы паронимов. Помимо паронимов вокалического типа (*малоплечая*, *палочка;* на угол *пылеющей площади; фиолетовая флейта;* в *васильковой веселенькой* кофточке; в *сероватых суровых* чехлах; *история заострилась* вершиной; *сутулый стул; ражая рожа; пластались листья;* в них ребенок *бродил*, в них и *бредил*, как все и т. п.), появляются и паронимы других типов [3]. Белый неоднократно прибегает к поэтической этимологии, звуковой состав ряда сочетаний частично совпадает: *вещи . . . вещают; блескогромное*, *огромное* облако; *вещие вещи; белокурые куры; перс* в полосатом халате отчавкает *персиком; носит* поддельный он *нос; кубовый кубик; пять* коричнево красных *пятен; жестокая жесть* университетского быта. К сочетаниям такого рода примыкают и такие сочетания, как *бледный ледник;* из *лазурной глазури; прапор рапортовал*. Приобретает развитие и метатетический тип паронимии: О рухнувшем *космосе. . .*, о *Москве*; мамочка, *лиска*, *оскалилась;* о *гадине*, о мировом *негодяе;* события жизни, которые бьют, как *оглоблею, — благодеянья; клонит локон; затяпает пятками; листолапая пальма; песнями сипнуть; стеклянные тускли; мутень тумана; гусельчатый голосочек* и *т. п.*

На этом фоне особенно заметны сочетания консонантного типа, которые имеют в прозе А. Белого две разновидности. Одна из них связана с изменением конечного согласного: *заторами* мертвых плотов и *затонами* бревен; *сигала сигара* коричневая; *ржавыми ржаньями; бархаты барсовых* шкур; *разворох разворота; дидактический дактиль*. Другая разновидность паронимов этого

[3] О типах паронимов см.: *Григорьев В. П.* Поэтика слова М., Наука, 1979, с. 280—283.

типа связана с изменением начального согласного: *шаровое* и *жаровое; мама* становится *дамой; дама* становится *мамой; синие линии пинии;* за *писками* дудок, за *дисками* света; из-за смерти глядела на *тело:* на прошлое *дело* свое; *дом* — каменный *ком; губы кубовые.*

В «Масках» содержится целый ряд паронимов эпентетического типа: *грубые губы; бронзовый бонза; крепкая кепка; и фанты и франты; лента лет; многоочитая, чистая скатерть; пяткой,* как *плеткой; кляклая кукла;* ср. *фоны фронтона;* ему принесли шоколадного цвета *сигару;* он сняв *сигнатурочку,* ловко обрезал, вскрыл.

Кроме сочетаний с совпадающими согласными, используются и сочетания смешанного типа, основанные на объединении слов с согласными разного качества — звонкому (звонким) согласному (-ным) одного слова соответствуют глухие согласные другого слова: *златистый злодей; изумрудинки* мушек, *смородинки* божьих коровок; два *колеса* — не *глаза!; согласились глаза; глазастым согласием;* двадцать пять *болтунов* просто *лопнут; бледной сплетней; серебро* канделябров, *серпчато* изогнутых; бабочка зимняя *бархатцем* карим *порхала* под лампою. Объединяются и слова с шипящими и *ч: рушился ржаво-рыжавый* косяк; точно *ящерка,* шустро *шуркнула; плащ . . . плюшевый; пляшущие плечики; пещерные* излучины *черепа;* с заднеязычными: *хрупкие скрипки; драгун — дракон* Даков; *щелкает щеголь.*

Помимо парных паронимов, для рассматриваемых произведений характерны вариации одного и того же созвучия, которые объединяются в строке: *порохи, прахи* и *порхи; милой малюткой,* снежинкой *мелькает;* качается сколотый *вырез росистою розовой розой; стол,* накрытый снеговою скатертью, ясно *блистал хрусталем* и *стеклом; гулькали сивоголовые голуби;* и от него *стрекулист,* приказная *строка — стрекача; суетится устами усатыми* он; *синяя, сирая Русь;* барабанными *палками забалалакали балки; моргая* днезамп, *море морочит; катали—кидали* корявые *клади;* мне *чорт* был *чертой,* за которой *встречал* меня мир и т. д. В «Петербурге» процесс объединения близкозвучных слов в трехчленные сочетания только начинается: *пятипалая лапа упала* на кресло; *прилетели плиты* паркетного *пола;* котелок, *изукрашенный* ночью *рыжим кружевом* фонаря. В более поздних романах оно превращается в устойчивую черту словоупотребления. Эффект отдельных фрагментов текста строится на многократном отражении состава слова в других словах: *юбка кубовая* под *боа:* в *кубы кубовые;* иль — мадам *Кубоа* из *Баку.* В некоторых случаях звуковой ряд можно представить как результат распадения многоконсонантного слова: *застрекотали* строгими *стрелками* на циферблатном *оскале; стрельнула* в пространство *стальным острием.*

Некоторые сочетания основаны на том, что одно из слов представляет собой часть другого: *вой снеговой*, ср. в *световой Вой* миров; *бирюзовый зов*; в небе совсем *бирюзовом* преясно живеют от облака певчие светочи — *зовом*, ср. *бирюзовый*, как *зовы*, мой сон; *жестокое око; усы — хрусталями*, ср. в «Петербурге»: потоком *тяжелого олова*. Актуализируется часть слова, равная не существительному, как в предшествующих случаях, а наречию, местоимению и др.: Брат Никанор, озабоченный *очень очечком* стрелял в Серафиму; *мой, мой* рукомойник — не ваш; Если он, даже *он* зашатался, так — что же Леоночка; *Соломон* — но перемазанный *салом, он салом* обмазал; пустая иллюзия — «я». В соотнесенные пары включаются и служебные слова: Ноты на гамму *нанижутся*, как *на нитку* хрусталинки; падают с треском *заборы — за братом* Иваном; в касьяновских луговинах. . ., где *на заре — Назарея*.

Звуковая близость слов становится основой тропов. Так строятся сравнения: *Болотце* сырое блеснуло вдали синим *блюдцем;* докучливо *мысли* грызню поднимали в виске, точно *мыши*; звезды — зернистые *искры*, метаемые, как *икра*, как-то зря, — этой рыбой-вселенной; а износилася *психика*, как в шелудивую *психу*, — осиновый кол; *мыло* слизистое, а не *мысль*; два белых *клока*, как *клыки*; облеплялись, как *мухами, слухами; глазки* — две *ласки; глаза лазулитами* стали; старые *ямы* открыты, как . . . старые *язвы; башни*, как *бабы; память*, как *ямы* невскрытого света; *память*, как *пламя*. На объединении паронимов строятся и метафоры. Некоторые примеры такого рода уже приводились, вот еще несколько метафорических сочетаний, основанных на звуковой близости: Он — выкинул сорок *балконов*, он — ими *осклабился; горизонты* стояли *изруганы* громом; *сатанел* на *стене; возлег* на ней *взглядом; суетится устами усатыми* он; *зубья забора*. Гораздо реже паронимы используются при противопоставлении: все вороны мои — не *простые*, а *пестрые;* не *пуля*, а *дуля*.

По мере расширения словесного материала, которое характерно для поздних романов Белого, в звукосмысловые отношения вовлекаются диалектизмы, просторечие, заимствованные слова, слова других языков, собственные имена, окказионализмы.

Между собственным именем и его окружением складываются два типа отношений — этимологические, когда апеллятив ориентирован на внутреннюю форму слова, и ассоциативные, когда контекст отражает звуковой состав имени. Обыгрывание внутренней формы собственного имени встречается уже во Второй симфонии: Он пожелал загореться проповедью перед московскими учениками. . . здесь мерцали утренницы, подобные *Дрожжиковскому*. Это было *дрожжевое* тесто, поставленное в печь искусным булочником. В более поздних произведениях — в «Серебряном голубе»: Вот она уже в местах святых, *целебных — целебеевских;* в «Петербурге»: К Софье Петровне *прилип* толстейший мужчина. . .

Липпанченко; Липпанченко, прилипающий к юбке ее, ее вовсе притиснул; только в силу этого знания не *отлипает Липпанченко;* в «Крещеном китайце»: Не понимает он музыки; и — называет все то, что там скачет по клавишам — *шумом*: не *Шуманом* (случай ложной этимологии); есть оно и в «Москве», и в «Масках»: *Грибиков* кушал *грибочки; пропятясь. . . задом*, сидел *Задопятов;* такой кривопузой, такой кривозадой развалиной; он ерзал и *задом* и мыслями; *от пяты Задопятова*; как возьмут *Могилев* — нам *могила*.

Однако гораздо чаще в поздних романах Белого между собственным именем и контекстным окружением устанавливаются ассоциативные звуковые связи. Средства описания персонажа связаны с его именем и актуализируют его звуковой состав: Какой-то мужчина и *пламкал* и *пхымкал*: за дверью. . . *Пхач*: оккультист, демонолог; адвокат *Пероковский: пороки* описывал так, что *перо* переламывалось; адвокат Пероковский *выудил* сумму у *Юдина*, спер у *Четисова честь; Мертетев* — токующий *тетерев; Велес до вола* перед зеркалом пыжился; *Велес — перевесился; провались — Велес*, Тертий, Мирра; *Велес. . . висел;* Кадмиций Евгеньевич *Капитулевич. . .* такой *полнотелый* мужчина, *пленительный, плотолюбивый; Пупричных, в пупырышках*, пестрый халат подавал и т. п.

Звукосмысловые связи распространяются не только на речь автора, но и на речь персонажей, выходя за пределы каламбурных сближений типа *барон — борона, графиня — графин, халдей — халда* в «Петербурге»; *Лондон — ландо* в «Котике Летаеве» или *не лечат аптеки, калечат* в «Москве». Вот несколько примеров звуковых сближений в диалогической речи: -Кривляется.-Перековеркали; -Дух? -Худ.

Расширяя круг слов, которые вовлекаются в паронимические отношения, Белый одновременно возвращается к уже использованным сочетаниям, развивая их возможности. Это в первую очередь слова, которые представляются ему древними корнями (*шар, жар, пар, гарь, море, мир* и т. п.): *яркий, жаркий; шаровой, жаровой; яркий жарч; карь гари; каряя перегарь*, ср. *золотокарие гари зари, перегаром* и *паром; пар гарный; жаркого пара; яро шарит* и т. п. Слова *мир, море* входят в сочетания *марево мира, мироморное марево*, ср. в стихах: *марево моргающих миров. Трехмерный мир* «Петербурга» преобразуется в «Масках» в *многомерного мира трехмерные мороки*. В «Котике Летаеве» в разных вариантах соотносятся слова *море—мир:* в нас *миры — морей:* «Матерей»; блистают *миры* молоточков; и разливается *море* руладой рояля; в «Крещеном китайце»: *море моргает* диезами; ср. в «Офейре»: *маревным заревом мрамора*.

Из поля зрения Белого не уходят и другие средства звукосмысловой организации текста. В поздних романах он продолжает сближать однокоренные слова: *сутулое туловище, спокойные*

покои, *картонная карточка*, дыры *отдушин душили* угарами, *склоны*, *поклоны*. Разрабатывая возможности словообразовательного гнезда, он строит на сближении однокоренных слов отрезки текста, важные в смысловом отношении: Запорхали *события* жизни в *безбытии* звуков; *Составы* предметов — *несставы*: распались; И мировые *устои* — растают: в *нестои*; Жизнь моя началась в *безобразии*: и продолжилась — в *образы*.

Одновременно приобретают развитие и такие традиционные средства звуковой организации текста, как аллитерация и ассонанс: *Мутные*, *мощные*, *мрачные*, *переменные миги мои мне* рисуют события, со мною не бывшие вовсе: скрытые мысли: о *люже*, *Лозанне*, *Леоночке*, *лаборатории*. В «Котике Летаеве» аллитерация организует не только небольшие отрезки текста, но входит как вспомогательное средство и в его развернутые фрагменты. В «Масках» звуковое развитие отдельных строк и даже относительно развернутых фрагментов текста продиктовано ассонансом: На зелени светлой ожелченных светлых дерев, в белосером и белосеребряном небе — день делался вечером; В сырости снизились в дым кисти ивовых листьев.

Две противоположные тенденции — к сближению перекликающихся слов, с одной стороны, и к разъединению их — с другой, в «Петербурге» уравновешивают друг друга. В более поздних романах тенденция сблизить их вырывается вперед: перекликающиеся слова не рассредоточиваются по абзацу, как в «Петербурге», а все более сближаются. В небольших отрезках текста объединяются разнокорневые паронимы. Паронимы могут быть четко противопоставлены своим звуковым составом другим парам или группам слов, в свою очередь связанных друг с другом: Ком *грязный грыз тряпки трепаной; ярко*, *жарко*, — из черного морока *угол*, как *уголь* пылающий, выбросил там этажерку; . . . под *яркими арками* в зареве мрамора *острые пестрости* тешили: тешили *плотными плитами* пылкие яшмы, и *синие линии* ластились *лянис-лазурью*; стена *пурпурела порфиром; стрекозящая сетка стекляруса* вся кипела, *дрожала*, *дышала*.

Не менее характерна текучесть звука, когда паронимы погружены в близкую звуковую среду, существуют на фоне звуковых повторов меньшей глубины: *шопоты*, *шумы*, *шипы;* в *режущем скрежете жолоба; шуршащие шарики: мыши;* с *щеголеватым*, *щеглячьим*, *щепливеньким* личиком; *болтливым бабьем баобабов*. Текучесть звука, нагнетение однотипных звуковых сочетаний характеризует и более развернутые фрагменты текста: и — грохнуло, затарарыкали: хлопоты топотов, ропоты рокотов громких пролеток; из мрачного морока Монте Реале мы пали под яркие арки; пылало Палермо под заревным маревом мрамора, падая в мраморный наговор волн, лабрадорово синих.

Сближаются и независимые, синтаксически не связанные, паронимы, которые объединяются во фразе: В лиловые *лапки*

узориков ставили: одеколон, валерьяновы *капли*; грезился ей *молодой* человек, математик, внимающий разговорам о *модулях; прилипают* мне к носику линии деревянных волокон двумя темнородными пятнами *перепиленных* суков. Два типа паронимов объединяются в одном небольшом контексте: тепло разливанное луж *остывает окладами холода;* огненным *остовом* кто-то занесся в зеленое небо; *сутулые* плечи не *дрогнут*: лишь *стул* проскрипел, да нога незаметно *дрыгнула*; Так и ломит заборами ветер, летя на Москву; *улизнул* в переулок сигать по дворам; вдруг по крыше *лизнул;* и, как ветром надутый картуз, переулок *приплющился;* ветер, махнувши *Плющихой*, ударился в Брянский вокзал! Паронимы синтаксически связанные сочетаются с паронимами независимыми, но принадлежащими к одному и тому же ассоциативному полю: Вот *крепкий*, как *крепость*, *забор: перезубренный*; гнется *береза* в *окрапе* — коричнево-сером; дозирающий лик тети Доти из зеркала подымается; по краям серых стен повалили на нас *бестолковые толоки:* Афросинья рубит *котлеты*.

В относительно развернутых фрагментах текста объединяются разные способы звукового сближения слов. Фрагмент текста (например, абзац) организует аллитерация, на фоне которой появляются паронимы — таким образом границы между словами размываются: Картонная карточка капает красным крапом нам на пол. Клоун кланяется: — кипарисовой, деревянной рукою откроет он деревянные двери столовой: половою щеткой красит бестенные стены; краснопечивые миги в спокойных покоях растут на обоях кровавыми крапами, точно древнее древо: — краснопечивые карусели кипят; кипятками калят; колесят краснолетом (Котик Летаев).

Хотя звуковые соответствия часто устанавливаются между рядом стоящими словами, звуковые переклички не ограничены ими — фраза строится так, что звуки либо постепенно нагнетаются, либо паронимы бросают тень на целый ряд слов, соотнесенных с ними в большей или меньшей мере своим звуковым составом. Звук, как эхо, распространяется по фразе.

Существенные для Белого идеи звукового символизма, изложенные в «Глоссолалии», отразились уже в «Петербурге», где один из персонажей рассуждает о символике звуков: «Я вообще презираю все слова на *еры*, в самом звуке *ы* сидит какая-то татарщина, монгольство, что ли, восток. Вы послушайте: *ы*. . . .Все слова на *еры* тривиальны до безобразия: не то *и*: *и-и-и* — голубой небосклон, мысль, кристалл; звук *и-и-и* вызывает во мне представление о загнутом клюве орлином; а слова на *еры* тривиальны; например, слово *рыба*; послушайте: *ры-ы-ба*, то есть нечто с холодною кровью. . . И опять-таки: *м-ы-ы-ло* — что-то склизкое; *глыбы* — бесформенное; *тыл* — место дебошей». В соответствии с этим организован и небольшой фрагмент текста, непосредственно примы-

кающий к этим рассуждениям, *ы* акцентировано в некоторых словах: Незнакомец мой прервал свою речь: Липпанченко сидел перед ним бесформенной *глыбою*; и *дым* от его папиросы осклизло *обмыливал* атмосферу: сидел Липпанченко в облаке; незнакомец мой на него посмотрел и подумал: «тьфу, гадость». . . Перед ним сидело просто какое-то «*Ы*». . . С соседнего столика кто-то икая, воскликнул: — Ерыкало ты, ерыкало!. .»; И *трубы* машины *мычали* во здравие *быкобойца*, как *бык* под ножом *быкобойца*.

В поздних романах идеи звукового символизма осуществляются более последовательно. Большие фрагменты текста организуются единым сквозным звуком или определенным набором звуков. В «Крещеном китайце», где идеи звукового символизма во многом определяют способ изображения, последовательно подбираются и нагнетаются слова, объединенные определенным звуком, с которым связана та или иная идея, например, подбираются слова на *м*, которые должны передать мертвящее начало: Мертвелью пахнет — остынет в мерзлятине все: морозновато; в старомодном «мантоне» и в бористой шапке с «мармотками» — заболевая мозжухой в костях; На окошке стоит мелколапчатый цветик, плесневея давно; за окошком — мокрель; вольноплясы снежинок — мелькают, мельтешут.

Отдельно взятый звук перестает быть средством инструментовки, а становится средством выражения идеи, которая выражается и другими способами. В связи с этим возникают звуковые лейтмотивы, например, лейтмотивы персонажей, которые определяют звукосмысловую организацию целых глав. Например, в «Котике Летаеве» в главах «Клоун Клеся» звуковой комплекс *кл* входит во множество слов, некоторые из них связаны друг с другом и более глубокими перекличками: Валериан Валерианович посылает *лакея* — за угольным, *тяжелейшим кулем*; *куль* приносится. . . Клесе, и — *жжет* его Клеся, превращая горючее вещество в дым и блеск. Этот Клеся — искусник, кудесник, чудесник! Вечно бегает по дому, *поклоняясь* блеску и треску; и — кланяясь куклою; клоун — он. Клоун Клеся есть кукла; он куплен: уступлен; он — в кардонку, скривленный, уложится ночью: на беленьких стружечках! . . . Клоун Клеся есть кукла не нашего мира: колдун! Звуковой комплекс *др* сближает словесный лейтмотив романов «Москва» и «Маски» «*удар*» и фамилию одного из главных действующих лиц романов, злодея Мандро. Он определяет звуковую организацию специально выделенных фрагментов текста и отдельных словосочетаний, в первую очередь сочетаний, ориентированных на фамилию Мандро: *Мандро дернулся; морда Мандро; вздрогнул Мандро* и т. п.

Как уже говорилось, в звукосмысловую систему прозы Белого входит рифма, которая в поздних произведениях приобретает относительно устойчивый характер. Позиция соположения остается неизменной: *красные ясные* лучики; *вопиющих поющих*

лучей: и *чертит*, и *вертит*; и *струнно*, и *струйно*; *жутко* и *чутко*: жужжат рукомойники; об Адаме и рае, о *Еве*, о *древе*, о древней *земле*, о *добре* и о *зле*; *сушеный цветочек*, *душеный платочек*; стеклянный *дракончик*, граненый *флакончик* и т. п.

Рифма используется и за пределами соположения. Рифмующиеся слова иногда выделяются в отдельную строку: То, над чем я сижу, *глубина*: и она мне *темна*, и она мне *мутна*; *Тризна отчизне — брызнь* света и *жизни* или в отдельный абзац. Их рифменная сущность таким образом обнажается и актуализируется. Рифмующиеся слова могут находиться и в других специфических условиях, в частности, в начале или в конце главы, и в этих случаях тяготея к самостоятельности, к выделению определенного фрагмента — на фоне других, безрифменных — и неся большую смысловую нагрузку. Например, рифмуются отрывки, задающие тон повествованию, подводящие итоги, содержащие лейтмотивы: Вращается веретень дней — тень теней; Дом — каменный ком; *дом за домом* — ком-комом, *фасад за фасадом* — ад-адом.

Специфичность рифмы в неустойчивости ее позиции. Как в некоторых стихах позднего Белого рифма отрывается от конца и начинает «бродить» по строке, так и в прозе рифмующиеся отрывки включаются и в начале абзаца, и в его середину, не отграничиваясь графически от всего остального абзаца, причем переходы от рифмующихся отрезков текста к нерифмующимся происходят в пределах одного предложения: Я *слаб*, да я — *раб*: утопаю опять в бормотании *баб*, закопавшись в матрацик до утра. Рифма встречается и на стыках двух синтагм или переходит из абзаца в абзац, связывая конечное слово одной строки со словом, стоящим в середине другой: . . . На лысую голову шара земного надели цилиндр, очень черный; рукой роковой нахлобучили ночь; одиноко и *строго*. Сажусь я под окна; и ночь *чернорого*: уставилась в окно.

Одни и те же рифмующиеся слова в перекликающихся отрывках встречаются в разной позиции, рифма то подчеркивается (Запыленный парик красный отсверк, как насмех, разбрасывает в фешенебельный *штамп* — с канделябрины: — под бронзой *ламп*!), то нейтрализуется синтаксическим членением текста (Лондонский тон, фешенебельный *штамп*: в бронзе *ламп*, в жирандоле).

Рифма, включаясь в прозаический текст, преобразует его строение: возникают контрасты между рифмующимися и нерифмующимися отрезками, перестраиваются устойчивые элементы прозаического текста; начинают рифмоваться лейтмотивы, повторяющиеся фрагменты текста отличаются друг от друга не словесными вариациями, а расположением рифмующихся слов и т. д. Сближение прозы с поэзией, начавшееся у А. Белого с появления рифмы, заканчивается тем, что рифма приобретает большой вес в произведениях, ритм которых преобразован в соответствии со стихотворным ритмом и приближен к нему.

Так в прозе А. Белого постепенно складывается своеобразная, сложная и гибкая звукосмысловая система, представляющая собой иерархию разнотипных способов звуковой организации текста.

С. Н. ШЕПЕЛЕВА

НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮЦИИ РУССКОЙ РИФМЫ. XX ВЕК

В статье излагаются результаты эксперимента, направленного на выявление и статистическое описание некоторых общих закономерностей развития рифмы в русской поэзии. Наше внимание обращено на процесс изменения ряда количественных характеристик рифмы в ходе ее эволюции. В предыдущих статьях данного цикла [1] описаны исходные принципы исследования: методологический анализ с обоснованием необходимости алгоритмического подхода и обращения к «случайной» выборке текстов — представительной и удобной для исследования, — операциональные определения основных параметров — количественных характеристик рифмы, — техника их измерения. Кратко повторим лишь самое необходимое.

Объект исследования — концевое рифменное созвучие. Материалом послужила выборка фрагментов стихотворений из русских журнальных публикаций. Рифменное созвучие рассматривалось с точки зрения трех параметров: местоположения, богатства и степени отклонения от точности совпадения звучания его элементов. Местоположение концевого рифменного созвучия в данной строке (параметр М) — определяется как среднее из местоположений его левой и правой границ (таким образом фиксируется центр созвучия): $М = \frac{Мл + Мп}{2}$. Расстояния от правого края строки до границы созвучия выражается в числе фонем. Параметр М для рифмующейся пары строк получается как среднее значение параметра М для первой строки (М1) и второй (М2), например для рифмы *души — дрожит* М1=2, М2=3,5, М=2,75.

Богатство рифменного созвучия (параметр Б) — это число пар фонем, составляющих его (фонем, образующих собственно звуковой повтор), например, богатство рифмы *светла — стрела* равно 5. Для определения степени отклонения созвучия от точности совпадения звучания (параметр Т)

[1] Шепелева, Петров 1981; Шепелева 1981; Шепелева, Петров 1982.

введена шкала оценок. Оцениваются визуальные различия, изменения слого-силовой структуры созвучия, изменения порядка следования фонем, специфичность звучания фонем. Пользуясь построенной шкалой оценок, можно просуммировать все виды отклонений от точности для данной рифмы и получить значение параметра Т (Шепелева 1979).

Изучение внутририфменных процессов в русской поэзии последних трех десятилетий — с 1950 по 1980 г. (Шепелева, Петров 1982) позволило проследить изменение анализируемых параметров в довольно широком диапазоне и отметить периодичность колебания их средних значений (см. участки роста и падения эволюционных кривых). Обнаруженная зависимость является объективным отражением общей эволюционной тенденции к смене, варьированию художественных приемов (или их отдельных характеристик) для обеспечения их «информативности» (необходимой силы воздействия). Материал позволил также наметить крайние значения — пределы возможных изменений данного параметра — , величины периодов и взаимозависимость изменений каждой из рифменных характеристик.

Выявленные тенденции, как показало дальнейшее исследование, прослеживаются на материале более длительного временного отрезка — выборке стихотворений за период с 1900 по 1980 гг., которую составили 4800 рифм [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

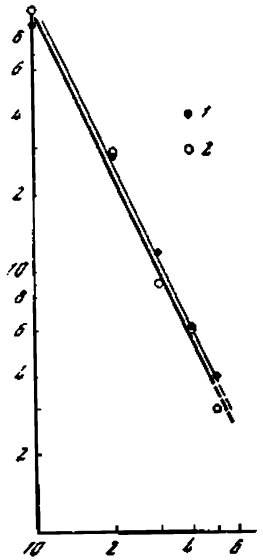
На рис. 1—4 показаны результаты проверки представительности выборки (проверки гипотезы о том, что материал для исследования за период с 1900 по 1980 г. отвечает принципу случайного отбора и достаточно хорошо репрезентирует генеральную совокупность текстов). Каждая из прямых на графиках показывает, какое число авторов в выборке представлено тем или иным количеством текстов за временной отрезок, равный 10 годам. Например, для периода с 1911 г. по 1920 г. (одна из прямых на рис. 1) число поэтов, представленных 1, 2, 3 и т. д. стихотворениями равно, соответственно, 106, 29, 9 и т. д. (соотношения такого рода для всех десятилетий см. в табл. 1).

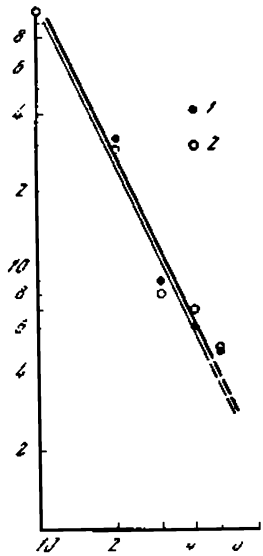
Можно видеть, что эта зависимость линейна [3] и вполне отвечает распределению Лотки (подробнее см. Шепелева, Петров

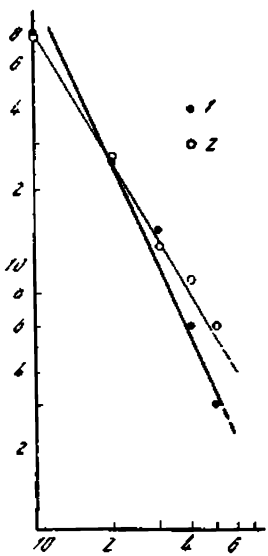
---

[2] Основная часть выборки за период с 1900 г. по 1920 г. предоставлена для исследования А. М. Ходатаевой, за что автор выражает ей признательность.

[3] По крайней ...







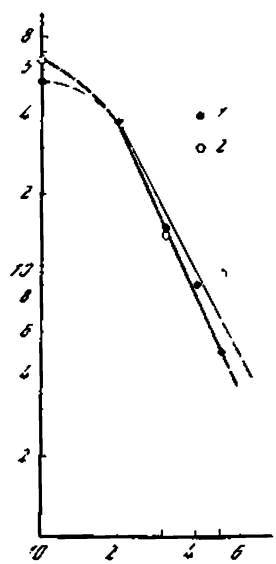


Рис. 1. 1 — 1901—1910; 2 — 1911—1920

Рис. 2. 1 — 1921—1930; 2 — 1931—1940

Рис. 3. 1 — 1941—1950; 2 — 1951—1960

Рис. 4. 1 — 1961—1970; 2 — 1971—1980

1982), что подтверждает соблюдение исходного принципа составления выборки [4].

Рис. 5—7 представляют графики эволюционных кривых за исследуемый период. Для построения этих графиков был применен метод с использованием «сглаженных» значений для каждого года (Уиттекер, Робинсон 1935): значения того или иного параметра для k-го года равно среднему арифметическому значений данного параметра за $k-1$-й, k-й и $k+1$-й годы. В табл. 2 приведены первичные (не усредненные) значения параметров за каждый год исследуемого времени.

[4] Изменение угла наклона в верхней части прямых, относящихся к последнему 20-тилетию (60—70-е годы), по-видимому отражает тот факт, что публикации стихов укрупнились (при заметном увеличении числа поэтических публикаций вообще, что, как известно, характерно для этого времени). То, что выборка подтверждает это, также свидетельствует в пользу ее объективности.

Таблица 1

Число авторов	Число текстов	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
	1901—1910	90	29	12	6	4	1	3	2	1	2				
	1911—1920	106	29	9	6	3	1	2	1		3		1		
	1921—1930	127	32	9	6	5	2	3							
	1931—1940	101	29	8	7	5	4	1	1		1				1
	1941—1950	81	26	14	6	3	2	1	2	2	1	1	1		
	1951—1960	79	27	12	9	6	1	1		2	2			1	
	1961—1970	54	37	15	9	5	3		2	2				1	
	1971—1980	64	36	14	6	10	2	1	1	1			1		

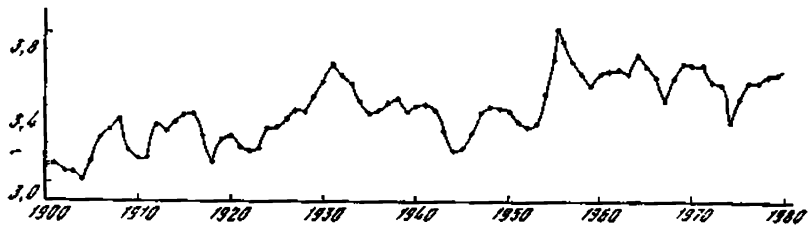
Таблица 2

Средние годовые значения трех рифменных параметров за период с 1900 по 1980 г. г.

г	М	Б	Т	г	М	Б	Т	г	М	Б	Т
1900	1,57	3,08	0,63	27	1,94	3,53	0,82	54	1,90	3,53	1,62
1	1,62	3,20	0,31	28	2 04	3,58	1,30	55	2,15	3,92	2,05
2	1,69	3,30	0,23	29	1,83	3,32	1,19	56	2,13	3,82	2,31
3	1,55	2,98	0,57	1930	2,11	3,78	1,46	57	2,17	3,83	1,68
4	1,63	3,18	0,70	31	2,15	3,82	1,73	58	2,05	3,60	1,63
5	1,67	3,18	0,89	32	2,14	3,58	1,61	59	1,94	3,63	1,61
6	1,67	3,28	0,60	33	2,19	3,62	1,76	1960	2,06	3,65	1,93
7	1,64	3,55	0,97	34	2,10	3 68	1,41	61	2,14	3,80	1,92
8	1,73	3,30	0,77	35	1,75	3,32	0,73	62	1,98	3,65	1,89
9	1,81	3,48	1,12	36	1,83	3,42	1,48	63	2,12	3,68	1,95
1910	1,55	3,03	0,52	37	2,12	3,73	1,85	64	2,13	3,73	2,17
11	1,63	3,18	0,75	38	1,92	3,45	2,00	65	2,25	3 95	2,18
12	1,87	3,47	1,19	39	1,87	3,47	1,63	66	2,20	3,52	1,75
13	1,89	3,57	0,77	1940	1 95	3,52	1,84	67	2,04	3,58	1,67
14	1,66	3,10	0,79	41	1,96	3,53	1,17	68	1,97	3,55	1,57
15	1,86	3,58	0,63	42	1,88	3,50	1,16	69	2,25	3,87	2,23
16	1,94	3,70	0,95	43	1,89	3,43	1,18	1970	2,28	3,83	2,20
17	1,69	3,13	0,86	44	1,75	3,22	1,30	71	2,03	3,52	1,68
18	1,71	3,22	0,92	45	1,72	3,15	1,01	72	2,20	3,88	2,14
19	1,69	3,28	0,70	46	1,90	3,50	1,52	73	2,15	3,55	2,17
1920	1,85	3,43	0,95	47	1,91	3,45	1,65	74	2,03	3,50	1,67
21	1,79	3,35	1,18	48	1,88	3,48	1,69	75	1,78	3,25	1,37
22	1,65	3,10	1,01	49	2,00	3,63	1,96	76	2,11	3,93	1,77
23	1,79	3,35	0,80	1950	1,81	3,38	1,28	77	2,17	3,78	1,92
24	1,84	3,40	1,10	51	1,88	3,47	1,87	78	1,81	3,25	1,38
25	1,88	3,43	1,07	52	1,89	3,45	1,71	79	2,27	4,00	1,92
26	1,96	3,37	1,22	53	1,72	3,28	1,22	80	2,30	3,82	2,03



Р и с. 5. Местоположение (по центру созвучия)



Р и с. 6. Богатство



Р и с. 7. Точность (по степени отклонения)

Предлагаемая графическая репрезентация результатов измерения рифменных параметров за 80 лет подтверждает предположение о процессе, обладающем определенной периодичностью. Периоды просматриваются непосредственно на графиках эволюционных кривых, но определить их можно и точнее. Для этого применяются различные методы нахождения скрытых периодов. Так, график, построенный с использованием «сглаженных» значений для параметра М (рис. 5), указывает на периодичность смещения центра рифменного созвучия, равную 7—9 и 17—20 годам. Данный график подтверждает также отмечаемое рядом исследователей явление «полевения» рифмы в современной поэзии.

Для уточнения периодичности исследуемых процессов применен один из методов, изложенных в книге Пельт 1980. Вычисления проведены в Институте языка и литературы ЭССР Я. Россом. Использовалась подпрограмма (RWLS 2), предназначенная для уточнения периода синусоидального колебания. В ЭВМ вводились предполагаемые длины периодов На выходе получали значения «ошибки», которая возникает при заданной длине периода. Входную длину варьировали от 1 до 40 лет. В табл. 3 представлены величины «ошибок», обнаруженных при длине периода *n*. Результаты показывают, что «ошибки» заметно меньше при значениях периода 9, 18, 27 и 36 лет, притом — относительно всех трех параметров (см. табл. 3).

Таблица 3

Величины ошибок, обнаруженных при длине периода *n*

n	М	Б	Т	n	М	Б	Т
1	80,12	79,75	70,32	21	80,91	80,74	80,86
2	80,30	80,57	78,66	22	80,86	80,78	80,09
3	80,84	80,49	80,63	23	80,61	79,92	80,61
4	80,98	80,96	80,52	24	80,80	80,65	80,88
5	80,74	80,33	80,80	25	80,59	80,22	80,49
6	80,83	80,59	80,82	26	80,99	80,86	80,90
7	80,83	80,56	80,88	27	67,18	34,68	72,63
8	80,97	80,92	80,85				
9	72,30	52,49	75,86	28	80,93	80,71	80,91
				29	80,81	80,56	80,93
10	80,99	80,99	80,04	30	80,88	80,65	80,97
11	80,86	80,67	80,82	31	80,88	80,56	80,70
12	80,89	80,40	80,68	32	80,83	80,45	80,73
13	80,90	80,56	80,81	33	80,96	80,85	80,87
14	80,77	80,58	80,63	34	80,81	80,58	80,87
15	80,84	80,62	80,76	35	80,83	80,19	80,59
16	80,92	80,84	80,91	36	72,36	51,74	76,66
17	81,00	80,91	80,85				
18	72,06	51,64	75,87	37	80,90	80,54	80,94
				38	80,91	80,67	80,88
19	80,96	80,39	80,65	39	80,93	80,70	80,98
20	80,81	80,15	80,45	40	80,88	80,69	80,69

На основании полученных данных сделан вывод о наличии процесса гармонического колебания с несколькими гармониками[6].

[6] Интересный факт наличия периодов разной длины требует отдельного рассмотрения. Можно предположить, что он обусловлен различными, в том числе — социокультурными, факторами; периодами изменений вкусов читателей (модой), сменой поколений поэтов и т. д.

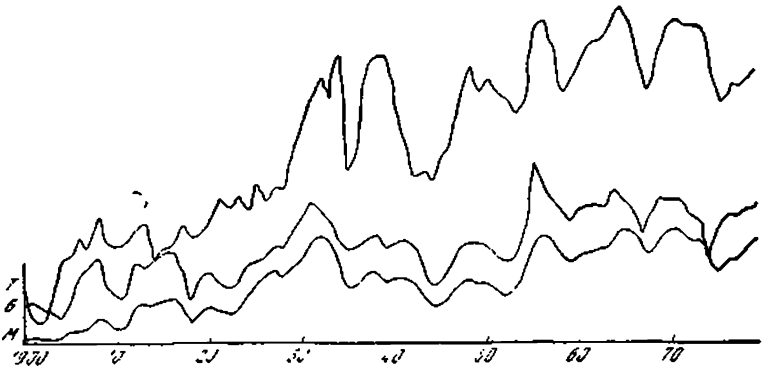


Рис. 8

На рис. 8 приведены все три эволюционные кривые. Для наглядности они сближены по вертикали (посредством параллельного переноса). Здесь легко прослеживается взаимовлияние изменения рифменных параметров. Так, кривые М и Б ведут себя на всем протяжении очень сходно (можно говорить об их «параллельности» на многих участках): при смещении центра созвучия влево увеличивается богатство рифмы, и, наоборот, снижение богатства соответствует сдвигу центра вправо. Можно наблюдать периоды большей или меньшей интенсивности этого процесса. Интересно соотношение кривых Т и Б. Увеличение точности рифмы (периоды спада кривой) практически не сопровождается увеличением богатства созвучия, а увеличение богатства, как правило, приводит к «расшатыванию» точности.

В целом наблюдается рост значений всех параметров. В каждый из периодов спада значения практически не достигают минимальной величины предыдущего этапа. Происходит увеличение числа фонем от правого края строки до середины созвучия (упомянутое выше смещение влево от его центра), ср. оценки 1900 и 1980 гг.: 1,57 и 2,30 балла; увеличение богатства созвучия: от 3,08 в 1900 до 3,82 баллов в 1980 г.; увеличение степени отклонения от точности («снижение» точности): от 0,63 до 2,03 балла.

Результаты эксперимента позволяют считать целесообразным получение и анализ аналогичных данных о рифме XIX в. Можно надеяться, что это послужит решению спорных проблем в исследованиях общих тенденций развития поэтического языка.

ЛИТЕРАТУРА

Пельт Я. Частотный анализ астрономических временных рядов. Таллин, 1980.

Уиттекер К., Робинсон М. Математическая обработка результатов наблюдений. Л.-М., 1935.

Шепелева С. Н., Петров В. М. К проблеме описания эволюционных параметров русской рифмы. — В сб.: Проблемы структурной лингвистики 1978. М., Наука, 1981.

Шепелева С. Н. Эволюционные параметры русской рифмы (фонологический анализ и техника измерения). — В сб.: Проблемы структурной лингвистики 1979. М., Наука, 1981.

Шепелева С. Н., Петров В. М. К изучению закономерностей эволюции русской рифмы. — В сб.: Проблемы структурной лингвистики 1980 М., Наука, 1982.

Литературно-художественные журналы, составившие выборку Москва, Ленинград (Петербург) 1900—1980 гг.

Аврора
Аполлон
Бегемот
Бюллетени литературы и жизни
Вестник Европы
Весы
Весь мир
Военный крокодил
Возрождение
Вымпел
Горн
Грядущее
Даешь
Дракон
Дружба народов
Ежемесячный журнал
Жернов
ЖКМ — Журнал крестьянской молодежи
Журнал для всех
Зали
Звезда
Знамя
Золотое руно
Колхозник
Комбайн
Красная новь
Красная панорама
Красноармеец
Крестьянка
Крокодил
Кузница
Лапоть
Ленинград
Летопись
Литературное творчество пролетариата
Литературный еженедельник
Меч и молот
Молодая гвардия
Москва
Московский альманах
Наблюдатель
Наш современник
Нева
Нива
Новая жизнь
Новая иллюстрация
Новая Россия
Новый мир
Новый Петербург
Огонек
Октябрь
Петроград (Ленинград с № 2)
Пламя
Прожектор
Работница
Ревизор
Резец
Родина
Родная речь
Россия
Рост
Русская мысль
Русский вестник
Свободный журнал
Север
Северный вестник
Сегодня
Смена
Советская женщина
Советский воин
Современник
Творчество
30 дней
Художественное слово
Чудак
Юность
Юный пролетарий

О. Г. РЕВЗИНА

ИЗ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПОЭТИКИ (ДЕЕПРИЧАСТИЯ В ПОЭТИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ М. ЦВЕТАЕВОЙ)

В литературном языке заданы следующие правила построения предложений с деепричастными оборотами: 1) «. . .деепричастие может быть употреблено только тогда, когда в предложении имеется подлежащее» (Шахматов 1952, с. 85), 2) «. . . обозначаемое ими (т. е. деепричастными оборотами. — *О. Р.*) действие указывает на действие подлежащего» (Розенталь 1974, с. 324). Ни то, ни другое правило не имеют характера прямого запрещения: деепричастный оборот может быть употреблен в определенно-личных и неопределенно-личных предложениях, когда субъект подсказан личной формой глагола; несовпадение субъекта действия главного и второстепенного, по терминологии А. А. Шахматова, сказуемого также не исключается абсолютно (ср. галлицизмы в языке писателей XIX в.: *Имея право выбирать оружие, жизнь его была в моих руках* (Пушкин) — Розенталь 1974, с. 324).

Такой способ функционирования правил вообще характерен для синтаксической системы русского языка. «Нормы» фиксируют то, что определяет ядро синтаксической системы, предусмотренные отступления от норм — периферийные явления, фиксирующие потенциальные возможности развития этой системы. М. Цветаева широко использовала эти возможности, трансформируя классическую структуру простого предложения. Основное направление синтаксических трансформаций М. Цветаевой (разумеется, при совершенно ином материальном воплощении и иной функциональной нагрузке) совпадает с тем, которое представлено в современной русской разговорной речи (Ревзина 1979). Одновременно с этим в синтаксисе М. Цветаевой представлена и другая, книжная и в ряде своих проявлений архаичная струя. Деепричастие в русской разговорной речи — неупотребительная форма, а в функции второго предиката — неиспользуемая (РРР 1973, с. 161—168); у М. Цветаевой деепричастие — живая, активно функционирующая категория, и именно в предикативной функции. В эволюции ее поэтического языка прослеживается не сокращение, а нарастание употребления деепричастия.

В поэзии М. Цветаевой мы находим своеобразный широко поставленный синтаксический эксперимент, направленный на вскрытие потенциальных возможностей русских деепричастий (в первую очередь в предикативной функции). Фазы этого эксперимента как бы фиксируют последовательную проверку каждого правила, связанного с употреблением деепричастия. Отступления от нормы часто бывают очень небольшие, они апеллируют к внутренней сути

правил, их реальному функционированию в системе, которое осуществляется по принципу: то, что не запрещено — разрешено (Ревзин 1977, с. 214). Значение деепричастия как глагольной формы сводят к тому, что «действие, обозначаемое основой этой глагольной формы, сопровождает другое действие» (Панов 1966, с. 84), а употребление его в предложении накрепко связывается с личной глагольной формой. В стихотворениях М. Цветаевой 10-х—начала 20-х годов деепричастия в целом употребляются «правильно», т. е. в пределах двусоставного предложения, с выраженным субъектом и сказуемым — личным глаголом. Но при этом проверяется важный признак — характеристика субъекта по признаку одушевленности—неодушевленности. Следующий этап — это проникновение во внутренний смысл требования о совпадении субъекта деепричастного оборота и главного сказуемого, в частности, получение добавочного художественного эффекта при построении предложений с неполным совпадением субъекта. Далее, в лирике 20—30-х годов деепричастие в поэтическом языке М. Цветаевой начинает все чаще употребляться вне связи с личной глагольной формой. По нормам литературного языка деепричастие, кроме личной формы глагола, может быть отнесено к инфинитиву, в редких случаях — к причастной и деепричастной формам, к краткому прилагательному (Розенталь 1974, с. 324). В поэзии М. Цветаевой 20—30-х годов, на которые падает наибольшее количество синтаксических трансформаций структуры простого предложения, деепричастие начинает присоединяться к эллиптированным структурам, к предложениям с субстантивным и адъективным предикатом. Далее деепричастие вообще освобождается от подчиняющего члена. Оно употребляется независимо, как намеренно оборванное предложение с многоточием. Конечным этапом эксперимента является употребление деепричастных оборотов в качестве отдельного предложения. В нормированном языке деепричастие не может составить самостоятельного высказывания или выступать в функции главного предиката предложения (что возможно в областном языке, Шахматов 1952, с. 85, ср. разг.-прост. *он выпивши*). Число примеров, где деепричастный оборот равняется отдельному высказыванию, в поэзии М. Цветаевой крайне незначительно. Как бы убедившись в неспособности русского деепричастия фигурировать в качестве абсолютно независимого, М. Цветаева находит другие пути: она помещает деепричастные обороты в рамки сложных синтаксических пассажей, где выполнен минимум синтаксического подчинения, необходимый для деепричастия, и одновременно максимально развернуты семантические возможности высвобожденной деепричастной формы.

Нет нужды объяснять, что «эксперимент», о котором идет речь, проведен совершенно бессознательно. Но все его стадии как бы связаны одной логикой: вскрыть глубинную семантику деепри-

частия, его возможности как самостоятельной предикативной формы. Одновременно с этим употребление деепричастных оборотов в поэзии М. Цветаевой почти всегда коррелирует с поэтическим содержанием и служит средством актуализации этого содержания.

Переходим к поэтапному анализу материала.

I. В литературном языке отсутствуют прямые ограничения на характеристику субъекта по одушевленности—неодушевленности в предложениях с деепричастными оборотами. Но косвенные признаки указывают на то, что субъект наделен в них признаком активности, ср. невозможность конструкций типа **Дом, строясь каменщиками, поднимался все выше и выше* (Панов 1966, с. 85, см. также АГ 1970, с. 353)). Неодушевленные имена выступают в позиции субъекта деепричастного оборота гораздо реже одушевленных, при этом главное сказуемое часто представляет неодушевленного субъекта как действующего (ср. примеры в: Гвоздев 1955, с. 367). В стихах М. Цветаевой неодушевленному субъекту обычно сообщается разными способами признак активности, ср.: *Стройную мощь выкрутив в жгут — Мой это бьет — красный лоскут!* (1921, роль усилителя выполняет местоимение *мой*). Примеров, где неодушевленный субъект выступает в чистом виде, очень немного, ср.: *Простотой своей тревожа — Королевской, Солнце вечера — дороже Песнопевцу* (1921). Шероховатость конструкции выступает на явь: поскольку активность субъекта, исходящая из деепричастного оборота, противоположна его представлению как пассивного в главном предикате.

В лирике М. Цветаевой 20—30-х годов названные конструкции в неосложненном виде почти не используются. Но свойство деепричастия нести в себе представление об активно действующем субъекте переносится в следующие фазы синтаксического «эксперимента» (особенно при построении оборванных предложений с многоточиями, равных деепричастному обороту).

II. Второй этап «эксперимента» связан с определением границ допустимого несовпадения субъектов главного и второстепенного сказуемых в пределах двусоставного глагольного предложения. Выделяются два основных случая: а) формальное совпадение при семантическом различии, б) формальное несовпадение при семантическом единстве.

IIа. Рассмотрим пример из стихотворения «Попытка ревности» (1924):

Государыню с престола . . . . . .
Свергши (с оного сошед), . . .К волшбам остыв,
Как живется вам — хлопо- Как живется вам с земною
чется — Женщиною, без шестых
Ежится? Чувств?. . .

Деепричастный оборот присоединяется к безличному предложению с субъектом в косвенном падеже. Такие обороты квалифицируются как допустимые, но избегаемые литературным языком

(Шахматов 1925, с. 28), для современного языка — как неправильные (Розенталь 1974, с. 325). Два главных правила присоединения деепричастного оборота здесь соблюдены: в предложении есть субъект и этот субъект тождествен для главного и второстепенного сказуемых. «Неправильность» состоит в активности субъекта, предполагаемой деепричастным оборотом и «ослабленностью» субъекта в главной части. Но именно эти два разных способа представления одного и того же субъекта находятся в непосредственной связи с семантическими оппозициями стихотворения (табл. 1).

№ п	Смысловая канва стихотворения	Синтаксическая структура предложения	
		Деепричастный оборот	Безличная конструкция
1	В прошлом герой связан с героиней — «государыней, мрамором Каррары», в настоящем — с «подобием, трухою гипсовой»	Указание на прошлое, непосредственно предшествующее настоящему и находящееся с ним в тесной связи	Настоящее
2	Изменение в духовном облике героя. Избранный начинает зависеть от «снеди», которая «свойственнее и съедобнее»	Обязательность субъекта для деепричастного оборота. Герой имеет «личность»	Обезличенность субъекта
3	Герой выдвигает мнимые оправдательные причины своего выбора, но истинная причина — измена самому себе	Активность субъекта	Пассивность

Признак активности субъекта, исходящий из деепричастного оборота, получает двойную нагрузку: он говорит о «личности» героя в прошлом в противоположность обезличенности в настоящем (в концовке стихотворения в это обезличенное настоящее перемещается и сама героиня, поскольку выясняется, что «предательство» было взаимным), и этот же признак вводит тему личной ответственности за измену героя самому себе. Контраст между активностью субъекта деепричастного оборота и его пассивностью в безличной конструкции служит превосходным, чисто языковым средством выразить мысль о несоединимости прошлого героев с их теперешним настоящим: синтаксическая «ошибка» как бы служит формальным представлением другой, более глубокой ошибки, совершенной героями.

Пб. В правиле о совпадении субъекта деепричастного оборота и главного сказуемого не получают отражения переходные случаи: между двумя субъектами возможно отношение включения, пересе-

чения, и далее при полном несовпадении существен характер семантической связи двух субъектов, степень их внутреннего единства. За формулировкой правила скрывается все тот же важнейший принцип действия синтаксической системы: прямому запрещению подвергается *только* несовпадение двух субъектов, переходные случаи предоставляют возможность эксперимента, а далее и языкового развития. В лирике М. Цветаевой 20—30-х годов находим различные примеры неполного совпадения субъектов основного и второстепенного сказуемого, сначала в пределах двусоставного глагольного сказуемых, а далее и при присоединении деепричастного оборота к предложениям иной структуры. Один из приемов — «расширение» субъекта: субъект главного сказуемого включает в себя субъект деепричастного оборота, ср.:

Но и постарше еще обида
Есть: амазонку подмяв, как лев, —
Так разминулся: сын Фетиды
С дщерью Аресовой: Ахиллес
С Пенфезилеей.

(«Двое», 1924)

В деепричастном обороте субъектом является *сын Фетиды*, в главной части — и герой, и героиня. «Расширение субъекта» восстанавливает «равенство» Ахилла и Пенфезилеи, отсутствующее в деепричастном обороте, где *амазонка* стоит в позиции прямого объекта. Начало мифа об Ахиллесе и Пенфезилее, данное в деепричастном обороте, несет в себе представление о силе и трагичности следующего далее разминовения героев: семантический множитель «очень высокая степень интенсивности» передается в главное предложение с помощью местоимения *так*, и благодаря приему «расширения» субъекта ощущение рокового расхождения становится равно значимым для героя и для героини мифа, а далее и для всего стихотворения: *Так разминовываемся мы.*

Обратным «расширению» является прием «сужения» субъекта. Термин условный, потому что фактически речь идет не о включении субъекта главного сказуемого в субъект деепричастного оборота, а о том, что в главной части появляется иной (часто метафорический) образ, который «предстательствует» за субъекта деепричастного оборота. В этих конструкциях находят себе применение уже в ином качестве неодушевленные имена. Приведем один пример такого рода:

Всё перебрав и всё отбросив,
(В особенности — семафор!)
Дичайшей из разноголосиц
Школ, оттепелей. . . (целый хор
На помощь!) Рукава как стяги
Выбрасывая. . .
— Без стыда! —
Гудят моей высокой тяги
Лирические провода.

(«Путь». Из цикла «Провода», 1923)

Синтаксическая структура сложного комплекса неоднозначна. Можно считать, что у деепричастных оборотов и главного сказуе-

мого один субъект — *лирические провода*. Это решение поддерживается непосредственным соотнесением перебивающей деепричастные обороты группой *дичайшей из разноголосиц. . .* с главным предикатом *гудят*. Но активность субъекта деепричастных оборотов (*перебрав, отбросив, рукава как стяги выбрасывая*), и этот последний образ, вызывающий представление о человеческих руках, диктует иное решение: в деепричастных оборотах субъектом является героиня, в главной части — *высокой тяги лирические провода*. Формально здесь имеется, таким образом, несовпадение субъектов главного и второстепенного сказуемых, разнящихся по признаку одушевленности. Но синтаксическое и семантическое строение всего высказывания направлено на снятие нежелательных последствий такого несовпадения и представления второго субъекта как воплощающего самое главное, что есть в первом. Группа *дичайшей из разноголосиц. . .* может восприниматься и как самостоятельное оборванное высказывание. Субъекты главного и второстепенного сказуемых смыкаются: *провода гудят. . . дичайшей из разноголосиц, и дичайшей из разноголосиц. . .* обращается к герою героиня. Синтаксическое «перетекание» одного субъекта в другой соответствует на содержательном уровне сведению героини к ее сути: героиня избирает способ (*все перебрав и все отбросив*) передачи себя, своего чувства, и им оказывается *проволока пространств — лирические провода*.

Синтаксические поиски М. Цветаевой, связанные с границами несовпадения субъектов главного и второстепенного сказуемых, проливают свет на вопрос, почему субъект деепричастного оборота должен обязательно присутствовать в субъекте главного сказуемого. Деепричастие лишено категории наклонения, а категория времени имеет в нем не абсолютное, а относительное значение. Чтобы субъект обозначаемого деепричастием действия и само это действие могли быть включены в пространственно-временную сетку и получить оценку по признаку реальности—нереальности, деепричастие должно быть обязательно соотнесено с каким-то главным членом, который насытил бы его этими категориями. Поэтому нормой для деепричастного оборота является вхождение его в двусоставное глагольное предложение. Следующая фаза синтаксического «эксперимента» как раз и состоит в проверке способности деепричастия присоединяться к эллиптированным структурам, а также к предложениям, построенным по другим структурным схемам.

III. Из тех типов главного сказуемого, которые в качестве разрешенных или неразрешенных упоминаются в правилах употребления деепричастия, отметим недопустимость для литературного языка соединения деепричастного оборота со страдательным причастием (Розенталь 1974, с. 325):

Так, над вашей игрой — крупною — Не общупана, не́ куплена,
(Между тру́пами — и́ — ку́клами!), Полыхая и пля-ша —

Шестикрылая, ра-душная,
Между мнимыми — нищ! — сущая,
Не задушена вашими тушами,
Ду-ша!

(«Душа», 1923)

В письме к Б. Пастернаку от 1 июля 1926 г. М. Цветаева писала: «. . . я как-то докрикиваюсь, доскакиваюсь до смысла, который затем овладевает мною на целый ряд строк. Прыжок с разбегом». Понять употребление какой-то формы в стихе М. Цветаевой можно только обратившись к единому синтаксически и семантически отрезку стихотворения. Данный пример весь построен на маркированном противопоставлении пассивных форм страдательного причастия от переходных глаголов, передающих действия агрессивного, наступающего мира людей и активных деепричастных форм непереходных глаголов, передающих движение «шестикрылой» души, являющейся объектом этой агрессии. Грамматическая семантика глагольных форм восстанавливает истинные пропорции силы и бессилия в противоборстве «мира» и «души», «недопустимое» употребление становится эффективным средством выражения поэтического смысла.

Рассмотрим, как расширяется далее репертуар главных предикатов, подчиняющих деепричастный оборот. Он входит в состав неполных предложений, которые трансформационно могут быть возведены к двусоставному глагольному:

. . .так в седость трав
Бренная девственность, пещерой став
Дивному голосу. . .

(«Сивилла», 1922)

Основная часть предложения может состоять из одной предложно-падежной группы:

Удостоверясь
В тождестве наших сиротств,

Сняв и отринув
Клочья последней парчи —
В вереск-рунны,
В вереск-сухие ручьи.

(«Деревья», 1922)

Деепричастный оборот может быть, далее, присоединен к субстантивному двусоставному предложению, ср. ранний пример такого рода:

Клича тебя, славословя тебя, я только
Раковина, где еще не умолк океан.

(Из цикла «Бессонница», 1916)

Отношение преходящего тождества *я — раковина* в главной части устанавливаются одновременно и в связи с действиями, передаваемыми деепричастным оборотом. И то и другое крайне важно для самого существования подобных конструкций, ср. невозможность предложений **Исследуя чужие страны, я русский*; **Изучая*

другие науки, я учитель. Вообще в тех случаях, когда деепричастный оборот присоединяется к неглагольному предикату, резко повышается значимость добавочных семантических связей между главным и второстепенным сказуемым (причинно-следственный переход, уступительная связь и т. п., о многозначности деепричастия см. Богуславский 1977); при этом деепричастный оборот называет чаще всего действие, явившееся основанием того состояния, которое передается предикатом, ср. пример с главным сказуемым — кратким прилагательным:

Остолбеневши, как бревно,
Оставшееся от аллеи,
Мне всё — равны, мне всё — равно...

(«Тоска по родине», 1934)

Приведенные примеры показывают, что деепричастный оборот может получить модальную и временну́ю характеристику не только от глагольных морфологических категорий, но и от форм синтаксического времени и синтаксического наклонения, которыми характеризуются неглагольные структурные схемы предложения. Значение данного этапа цветаевского «эксперимента» не исчерпывается, однако, расширением исходного круга синтаксических структур, обогащаемых за счет деепричастного оборота. На этом этапе подвергается проверке семантика деепричастия как глагольной формы, которая обозначает «добавочное действие, характеризующее другие действия» (Гвоздев 1955, с. 251). В примерах с главным сказуемым — неглагольным предикатом деепричастие вообще не соотносится с действием, а указывает обычно на основание, исходя из которого субъекту приписывается признак, названный главным сказуемым. Возникает вопрос о семантических условиях включения деепричастия в структуру предложения. Сравним три предложения: *Лежа на кровати, он ленится; *Лежа на кровати, он ленив; *Лежа на кровати, он ленивец*. Главный предикат в трех примерах называет один и тот же признак, но в первом из них субъект «сам свой признак делает» (Пешковский 1938, с. 103), во втором примере имеет место не «создание» признака, а «спокойное обладание им», а в третьем на первый план выступает «значение тождества между двумя разными предметами» (Пешковский 1938, с. 219). Правильным будет только первый пример. Имея в виду, что деепричастие вызывает представление об активно действующем субъекте и, с другой стороны, категориальным признаком глагола как части речи «является оттенок сознательной деятельности», воли, намерения (Пешковский 1938, с. 97), мы можем заключить, что при присоединении деепричастия к глагольной форме происходит семантическое согласование между двумя сказуемыми по признаку активности; именно оно является эффективным средством для вовлечения деепричастного действия в качестве составного компонента конкретной ситуации. Сказанное объясняет пре-

имущественное тяготение деепричастного оборота к глагольному сказуемому. Деепричастие может присоединяться к неполным предложениям с эллиптированным глагольным сказуемым, потому что динамика отсутствующего глагола продолжает сохраняться в самостоятельно употребленных управляемых членах. Деепричастие может быть соединено с именным предикатом, если обозначаемый им признак, состояние, отношение преходящего тождества трактуются как вызванные действием деепричастного оборота. В этих случаях главная часть раскрывает последствия волевого импульса, содержащегося в действии деепричастного оборота. В таких конструкциях деепричастный оборот в большинстве случаев препозитивен.

Обратившись к позиции субъекта в предложениях с неглагольным предикатом, отметим новый случай — отсутствие эксплицитно выраженного субъекта при сохранении тождества субъекта главного и второстепенного сказуемых:

Стан по поясницу

Выпростав из гробовых пелен —
Взлет седобородый:
Есмь! — Переселенье! — Легион!

(Из цикла «Деревья», 1922)

Стихотворение «Та, что без видения спала», откуда взяты эти строки, построено на совмещенном изображении дерева и человека (Ревзина 1981); постоянная двойственность субъекта для всего стихотворения позволяет и в данном случае соотнести деепричастный оборот и субстантивный предикат *взлет* и с деревом, и с человеком. Правило об обязательном присутствии подлежащего в предложении с деепричастным оборотом должно быть, таким образом, значительно ослаблено. Язык довольствуется гораздо меньшим — не обязательно эксплицитное выражение субъекта в том же предложении, где есть деепричастный оборот. Важно лишь знание субъекта, возможно, из более широкого контекста. В лирическом стихотворении такой контекст легко обеспечивается единством лирического героя стихотворения. Напротив, обязательным становится в бессубъектных конструкциях тождество подразумеваемого субъекта главного и второстепенного сказуемых.

IV. Следующий этап «эксперимента» состоит в том, что М. Цветаева вообще освобождает деепричастный оборот от непосредственно стоящего за ним главного сказуемого. Это достигается двумя способами. Первый из них состоит в том, что деепричастный оборот включается в сложное синтаксическое целое, сопрягаясь с другим предложением с собственной субъектно-предикатной структурой; при этом сопряженные части вступают в разного рода синтаксические и семантические переплетения. Второй способ состоит в построении предложений с многоточием, состоящих из независимо употребленного деепричастного оборота (см. V).

Ярким примером художественного эффекта, возникающего от сопряженного употребления деепричастного оборота, является небольшое стихотворение 1921 г.:

С такою силой в подбородок руку
Вцепив, что судорогой вьется рот,
С такою силою поняв разлуку,
Что кажется и смерть не разведет, —

Так знаменосец покидает знамя,
Так на помосте матерям: «Пора!»
Так в ночь глядит — последними глазами —
Наложница последнего царя.

Первая строфа состоит из двух деепричастных оборотов, осложненных придаточными предложениями. Они готовят к тому, что предложение будет продолжено дальше, появляется субъект и предикат, к которому относятся деепричастные обороты. Вместо этого в конце первой строфы возникает обрыв, отмеченный тире, и далее деепричастные обороты сопрягаются с тремя простыми двусоставными глагольными предложениями, чьи субъекты не совпадают ни между собой, ни с неназванным субъектом деепричастных оборотов. Сопряжение деепричастных оборотов с простыми предложениями вызывает глубокое взаимное семантическое насыщение, формирующее смысл стихотворения. Первая строфа создает ощущение огромного трагично окрашенного эмоционального заряда; его денотативная основа названа скупо, одним словом: *разлука*. Реконструируется субъект деепричастных оборотов: *та, кто разлучается* [1]. Интенсивность переживания подчеркнута выбором лексем (*с такою силой. . , вцепив. . , судорогой вьется рот*). Во второй строфе соотношение денотативного и эмоционального смыслов противоположное. Оно состоит из прозрачных по структуре, лишенных эмоциональной лексики простых предложений, каждое из которых описывает определенную ситуацию. Эти ситуации, при несхожести участвующих в них деятелей и действий, объединяются между собой в том, что в них идет речь о последнем расставании; в этом первая основа семантического сопряжения предложений второй строфы с деепричастными оборотами. Семантическое взаимопроникновение двух частей сложного синтаксического целого осуществляется с помощью текстового интенсификатора *так*, действие которого является перекрестным. Лексически выраженное значение интенсивности передается с помощью *так* во вторую строфу, а описание ситуаций во второй строфе (с усилением к концу трагической безысходности, что подчеркивается дважды употребленным прилагательным *последний*) дает основание предположить о столь же трагичной, «последней» ситуации разлуки, в которой оказалась героиня. В стихотворении происходит нарастание

[1] Мы говорим о героине, а не о герое, исходя из более широкого анализа коммуникативной структуры лирики М. Цветаевой. Если в стихотворении (и обычно уже в заглавии, ср. «Офелия — Гамлету») не назван специально отправитель, то им является лирическая героиня, облик которой имеет постоянные черты (см. Орлов, 1965, с. 29), проявляющиеся и в этом стихотворении.

семантического потенциала. Во второй строфе возникает тема торжественности трагического отчаяния. Эта торжественность vice versa обращается на состояние героини, которое, если ограничиться первой строфой, может быть понято как отчаяние момента. Происходит «возвышение» облика героини через приравнивание комплекса ее переживаний к тем, которые испытываются в «пороговых» ситуациях жизни.

V. Деепричастные обороты с многоточием в конце — самая распространенная форма употребления деепричастных конструкций в поэзии М. Цветаевой. Именно здесь М. Цветаева нашла ту меру независимости и одновременно текстовой поддержки, которая позволила в полной мере использовать возможности русского деепричастия. Семантика многоточия как знака препинания явилась в данном случае стимулирующим фактором. Многоточие означает недоговоренность — либо семантическую, когда «предложение прерывается ранее, чем оно должно было бы закончиться, если бы все содержание мысли говорящего было облечено в словесную форму» (Шапиро 1955, с. 211), либо формальную, когда предложение обрывается по разным причинам, связанным, в частности, с особенностями диалогической речи, с композиционными чертами письменного текста. Таким образом, многоточие позволяет указать на синтаксическую перспективу в предложении, одновременно создавая условия и для восприятия деепричастного оборота с многоточием как самостоятельного предложения и намекая на возможность его продолжения, в котором появился бы главный предикат.

Освобождение от подчиняющего глагола в соединении с синтаксической перспективой, задаваемой многоточием, сыграло роль «открытия шлюза» для независимого и вместе с тем неархаического употребления деепричастных оборотов, органично смыкающегося с отчетливо представленной в русском языке тенденцией расширения круга словоформ и конструкций, которые могут при определенных условиях функционировать как самостоятельное высказывание. Мы находим у М. Цветаевой невиданное ранее многообразие в употреблении деепричастных оборотов. В простейших случаях за деепричастным оборотом с многоточием следует предложение, содержащее субъект этого оборота, и главное сказуемое, с которым его можно соотнести:

В летописях и в лобзаньях
Пойманное. . . но песка
Струечкою шелестя. . .
Время, ты меня обманешь!
(«Хвала времени», 1923)

Отсюда расходятся веером разные употребления, связанные с присутствием—отсутствием субъекта, наличием в контексте главного сказуемого, расстоянием, которым отделен от того и другого деепричастный оборот, одиночном—многократным повторением данной конструкции.

Va. Деепричастный оборот может включать в себя название субъекта при отсутствующем главном сказуемом (архаическое «собственно обособленное» употребление деепричастий, см. Пешковский 1938, с. 391).

Нет, из прохладной ниши
Дева, воздевши длань. . .
(«С этой горы, как с крыши. . .», 1923)

Сдайся! Ведь это совсем не сказка!
Сдайся! Стрела, описавши круг. . .
(Из цикла «Провода», 1923)

По отношению к деепричастным оборотам с многоточием, не сопровождаемым в контексте главным предикатом, возникает вновь вопрос о помещении обозначаемых ими действий в определенную пространственно-временную сетку. Здесь решающим является более широкий контекст всего стихотворения. Если в нем не маркировано специальными показателями не настоящее время (а в поэзии М. Цветаевой это именно так в большинстве случаев), восприятие деепричастных оборотов с многоточием осуществляется в двойной системе координат: с одной стороны, это «здесь и сейчас», определяемое позицией лирического героя стихотворения, с другой — это «вневременное» действие, которое совершается вновь и вновь и может быть подключено к любой конкретной точке на временной оси.

Название субъекта может быть вынесено в отдельное предложение:

Длинную руку на бедро. . .
Вытянув выю. . .
Березовое серебро,
Ручьи живые!
(Из цикла «Деревья», 1922)

Стихотворение построено как своего рода загадка: в главной части дается изображение, построенное на переплетении деепричастных оборотов с именными группами, в последней строфе называется предмет изображения — *березовое серебро*. Для такой «живописной» поэзии деепричастные обороты с многоточием оказываются очень удобным средством, потому что они позволяют передать динамику в статике, что как раз характерно для живописи как вида искусства.

Vб. Другая группа примеров демонстрирует случай, когда субъект деепричастного оборота с многоточием эксплицитно не называется. Он может совпадать с лирическим героем стихотворения, подтверждение чему находится обычно в ближайшем контексте. В других случаях сама коммуникативная структура стихотворения подсказывает то же решение (стихотворение «Расщелина», 1923). Деепричастный оборот может соотноситься с целым рядом обозначений лирической героини, представленным в стихотворении «Раковина». Средством выражения глубинной мысли стихотворения может служить и заданная неопределенность субъекта деепричастного оборота; ср. начало второго стихотворения из цикла «Заводские»:

Книгу вечности на людских устах
Не вотще листав —
У последней, последней из всех застав,
Где начало трав

И начало правды. . . На камень сев,
Птичьим стаям вслед. . .

Однозначное указание на субъект деепричастных оборотов в стихотворении отсутствует. Можно предполагать, что им является поэт, бог, каждый человек. Неопределенность субъекта деепричастных оборотов служит раскрытию, по-видимому, главной идеи — правда открывается тому, кто оказывается «у последней, последней из всех застав», кто открывается человеческому горю.

VI. Последний этап синтаксического «эксперимента» М. Цветаевой — употребление деепричастного оборота в качестве самостоятельного предложения, ср.:

Водопадами занавеса, как пеной —
Хвоей — пламенем — прошумя.
Нету тайны у занавеса — от сцены
(Сцена — ты, занавес — я).

(«Занавес», 1923)

Ближайший контекст обеспечивает понимание смысла таких предложений. Но, взятые изолированно, они остаются непонятны, и таких примеров в поэзии М. Цветаевой очень немного. Приравняв деепричастный оборот к предложению, М. Цветаева столкнулась с проблемой насыщения такого предложения категорией сказуемости, в которой, по А. М. Пешковскому, тесно сцепляется речь с мыслью (Пешковский 1938, с. 172). Деепричастный оборот, функционирующий как предложение, обладает только одним средством выражения категории сказуемости — интонацией. Разбирая роль интонации, А. М. Пешковский отмечает, что с ее помощью «каждое слово выражает мысль, каждое слово перестает быть словом только, а делается целой фразой (Пешковский 1938, с. 176), например, *Белую?* или *Белую!* или *Белую*. Дальше он пишет: «В самом деле как можем мы понять такое *белую* как целую мысль? Только восприняв это слово как недоговоренную фразу (Пешковский 1938, с. 178). Эта недоговоренность, открывающая синтаксическую и семантическую перспективу, успешно обеспечивалась, как мы видели, постановкой многоточия. Лишенное этой поддержки, деепричастие, не имеющее категории наклонения, оказывается неспособным выразить мысль, которую А. М. Пешковский определяет как «активное соединение представлений». М. Цветаева, как мы пытались показать, испробовала буквально все способы для выявления и наглядного показа синтаксических и семантических возможностей употребления деепричастий в предикативной функции. М. Цветаева довела свой «эксперимент» до конца, обнаружив пределы этих возможностей.

ЛИТЕРАТУРА

АГ 1970 — Грамматика современного русского литературного языка. Отв. ред. Н. Ю. Шведова. М., Наука, 1970.
Богуславский 1977 — *Богуславский И. М.* О семантическом описании русских деепричастий. Неопределенность или многозначность? — Изв. АН СССР. СЛЯ, 1977, № 3.
Гвоздев 1955 — *Гвоздев А. Н.* Очерки по стилистике русского языка. М., 1955.
Орлов 1965 — *Вл. Орлов.* Марина Цветаева. Судьба, характер, поэзия. — В кн.: Марина Цветаева. Избранные произведения. М.—Л., 1965.
Панов 1966 — *Панов М. В.* Русский язык. — В кн.: Языки народов СССР. I. Индоевропейские языки. М., Наука, 1966.
Пешковский 1938 — *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. Изд. 6-е М., 1938.
Ревзин 1977 — *Ревзин И. И.* Современная структурная лингвистика Проблемы и методы. М., Наука, 1977.
Ревзина 1979 — *Ревзина О. Г.* Некоторые особенности синтаксиса поэтического языка М. Цветаевой. Учен. зап. ТГУ, вып. 481. Тарту, 1979.
Ревзина 1981 — *Ревзина О. Г.* Структура поэтического текста как доминирующий фактор в раскрытии его семантики. — In: Wiener Slawistischer Almanach, sonderband 3. Wien, 1981.
Розенталь 1974 — *Розенталь Д. Э.* Практическая стилистика русского языка. М., Наука, 1974.
Цветаева 1965 — *Марина Цветаева.* Избранные произведения. М.—Л., 1965.
Шапиро 1955 — *Шапиро А. Б.* Основы русской пунктуации. М., 1955.
Шахматов 1925 — *Шахматов А. А.* Синтаксис русского языка. Л., 1925.
Шахматов 1952 — Из трудов А. А. Шахматова по современному русскому языку. М., 1952.
РРР 1973 — Русская разговорная речь. М., Наука, 1973.

Е. Ю. КУКУШКИНА

СИНТАКСИЧЕСКИЙ ПОВТОР В ЛИРИКЕ А. БЛОКА

Под синтаксическим повтором обычно понимают совпадение или близость синтаксической структуры двух или более предложений или их частей в тексте. Как и другие виды повтора, синтаксический повтор может быть охарактеризован следующими признаками: смежность (два употребления одной и той же синтаксической конструкции следуют непосредственно друг за другом) — дистантность (два употребления одной и той же конструкции разделены одной или более словоформами); точность (синтаксическая структура фрагментов текста, образующих повтор, полностью совпадает) — вариативность (синтаксическая структура фрагментов текста, образующих повтор, близка, но не тождественна).

Точный смежный повтор в лирике А. Блока имеет несколько наиболее распространенных разновидностей. Прежде всего это повторение подряд нескольких предложений с одной и той же синтаксической структурой. Обычно это короткие, нераспростра-

ненные или малораспространенные предложения, построенные по наиболее обычным для русского языка структурным схемам $N_1—V_f$, $N_1—N_1$, N_{N_i}:

Отдых напрасен. Дорога крута.
Вечер прекрасен. Стучу в ворота. (1, 74)

Будут новые виденья,
Будет старая тоска. (2, 125)

Брызжут искры и блещут кольчуги. (2, 38)

Прости, крылатый дух!
Лети, бессмертный пух! (3, 179)

Сонмы могильных видений,
Звуки живых голосов. . . (1, 77)

Назывные и побудительные предложения, особенно однословные, часто образуют целые ряды:

Хохот. Всплески. Брызги, Фабричная гарь. (2, 146—147)
Молчи, душа, Не мучь, не трогай,
Не понуждай и не зови (3, 114)

Значительно реже встречается точный повтор более сложных синтаксических структур, в том числе сложных предложений (занимающих, впрочем, и в этом случае обычно одну строку):

Царем я не буду: ты власти мечты не делила.
Рабом я не стану: ты власти земли не хотела. (3, 46)

Уникальным является случай точного смежного повтора, образованного двумя предложениями, каждое из которых занимает две строки:

И вот уже в долинах
Несчетный сонм огней,
И вот уже в витринах
Ответный блеск камней. (3, 109).

Второй основной тип точного смежного повтора — это повторение отдельных синтаксических групп, чаще всего именных:

Ярким солнцем, синей далью
В летний полдень любоваться (1, 35)
Да и мне не вернуть
Этих снов золотых, этой веры глубокой. . . (1, 97)
Над тобою неизменна
Гордость юная твоя,
Верность женская моя. (2, 82)

Заплетаем, расплетаем
Нити дьявольской Судьбы,
Звуки ангельской трубы. (2, 112)

Она, как прежде, захотела
Вдохнуть дыхание свое
В мое измученное тело,
В мое холодное жилье. (3, 67)

Единичными примерами представлен тип точного смежного повтора с уподоблением группы подлежащего и группы сказуемого:

Обетованная земля —
Недостижимая звезда. (1, 118)

Знаки поздних поколений —
Счастье дольнего волхва. (2, 48)

Точный смежный повтор часто обогащается наличием разного типа сходств между словоформами, занимающими одну и ту же синтаксическую позицию. Он чрезвычайно легко соединяется

с лексическим повтором. Среди фрагментов, приведенных выше, уже встречались такие, в которых точный смежный синтаксический повтор сопровождается повторением одной и той же словоформы (или группы) на одном и том же месте в строке. Приведем еще несколько подобных примеров с наиболее характерным — анафорическим — лексическим повтором:

Мало ли *счастья* в житейском просторе?
Мало ли жару в сердечном огне? (1, 7)

Еще прекрасно серое небо,
Еще безнадежна серая даль. (2, 176)

В час закатный, в час хрустальный
Показались корабли. (2, 55)

Пусть грозит младенцу буря,
Пусть грозит младенцу враг,
Мать глядится в мутный мрак,
Очи влажные сощуря!. . . (3, 113)

Есть лучше и хуже меня,
И много людей и богов,
И в каждом — метанье огня,
И в каждом — печаль облаков. (2, 104)

В последнем примере лексический повтор усложнен тем, что глагол *грозить* употреблен в двух разных значениях.

Синтаксический повтор может быть поддержан сходством морфологического строения словоформ, занимающих одинаковые позиции:

Передрассветное волненье,
Передзакатные мечты (1, 101)

Забелели чистые одежды,
Задрожала тихая рука. (1, 184)
Запевающий сон, зацветающий цвет (1, 257)

или наличием внутренних рифм между ними:

Мой *голос* глух, мой *волос* сед (1, 231)

Утихает *светлый* ветер,
Наступает *серый вечер*. (2, 82)

Кусочек света,
Клочочек рассвета. . . (2, 12—13)

Основные особенности точного смежного повтора присущи и точному дистантному повтору. Наиболее часто совпадает синтаксическая структура рифмующих строк:

Ты в белой вьюге, в снежном стоне
Опять волшебницей всплыла,
И в вечном свете, в вечном звоне
Церквей смешались купола. (1, 143)

Неситесь, кружитесь, томите
Снежинки — холодная весть. . .
Души моей тонкие нити,
Порвитесь, развейтесь, сгорите. . . (2, 278—280)

Понеслись, блеснули в очи
Огневые языки,
Золотые брызги ночи,
Городские мотыльки. (2, 201)

И в ясном море утопающий
Печальный стан рыбачьих шхун. . .
И в золоте восходном тающий
Бесцельный путь, бесцельный вьюн. . . (3, 162)

Иногда одинаковую синтаксическую структуру имеют строки, занимающие одинаковое положение в каждой из строф стихотворения. Например, в стихотворении «Золотистою долиной. . .» (1, 212) последняя строка каждого четверостишия состоит из су-

ществительного, распространенного причастием (в первых двух строфах соответствующие группы стоят в именительном падеже, в третьей и четвертой строфах — в родительном падеже): *Удаляющийся крик — Торжествующий паук — Опустелого жилья — Вдохновенного тепла*. В стихотворении «Ночью сумрачной и дикой. . .» (1, 85) одинаковую синтаксическую структуру имеют вторые строки каждой из шестистрочных строф. Эти строки одновременно характеризуются совпадением рифмующих созвучий, а также наличием семантической переклички (*сын—дочь*): *Сын бездонной глубины — Дочь блаженной стороны*.

Точный дистантный повтор может связывать начальную и конечную строфы стихотворения, образуя синтаксическое кольцо:

Везде — над лесом и над пашней,
И на земле, и на воде —
Такою близкой и вчерашней
Ты мне являешься — везде.
‹. . .›
И через годы, через воды,
И на кресте, и во хмелю,
Тебя, Дитя моей свободы,
Подруга Светлая, люблю. (2, 335)

Как и точный смежный повтор, дистантный точный повтор может сопровождаться лексическим и семантическим повтором:

Я понял все, и отхожу я.
Благословен грядущий день.
‹. . .›
Пускай душа неисцелима —
Благословен прошедший сон.
(1, 80)

Чрезвычайно разнообразны типы вариативного синтаксического повтора. Близок к точному повтору такой тип вариативного повтора, при котором различаются отдельные характеристики параллельных словоформ, например число существительных или время глагола:

В них тишина — предвестье бурь,
И бури — вестницы покоя.
(1, 200)
Ночью вьюга снежная
Заметала след.
Розовое, нежное
Утро будит свет. (1, 144)

Одним из наиболее простых и распространенных видов вариативного синтаксического повтора является смежный повтор с различным порядком слов в однотипных группах. Варьирование порядка слов характерно как для словосочетаний, входящих в состав параллельных фрагментов, так и для предикативных структур. Наиболее типично варьирование порядка слов для именных групп — атрибутивных:

Ты перед ним — что *стебель гибкий*,
Он пред тобой — что *лютый зверь*.
(2, 133)
Ты так светла, как *снег невинный*,
Ты так бела, как *дальний храм*.
(3, 130)
Было то *в темных Карпатах*,
Было то *в Богемии дальней*. . .
(3, 290)

и субстантивных:

Вещает *иго злых татар*,
Вещает *казней ряд кровавый*
И трус, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых. . .
(1, 19)

Широки *ночей объятья*,
Тяжки *вздохи темноты*! (2, 50)

а также для глагольных групп с зависимым именем:

Огонь божественный потушим,
Прогоним ласковые сны.
(1, 172)

Я бледные вижу лампы,
Я поступь лебяжью ловлю.
Я слушаю говор открытый,
Я тонкое имя люблю! (2, 278)

Параллелизм предложений с прямым и обратным порядком главных членов характерен как при глагольном, так и при именном сказуемом:

Разверзлись тучи, месяц встал (1, 54)

Слышались песни любовные,
Толпы молились народные. (1, 133)

Свет набежал. Промелькнули потемки. (2, 132)

Этот воздух так гулок,
Так заманчив обман. (2, 148)

Я знаю, что *холоден ветер*,
Я верю, что *осень бесстрастна*!
(2, 264—265)

Варьирование порядка слов при синтаксическом повторе может усложняться тем, что факультативные компоненты, распространяющие структурную схему предложения, могут относиться к разным членам предложения. Например, в приводимом ниже фрагменте согласованное определение относится в одном из параллельных предложений к подлежащему, в другом — к обстоятельству места, выраженному предложной группой: *Тонкие пальцы легли на канву*; *Локоны пали на нежные ткани* (2, 179). В данном примере синтаксический повтор (связывающий последнюю строку одной строфы с первой строкой следующей) усложнен наличием семантической связи между параллельными членами предложения (пары *легли — пали*, *канва — ткань*) и фонетическим повтором, объединяющим пары словоформ, одинаково расположенных в строке (*онк — кон пал' — пал' кан — кан'*). Тот факт, что семантический повтор обогащает синтаксический, связывая словоформы с одинаковой синтаксической функцией, а фонетический повтор связывает метрически параллельные части строк, демонстрирует сложное соотношение метрического и синтаксического параллелизма в этом отрывке.

Очень широко используется в лирике Блока прием варьирования синтаксического повтора, который можно назвать развертыванием. Он заключается в следующем. Вначале «задается» синтаксическая тема: определенная структурная схема реализуется в виде простого нераспространенного или малораспространенного предложения с минимальным числом структурно факультативных

компонентов. Далее эта модель повторяется, все более расширяясь, обрастая второстепенными членами:

И позвякивали миги,
И звенела влага в сердце,
И дразнил зеленый зайчик
В догоревшем хрустале. (2, 236)

Расширение, удлинение одного предложения по сравнению с другим достигается разными способами. Это может быть введение дополнительных распространителей (определений, обстоятельств):

Что месяца нежней, что зорь закатных выше? (3, 229)

Как горит твой млечный пояс!
Как летит к родному морю
Серебристая звезда! (2, 125)

или распространение простого предложения придаточным:

Не ты ли душу оживишь?
Не ты ли ей откроешь тайны?
Не ты ли песни окрылишь,
Что так безумны, так печальны? (1, 28)

Вариантом развертывания является также объединение синтаксической структуры двух предложений в третьем:

Сойдут глухие вечера,
Змей расклубится над домами,
В руке протянутой Петра
Заплящет факельное пламя. (2, 141)

В первом предложении двусоставная схема N_1—V_f распространена согласованным определением, во втором — предложной группой в функции обстоятельства места, третье предложение содержит оба типа распространителей.

Нередко встречается и противоположный тип смежного вариативного повтора — свертывание. Несколько предложений подряд имеют одинаковую синтаксическую модель, но разную степень распространенности — от более распространенного к более коротким:

Перед тобой синеют без границы
Моря, поля, и горы, и леса,
Перекликаются в свободной выси
птицы,
Встает туман, алеют небеса.
(1, 107)

Я на земле грозою смятый
И опрокинутый лежу.
И слышу дальние раскаты,
И вижу радуги межу. (2, 124)

Оба эти типа синтаксического повтора — развертывание и свертывание — могут объединяться в составе одного фрагмента текста: например, за распространенным предложением следует нераспространенное, а затем снова распространенное:

Не мелькнет ли луч в светлице?
Не зажгутся ль терема?

Не сойдет ли от божницы
Лучезарная Сама? (2, 145)

Разновидностью вариативного синтаксического повтора являются конструкции, в составе которых имеются параллельные и разнотипные фрагменты. Обычно однотипными бывают начала двух строк, а концы строк различны:

Вот красный плащ, летящий мимо,
Вот женский голос, как струна. (2, 204)

Ты думаешь — нежная ласка,
Я знаю — восторг мятежа. (2, 204)

Весьма распространен тип вариативного повтора, при котором два (а очень часто и более) фрагмента текста имеют одинаковую функцию в составе более крупной синтаксической единицы, но различаются по своей внутренней структуре. Это могут быть однородные именные группы в составе простого предложения:

Мне *слабость этих рук* знакома,
И эта шепчущая речь,
И стройной талии истома,
И матовость покатых плеч. (2, 258—259)

или простые предложения в составе сложного:

За те погибельные муки
Неверного сама простишь,
Изменнику протянешь руки,
Весной далекой наградишь. (3, 130)

В ряду предложений с глагольными сказуемыми последние могут иметь разные типы управления:

Подарило нам море
Обручальное кольцо!
Целовало нас море
В загорелое лицо! (2, 52)

Изредка встречаются примеры параллельных конструкций со сказуемыми, выраженными разными частями речи (глагол и наречие или предикатив)

Всё *отлетают* сны земные,
Всё *ближе* чуждые страны. (1, 87)

Всё тихо. Знает ли она,
Что сердце *зреет* за оградой?
Что прежней радости *не надо*
Вкусившим райского вина? (2, 261)

Как правило, главные члены предложения в параллельных конструкциях выражаются более единообразно, а распространители имеют различные функции и различную внутреннюю структуру. Характерным примером может служить следующий фрагмент стихотворения «Бывают тихие минуты. . .». Он состоит из ряда назывных предложений (структурная схема N_N). Каждое из них включает главный член, выраженный существительным в имени-

тельном падеже и различные типы согласованных и несогласованных распространителей:

И вдруг — туман сырого сада,
Железный мост через ручей,
Вся в розах серая ограда
И синий, синий плен очей. . .

О чем-то шепчущие струи,
Кружащаяся голова,
Твои, хохлушка, поцелуи,
Твои гортанные слова. . . (3, 184)

Отмеченные виды варьирования синтаксического повтора являются более или менее элементарными. В реальных текстах они чаще всего встречаются в разных комбинациях, создавая практически бесконечное разнообразие типов варьирования. Приведем характерное четверостишие из стихотворения «Пляски осенние», построенное с использованием смежного вариативного синтаксического повтора:

Улыбается осень сквозь слезы,
В небеса улетает мольба,
И за кружевом тонкой березы
Золотая запела труба. (2, 24—25)

Это четверостишие состоит из трех двусоставных глагольных предложений, построенных по структурной схеме $N_1—V_f$. Все три предложения имеют обратный порядок слов (сказуемое — подлежащее). Каждое образует метрическую единицу: два первых предложения занимают по одной строке, третье образует двустишие. В рассматриваемом четверостишии использовано несколько приемов синтаксического варьирования. Во-первых, это варьирование видо-временной формы глагола-сказуемого: настоящее время, несовершенный вид в первых двух предложениях и прошедшее время, совершенный вид в третьем. Во-вторых, это характер и степень распространения главных членов: по одному обстоятельству разных типов в первых двух предложениях и распространенное обстоятельство и согласованное определение к подлежащему в третьем. В-третьих, при однотипном порядке расположения главных членов (сказуемое — подлежащее) порядок расположения второстепенных членов различен. Такое сочетание сходств и различий в синтаксической структуре предложений, образующих строфу, создает отчетливое ощущение синтаксического повтора и одновременно — гибкость, разнообразие звучания стиха.

Различным может быть соотношение синтаксических единиц, образующих повтор, с соответствующими метрическими единицами. Для лирики Блока наиболее типичны простые варианты этого соотношения: каждая из синтаксических единиц, образующих повтор, совпадает с метрической единицей (например, составляет стих); каждая из синтаксических единиц, образующих повтор, совпадает с метрической единицей, но их длина различна; например, повтор образуют два полустишия, стих и двустишие (тип вариативного повтора — развертывание); каждая из синтаксических единиц, образующих повтор составляет часть метриче-

ской единицы, но эти части одинаково расположены в составе метрической единицы и имеют приблизительно одинаковую длину:

Ты ревнулась движеньем испуганной птицы,
Ты прошла, словно сон мой легка... (3, 25)

Распространенным является также вариант, при котором в состав одной из строк, образующих повтор, входит словоформа или группа, относящаяся к каждому из составляющих повтор фрагментов и не входящая в состав повтора:

Здесь пронесутся непогоды,
Снега улягутся зимы. (1, 172)

Различное расположение фрагментов, образующих синтаксический повтор, в составе стиха, напротив, встречается крайне редко:

Мимо, все мимо — *ты ветром гонима* —
Солнцем палима — Мария! Позволь
Взору — прозреть над тобой херувима,
Сердцу — изведать сладчайшую боль! (3, 101)

Характерна следующая тенденция: в составе метрических единиц, связанных синтаксическим повтором, большим единообразием отличаются обычно начальные части: нечетные стихи, первые половины каждого стиха. На начало стиха приходятся чаще всего и лексические повторы в составе параллельных конструкций. Если параллельные конструкции имеют общую часть, синтаксически связанную с каждой из них, то она располагается обычно в начале первого из параллельных фрагментов. С точки зрения синтаксической структуры бóльшим единообразием отличаются главные члены предложения; второстепенным членам свойственна бóльшая степень варьирования. Это относится как к разнообразию типов распространителей, так и к разнообразию способов их выражения.

Смежный синтаксический повтор легко сочетается с лексическим повтором. Такое сочетание может давать несколько характерных типов кольцевых структур. Лексический повтор может обрамлять фрагмент с параллелизмом, открывая и заканчивая его («Соловьиный сад»):

У женщин *взор* был тускл и туп,
И страшен был их *взор*. (2, 181—182)

И *любить* начинаю томленье,
Недоступность ограды *люблю*. (3, 241)

Что была, *как печаль*, величава
И безумна, *как* только *печаль*...
(3, 204)

Возможен и противоположный вариант расположения лексического повтора — он может заканчивать первый из параллельных фрагментов и открывать второй:

О весна, *без конца и без краю* —
Без конца и без краю мечта!
(2, 272—273)

И с тайной *грустью*, с *грустью* нежной,
Как снег спадает с лепестка,
Живое имя Девы Снежной
Еще слетает с языка. . . (2, 282)

Наконец, два смежных фрагмента, связанных синтаксическим повтором, могут иметь тождественное лексическое наполнение, различаясь только порядком слов и образуя своеобразный тип хиазма:

И страсти и смерти,
И смерти и страсти —
Венчальные ветви
Осенних убранств и запястий. . .
(2, 23)

С ума сойду, сойду с ума,
Безумствуя, люблю,
Что вся ты — ночь, и вся ты — тьма,
И вся ты — во хмелю. . .
(2, 280—281)

И звезды рассказывают,
Всё рассказывают звезды. (2, 196)

Особенно интересный пример подобного построения представляет собой следующее четверостишие, вторая половина которого по самой своей структуре является своеобразной метафорой *кольца*:

Там, в ночной завывающей стуже,
В поле звезд отыскал я кольцо,
Вот лицо возникает из кружев,
Возникает из кружев лицо. (2, 81)

Различные типы синтаксического повтора, преимущественно смежного, создают условия для подчеркивания или наведения семантической связи между параллельными фрагментами. Поэтому естественно, что параллелизм часто связывает объект и образ сравнения. При этом соотношение синтаксической структуры обеих частей сравнения может быть различным, от простых форм вариативного повтора с разным порядком слов (*Жизнь медленная шла, как старая гадалка* (1, 178)) или разной степенью распространенности однотипных конструкций (*И в широком чистом поле / Хорошо, как в чудном сне* (1, 9)), до сложных многочленных конструкций:

И как ночною тьмой сквозит лазурь,
Так этот лик сквозит порой ужасным,
И золото кудрей — червонно-красным,
И голос — рокотом забытых бурь. (3, 230)

Не менее характерна форма синтаксического параллелизма для метафоры. Параллельные фрагменты могут представлять собой две именные группы, по-разному связанные. Одна из них может быть приложением к другой:

Пылайте, траурные зори,
Мои крылатые глаза! (2, 257)

О, глупое сердце,
Смеющийся мальчик,
Когда перестанешь ты биться?
(2, 263—265)

Вон — тощей вербы голый куст,
Унылый призрак долгих будней.
(2, 166)

Другой вариант синтаксической связи именных групп, образующих пару метафора—разгадка, — группа подлежащего и группа сказуемого именного двусоставного предложения:

Руки белые твои —
Две холодные змеи. (2, 127)

Белый саван — снежный плат. (2, 209—210)

Мой сирый дух — твой верный пес (2, 286—287)

Пеплом подернутый бурный костер —
Твой не глядящий, скользящий твой взор! (3, 54)

Метафора и разгадка могут представлять собой также синтаксически независимые именные группы:

Листва кружевная!
Осеннее злато! (2, 23)

Черный ворон в сумраке снежном,
Черный бархат на смуглых плечах. (3, 162)

Наконец, это могут быть связанные сочинительной связью глагольные предложения:

Смотрели темные глаза,
Дышала синяя гроза. (2, 269—271)

Смотрю: растет, шумит пожар —
Глаза твои горят. (2, 273)

Выше проанализированы наиболее характерные для лирики А. Блока разновидности смежного синтаксического повтора, преимущественно двучленного. В качестве основного, исходного типа рассматривается точный смежный синтаксический повтор. Описаны несколько типичных приемов варьирования синтаксического повтора, такие, как различный порядок слов в параллельных фрагментах, развертывание и свертывание синтаксической модели, конструкции, содержащие параллельные и разнотипные фрагменты, конструкции, имеющие одинаковую синтаксическую функцию, но разную внутреннюю структуру. Необходимо подчеркнуть, что в реальных текстах Блока мы находим чаще всего более сложные формы параллелизма. (Например, одним из характерных сочетаний является совмещение в соседних предложениях таких типов варьирования, как развертывание и изменение порядка слов, при сохранении одной и той же структурной схемы предложения). Типы возможных комбинаций остались вне рассмотрения в настоящей работе. Характерной чертой синтаксиса Блока, требующей подробного анализа, являются также многочленные повторы. Наконец, существенным свойством всякого синтаксического повтора является возможность его семантизации. Конкретные формы этого процесса, присущие идиостилю Блока, затронуты в работе лишь в малой степени. Для решения указанных вопросов описание элементарных форм синтаксического повтора представляется необходимым.

В. В. КРАСНЯНСКИЙ

ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ОБРАЗНЫЕ СОЧЕТАНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ (ЭПИТЕТ И. А. БУНИНА)

Повтор сочетаний лексем может быть рассмотрен так же, как и неоднократное употребление слова в речи писателя: здесь есть свои статистические закономерности, определенные структурой языка, типовыми характеристиками разновидностей литературной речи. Стандартные соединения лексем, как и фразеологические, отмечаются высокой частотностью в художественных текстах, независимо от индивидуальных свойств употребления языка. Подобный языковый стандарт в художественной речи И. Бунина не выполняет особых поэтических функций: *голубое небо*, *темная ночь*, *длинные ноги*, *безудержное веселье*, *замашная рубаха*, *черные глаза* и т. п. — хотя в своей совокупности такие сочетания отражают отношение к слову, наблюдается отвержение одних и частое употребление других, т. е. у каждого писателя свой словарь сочетаний, как и свой словарь лексем.

Повтор сочетания может быть предопределен изображением одного и того же, одной и той же реалии, которая используется в силу приверженности к одной и той же тематике, к изображению однотипных социальных коллизий, ситуаций. Предметный мир предопределяет одни и те же предметные слова, которые влекут за собой признаковые слова: *николаевские ботинки*, *николаевская шинель*, *еловая аллея*, *канареечная рубаха*, *летучие лисицы*, *покойницкие чуньки*, *рублевые часы*, *русские наряды*, *студенческий картуз*, *степная деревушка*, *татарские туфли*, *турецкий диван*, *широкий шлях*, *худые ключицы* и т. п. Набор таких повторяющихся сочетаний, привязанных к реалиям, представляет несомненный интерес, так как дает более индивидуальную картину предметного мира, нежели частотные словники. В ряде случаев такие сочетания сами говорят о характере отбора изображаемых реалий. Встречающиеся в разных текстах (повтор в пределах одного произведения имеет свои закономерности, связанные со строением текста, и не рассматривается нами) сочетания: *женоподобный мужик*, *толстая старуха*, *большой кобель*, *огромные сапоги*, *большие ступни* и т. п. — объединяются изображением экстраординарного, поражающего чем-либо, что свойственно поэтике И. Бунина.

Повтор может быть рассмотрен и с точки зрения преломления традиций поэтического языка в речи писателя. В силу очевидной традиционно-литературной основы художественной речи Бунина образные сочетания поэтического и литературно-книжного стан-

дарта многочисленны и разнообразны: *дозременный хаос, горний мир, горние высоты, отчее лоно, молочный туман, светлая бездна, сладкая мука, священный прах, серебристая листва, смутный шум, таинственная жизнь, тихая заря, тонкий сумрак, утренний пар* и т. п.

Повторы сочетаний выражают особенности поэтики текстов, и два вида анализа — анализ опорных слов и анализ лейтмотивных элементов — применимы к данному языковому материалу. Анализ опорных слов в лингвистической традиции выливается обычно в лингвистический комментарий «смысловых приращений», анализ лейтмотивных элементов направлен прежде всего на поэтику текстов и в меньшей степени затрагивает характер словесного выражения лейтмотивов. Но повторяющиеся образные сочетания — лингвистически определенное и в то же время более широкое, нежели лейтмотивные элементы, явление. Это образные детали, которые отмечены закрепленным словесным выражением. Они в конечном итоге выражают своеобразие художественного мира и художественного мировосприятия автора, но способы выражения могут носить самый различный характер.

С точки зрения психологии творчества повтор может носить случайный характер, т. е. автор не задумывается над тем, что одна и та же образная деталь, одинаково выраженная в сочетании слов, встречается у него в разных произведениях. И повтор может быть осознанным — одна и та же деталь отражает какие-то постоянные мотивы в творчестве писателя и находит единственный способ выражения, который искался, был найден в конце концов и закреплен в художественной памяти писателя. Хотя чаще происходит, очевидно, другое — запоминается образ, деталь, словесное выражение варьируется, и если какое-то сочетание повторится несколько раз, то только в силу того, что круг словесных соединений ограничен.

У И. Бунина преобладают повторяющиеся образные сочетания, связанные с какой-либо изобразительной деталью, которая не есть выражение целенаправленной экспрессии, что наблюдается при использовании лейтмотивных элементов, а является по своей функции примерно тем же, что постоянный эпитет в фольклоре — единственно верным способом поэтического соединения слов.

Отношение к заимствованию образных деталей у Бунина подобно отношению к удачным оборотам речи в пушкинскую эпоху — они становились общим достоянием, и сам факт заимствования не был предосудительным. Буниниские «смородиновые глаза» (. . .*ее смородиновые глаза как будто на миг куда-то пропали* — Зойка и Валерия) совершенно очевидно восходят к толстовскому образу из «Воскресения». Повторяющийся образ рыхлых облаков, тумана и пухлых облаков также восходит к предшествующей традиции: Меж круглых рыхлых облаков Невинно небо голубеет. . .

(Бушует полая вода. . .); Он [туман] срывался с плоскогорья, которое окутывал гигантской рыхлой грядой. . . (Перевал); Белый рыхлый туман стоял над скатом полей, мертвенно синея (Последнее свидание); В вышине, в черно-синем небе, белеют пухлые облака, снизу освещенные городом (Мордовский сарафан); . . .тополя. . . возносились верхушками к пухлым белым облакам. . . (Жизнь Арсеньева). Для Бунина главное — изобразительная точность, и находки предшественников он использует как свои, если они стилистически не чужеродны в его произведениях. Такое же отношение и к цитированию — цитата в художественных текстах Бунина, если она даже и имеет внешние признаки цитаты (пунктуационную выделенность, указание на источник или контекстуальное объяснение), не является цитатой в прямом смысле этого слова, стилистически не чужеродна, включена в художественную структуру, выступает то в виде объекта изображения, то в виде лейтмотивного элемента, организующего текст: такие рассказы, как «В такую ночь. . .», «В одной знакомой улице. . .» и др., без цитаты не могли состояться.

Образная деталь запоминается и воспроизводится в разных произведениях. Для Бунина характерно изобразительное постоянство, своими находками он дорожил и, как правило, использовал неоднократно: показательно его известное сравнение *Данте, похожий на старуху*, встречается и в перевернутом виде: *старуха, похожая на Данте*.

Из двух случаев (образная деталь варьируется в способах словесного выражения и образная деталь выражается в словесно закрепленном виде) у Бунина преобладает второй, а варьирование выражения образа обычно ограничено узким кругом слов.

В художественных текстах наблюдается всего два употребления эпитета *пестрокрылый* и оба в сочетании *пестрокрылые чекканки*: Щебечут пестрокрылые чекканки На глиняных могильных бугорках (Щебечут пестрокрылые чекканки. . .); . . .вечное безмолвие песков и несметных рогатых бугорков из глины, усыпляемое жалобною песнью пустынного жаворонка или пестрокрылых чекканок (Свет Зодиака). Характерно воспроизведение не только сочетания с эпитетом, но и деталей окружающего контекста: Другие, не восточные, российские, чекканки снабжаются эпитетом *серенькие* (Веселый двор). Цвет дождевых червей выражается неизменно: . . .Сашка твердо и с удовольствием наступал на блестящую лопату. . ., резавшую надвое жирных *малиновых* червей (Последний день); . . .за сохой вилял по борозде синий грач, то и дело хватая в ней *малиновых* червей. . . (Жизнь Арсеньева).

Цвет летнего заката выражается очень точно, дифференцированно. Цвет закатного солнца, предвещающего на другой день, по народной примете, «хорошую», без дождя погоду, определяется как *мутно-малиновый*: Меланхолично засинели поля, далеко-

далеко на горизонте уходит за черту земли огромным мутно-малиновым шаром солнце. И что-то старорусское есть в этой печальной картине, в этой синеющей дали с мутно-малиновым щитом (Золотое дно); . . .гордо глянув на мутно-малиновый шар, еще не успевший коснуться горизонта, быстро вошел он в Жилое (Захар Воробьев). В другом случае этот цвет как бы объясняется контекстом: Малиновое без лучей солнце село огромным кругом в сизую сухую муть за рекой. . . (Игнат). Цвет неба в это же время суток определяется иначе, и найденная характеристика используется многократно, как нечто наиболее объективно соответствующее действительности: . . .Шафранный свет над полем реет — И, значит, завтра вновь жара. . . (Донник); Солнце тонет в сухой сизой мути, и шафранный свет запада быстро меркнет (Свет Зодиака); . . .лес темнел на шафрановом фоне заката (На даче); . . .солнце спустилось за дальние трубы и мачты, в шафрановое зарево. . . (Отто Штейн).

Сходный цвет утренней зари определяется иначе: . . .восходящий из-за гор Моава . . . золотисто-шафранный свет; Длится и все светлее становится золотисто-шафранное утро (Страна Содомская). Однажды сочетание *шафранный свет* употребляется по отношению к лунному сиянию: Около полуночи над темно-лиловой равниной моря взошел оранжевый печальный полумесяц. Сея на горизонте *шафранный свет*, он наклонно висел. . . (Дельта). Но происхождение шафранного лунного света здесь объяснено наложением цвета оранжевого месяца и темно-лилового моря. Таким образом, цветовая дифференциация здесь носит устойчивый характер и, очевидно, индивидуальна.

В «Словаре эпитетов русского литературного языка»[1] (СЭРЛЯ) сочетание *шафранный свет* отсутствует, отмечается как обычное сочетание *малиновое солнце* и иллюстрируется примером из В. Катаева (у него это утреннее июльское солнце). В целом же эпитет *шафранный*, как и сложения, включающие его основу, чаще в СЭРЛЯ попадают в разряд редких, индивидуальных эпитетов. Очевидно, это обоснованно, хотя принципы, на основании которых эпитеты разделяются на обычные, распространенные в литературной речи, и редкие, индивидуальные, затруднительно извлечь из предисловия или текста словаря. Иногда можно видеть логические основания разделения эпитетов на обычные и редкие, когда, например, цветовые эпитеты, характеризующие существительные с конкретным предметным значением, в большей части относятся к обычным, распространенным (в том числе и такие, как *сиреневые глаза*, *черносливные глаза* и т. п.). Но наличие цветовых эпитетов среди редких (*лаково-черные волосы*), а также такого типа сложений, как *неудержимо-яростный гнев*, говорит

[1] *Горбачевич К. С., Хабло Е. П.* Словарь эпитетов русского литературного языка. Л., Наука, 1979.

о каких-то других принципах разделения. Если брать в качестве основания распределения эпитетов частотность, то она сама по себе не может служить достаточным критерием: *тяжелозвонкий* А. Пушкина не раз повторен в поэтических текстах, но тем не менее не воспринимается как обычный, сохраняется восприятие необычности, индивидуальности, в непушкинских поэтических текстах распознается как цитата. Степень метафоричности или «оксюморонности» также не может быть универсальным критерием. Очевидно, более корректным было бы распределение эпитетов на обычные, встречающиеся как в художественной речи, так и в других разновидностях литературного языка, и необычные, встречающиеся только в художественных текстах.

В некоторых случаях повторяющийся цветовой эпитет связан не с дифференциацией выражения цвета, а с более упрощенной, огрубленной подачей его. Упрощение на фоне объективированной дифференциации связано с выражением субъективного восприятия. Обычные *иссиня-черные волосы* у Бунина определяются как *синие* (даже *не темно-синие*): Поп, черный, высокий человек. . . бодро тряс по плечам *синими волосами*, запуская в навоз вилами. . . (Будни); Он пугал ее своей молчаливой любовью, огнем черных глаз и *синими волосами*. . . (Чаша жизни); — Дикая дылда, мрачный красавец с *синими волосами* по плечам . . . изо дня в день то играет, то бегает на похороны (Слава). Характерно, что синими волосами наделяются священники и юродивый. Субъективно на фоне черного цвета поражает синева волос, поэтому *синие волосы* здесь оправданы (в других случаях — чаще обычное *черные волосы*).

Не отмеченное в СЭРЛЯ сочетание *бурые волосы*: Это был старозаветный мужик . . . никогда не подымавший лохматой бурой головы. . .; На его *бурых волосах*, нечеловечески густых и крупных, таяло (Деревня); И другая девка. . . схватила его за густые *бурые волосы* и потащила через стол (Красные фонари); . . .человеком, похожим своими *бурыми* прямыми *волосами* и суздальским носом на старообрядца, . . . (Жизнь Арсеньева). Эпитет отчасти оправдан наложением цветов (*грязные рыжие волосы*, но возможно и более точное выражение: *грязно-медные*, *серо-медные* и т. п.; в рассказе «Красные фонари» все изображаемое видится через освещенное окно), но прежде всего вызван тем, что изображается субъективное восприятие цвета.

Аналогично *молочные глаза*: Слепой подхватывал, закатывая *молочные глаза* под лоб. . . (Деревня); Еще едва таращил *молочные* бессмысленные *глазки*, пускал пузырями слюну. . . (Суходол). *Молочные—слепые и подслеповатые*, более обычно *молочно-голубые глаза*. Остранение более точной характеристики дает эффект экспрессивности.

Привычные при обозначении цвета метафоры могут приобретать характер постоянных эпитетов. Трижды встречается у Бу-

нина *верблюжий цвет*: . . .окрестные бугры изменили свой вид и состав, — стали конусообразными, похожими на потухшие вулканы, единообразного *верблюжьего цвета* (Пустыня дьявола); И *цвет* его [острова] совсем новый для глаза — *верблюжий*; . . .дальний [остров], самый большой, *цвет* имел опять *верблюжий* (Воды многие). Такое название серо-желтого цвета всегда связывается с голыми, пустынными горами Востока, метафора и семантически дает восточный колорит. Характерен также эпитет *радужный*: Головка [чирка]. . . бессильно падает на *радужный* зобик, брюшко в запекшейся крови. . . (Далекое); И все [голуби] толстые, с *радужными* зобами. . . (Поздний час). Метафора выражает восприятие многоцветности птичьего зоба.

В метафорическом цветовом эпитете цветовая характеристика может соединяться с какой-либо другой. Само стремление к комплексной качественной характеристике может выражаться различно, и Бунин прибегает ко всем способам. Самый простой — соединение эпитетов в ряду однородных членов: Какая *теплая и темная* заря!; Как все вокруг *сурово*, *снежно*, Как этот вечер *сиз и мур*!; Стоит туман, *прозрачный и лазурный*; День холодный *Угрюм и свеж*. . .; *Дикий зловонный орлиный* приют и др. Ряды однородных эпитетов — частое явление и в поэзии, и в прозе Бунина. Он добивается в них постоянного варьирования качественных характеристик, стремится к тому, чтобы они, взаимодействуя, дополняли друг друга.

Более резкий прием — соединение подчинительной связью слов, несущих разные качественные значения. Многие из таких сочетаний используются неоднократно, самая большая группа их дает соединение цветового и светового значения: *голубая тень*, *зелено гореть*, *бледная зелень*, *зеленоватый полусвет*, *темный румянец*, *тускло сереть*, *тускло синеть*, *прозрачная синева* и т. п. Кроме них. встречаются сочетания, в которых выражены значения запаха, звука, температуры, объема и т. п. в различных комбинациях: *низкий блеск*, *плоско белеть*, *сырые сумерки*, *ярко дрожать*, *вонючая темнота*, *душная тень*, *пахучая сырость*, *знойно звенеть*, *жаркая темнота*, *свежо темнеть*, *тепло освещать*, *холодно синеть*, *широко чернеть*, *широко синеть*, *знойно шуршать*, *прохладный сумрак* и т. д. Сам по себе прием такого метонимического соединения слов получил широкое распространение в художественной, особенно стихотворной речи. И такие образные сочетания, очевидно, не запоминаются и не воспроизводятся писателем, а действует механизм порождения их.

Соединение разных качественных характеристик нередко у Бунина в одном метафорическом эпитете, который представляет найденный писателем образ, живущий в его художественной памяти. *Грифельный осинник*: . . .вдоль оврага, густо заросшего *грифельным* безлиственным *осинником*, — там за лесом нежно, слабо разлился погожий закат (Сосед); Все серо и голо, *грифель-*

ный осинник за шалашом в овраге засыпан гниющей листвой (Апрель). *Грифельный* обозначает и цвет, и внешние формы (*деревья прямые, тонкие, как грифели карандашей*). Описания привязаны к определенной временной ситуации: осинник грифельным видится в апреле, когда снег сошел, а листва еще не распустилась, вечером, на фоне заката. Сходное употребление отмечается еще раз в другом сочетании: Томясь от зноя, *грифельный журавль* Стоит в кусте (Художник). И в этом более раннем употреблении цвет связан с определенным фоном: нечто пыльно-желтое, подобное «слабому закату», — хребет Яйлы, солнце в полдень.

Известковый помет:. . . на полу [колокольни] целые вороха *известкового* птичьего *помета*. . . (Над городом); Первобытны эти милые голуби, их *известковый помет*, падающий с высоты на циновки (Тень птицы);. . . куры усаживались на насест, на перемет, побелевший от их *известкового помета*. . . (Забота); . . . какой-нибудь из них [ястребов] затрепыхается, взъерошивая перья, и плевком пустит на палубу *известковый помет* (Копье господне); Я указал. . . на засохший птичий *известковый помет* . . . (Натали). Здесь и цвет, и формы, которые способна принимать известка. Ви́деньем образа Бунин наделяет и своего лирического героя — Мещерского в «Натали». *Рисовое лицо*: . . . ходил вокруг гроба и кадил на блестящий нос, на *рисовое лицо*. . . (Чаша жизни); . . .несут навстречу ему на полотенцах открытый гроб, покачивается *рисовое лицо* с пестрым венчиком на лбу. . . (Поздний час). Серо-белое, непрозрачное и как будто ячеистое, как горка сухого риса, лицо.

Наряду с цветом постоянно в качестве объекта обозначения в образных сочетаниях выступает запах. Признаки запаха закрепляются в повторяющихся сочетаниях. Запах дыма на масленицу в деревне особый: И за масленицу, за эти серые дни. . . слегка кружившие голову своим теплом и праздничным чадом из труб. . . (Игнат); Ах, как хорош после комнаты сырой воздух, пахнущий праздничным чадом. . . (Подснежник).

Если запах не привязан к определенной ситуации, к определенным источникам, т. е. выделяется сам по себе как нечто устоявшееся в художественной памяти, то образное сочетание более свободно используется в разных контекстах, способ обозначения запаха более объективен, пли «материален». *Металлический запах*: За мостом дико чернели и *металлически пахли* городские кузни (Три рубля); Было звездно, свежо, *металлически пахло* землей (Весенний вечер); . . . в комнатах нахолодилось и *металлически запахло* морозным воздухом (Сосны). *Пряный дым* отличен по значению от обычного сочетания *пахучий дым* (последнее — *дым костра, печи* и т. д.): . . .в баре . . . цедили коньяк и ликеры, плавали в волнах *пряного дыма*. . . (Господин из Сан-Франциско); . . .поклоны и кажденья ладаном, его *пряный дым*, густо восходящий из кадила. . . (Жизнь Арсеньева). Объединены сходные по

восприятию запахи ладана и сигарного дыма. *Пряный* (*пряно*) в сочетании с другими словами употребляется по отношению к запахам других источников и во всех случаях обозначает резкий, специфический запах: . . .сонный воздух, напоенный *пряным ароматом болотных трав и хвои*. . . (Маленький роман); . . .теплый, сонный воздух был напоен *пряным ароматом болотных трав и хвои*. . . (Ночная птица); . . .по берегам лежат целые горы *чего-то бурого, остро и пряно воняющего*. . .; . . .постриг меня «бобриком» и, надушив, взодрал этот бобрик *сально и пряно вонявшей* круглой щеткой . . . (Жизнь Арсеньева).

Разновидности запаха у Бунина очень разнообразны, только среди неоднократно употребленных прилагательных (при существительных *запах*, *вонь*, *чад*, *аромат*) и наречий (при глаголах *пахнуть*, *вонять*, *благоухать* и производных от них) отмечаются: *сладкий*, *сладковатый*, *горький*, *пряный*, *кислый*, *весенний*, *водянистый*, *кухонный*, *металлический*, *мягкий*, *праздничный*, *свежий*, *резкий*, *смолистый*, *спиртуозный*, *теплый*, *упоительный*, *церковный*. В тех случаях, когда запах не определяется однозначно, Бунин неизменно отмечает это эпитетом *сложный*: Поднявшись на крыльцо, чувствую тот *сложный* особый *запах*, что бывает только на папертях русских церквей, ранней русской весной (Пост); В комнату, в застоявшийся *сложный запах* лекарств, ощутительно потянуло чистым воздухом (Игнат); В коридоре очень *сложно* и очень дурно *пахло* и особенно чем-то тем, душным и резким, чем натирают полы в дрянных гостиницах (Далекое); . . .распахнул дверь в *сложно* и сладко чем-то *пахнущий*, душный и очень теплый номер. . . (Петлистые уши); . . .явственно запахло всеми *сложными* людными *запахами* города. . . (Жизнь Арсеньева); Низкие своды, ни души, холодок и старый, *сложный* церковный *запах* (Апрель); . . .в доме *сложные* вековые *запахи*. . . (Странствия).

В ряду всех разновидностей *сложный запах* — хотя и смешанный, все же достаточно определенный — запах человеческого жилья и всего того, что сопровождает жизнь человека, смешанный запах в церкви человеческой толпы и ритуальных ароматов. Сам по себе *церковный запах* определяется особо: Кусочек ладана . . . распространял сладкий *церковный запах*. . . (Белая лошадь); Как он . . . высоко взвивал пылающее кадило и потоплял в синих клубах *церковного благоухания* неподвижно лежащую куклу! (У истока дней); — И какой *дух-то церковный* пошел! (Баллада). Следовательно, это запах ладана при горении и церковных свечей. Он в восприятии Бунина ясно отграничен от всех других ароматов, поэтому употребляется метафорически, применительно к другому источнику: И так же воспринимал он *церковный запах* тополей, распустившихся за заборами в переулках. . . (Митина любовь); А на юге тополя уже оделись, зеленели и *церковно благоухали* (Лирник Родион).

Характеристики звука у Бунина менее дифференцированы, среди повторяющихся преобладают стандартные эпитеты (*резкий*, *ровный* и т. п.). Своеобразие писателя проявляется в метафорическом использовании прилагательных, образованных от певческой терминологии: *басистый звон*, *альтовые замирания*, *дискантовые оркестры* и т. п. Среди устойчивых образных сочетаний преобладают те, где выражается субъективное восприятие звуков. Механические резкие свистки на пароходах и железных дорогах определяются как *гремучие*: . . .раздаются *гремучие свистки* оберкондуктора, мощные взревывания паровоза. . . (Новая дорога); . . . пассажиры, разбуженные этой неожиданной обстановкой, *гремучими свистками* и топотом ног на палубе . . стали появляться у рубки (Туман); Слышал больной Чанг далекие командные крики, *гремучие свистки* боцмана, топот матросских ног. . . (Сны Чанга). Гудки пароходные определяются как *мрачный рев*: . . .*мрачно*, могуче и величаво, отзываясь по рейду и в городе, *заревела труба*: пароход . . . прибыл. . . (Братья); *Сирена* на туманном косогоре *Мычит* и *мрачно* и темно (После обеда). Звуки «легкой» музыки, как бы приглашающей к танцу, к веселью, определяются эпитетом *подмывающий*: . . .стали слушать *подмывающие звуки* «По улице мостовой». . . (Дурочка); . . .резкие, *подмывающие звуки* аристона, на котором играли для нас его дочки. . .; . . .так ловко, *подмывающе играет* на гитаре песни, какие-то старинные, счастливых дедовских времен. . .; . . за толпой *подмывающе взвизгивала* скрипка и топали танцующие ноги. . . (Жизнь Арсеньева); . . . машина гремела в пустом зале, *подмывающим* . . . *кекуоком* . . .(Казимир Станиславович).

В целом объективная дифференциация признаков отражается относительно последовательно у Бунина только в кругу цветовых прилагательных, в большей же части мы имеем дело с выражением субъективного восприятия признака. Среди эмоциональных впечатлений, передаваемых в повторяющихся образных сочетаниях, преобладают эмоции удивления, ужаса, неприязни. Так, характерны у Бунина сочетания, где выражается восприятие черного цвета. *Грубо чернеть*: . . .*Чернели грубо* баржи на канале. . . (На Невском); . . . что так *грубо чернеет* сухой дешевой краской, белея крестами на крышках . . . (На Базарной); . . .тяжко и *грубо чернеет* дикая морщинистая глыба гигантского камня (Камень); . . .сидел . . . среди огромных дубовых пней, *грубо черневших* на нем [косогоре] в нежной высокой траве. . . (Жизнь Арсеньева). То же образное впечатление передается в эпитете *грубо-черноволосый*: . . .две сестры . . .обе рослые, *грубо-черноволосые*, с черными сросшимися бровями, строго-молчаливые — настоящая пара вороных дышловых лошадей. . . (Жизнь Арсеньева); . . .*грубо-черноволосый*, темный длинным бритым лицом, большеносый, был он и впрямь совершенный ворон. . . (Ворон). В последних отрывках образ мотивируется, оправдывается сравне-

ниями, но если обратиться к тем случаям, где грубая чернота отмечается по отношению к реалиям бессловесным, то в сочетаниях выражается удивление простотой, «неокультуренностью», дикостью чего-либо. Более элегическая эмоция передается в эпитете *траурный*, например, в сочетании *траурный хвост*: . . . И зоркая сорока над крестом Качает длинным *траурным хвостом*. . . (Руслан): И она [змея] была . . .с изумрудной полосой на затылке и *траурным хвостом*. . . (Братья). Здесь и черный цвет выражен, и дан эмоциональный сигнал о смерти: змея — способ самоубийства у рикши, сорока — на могиле Руслана.

Круг сочетаний, передающих эмоциональное восприятие, разнообразен, выражение эмоции накладывается на разные обозначения признака. В качестве главного средства обычно выступает метафорический эпитет. Постоянный характер носит сочетание *гробовое лицо*: Почти черное, *гробовое лицо* Таганка стало еще безжизненнее, глаза совсем остекленели; Темного, *гробового лица* его не видно. Жив ли он? Жив. (Древний человек); Покорилась его голосу, его *гробовому лицу* и старуха (Худая трава). Образ выражается и в других сочетаниях эпитета: . . . кучера везут. . . купчих . . . поражающих или желтой пухлостью и обилием драгоценностей, или *гробовой белизной и худобой*. . . (Жизнь Арсеньева); . . .она побледнела до *гробовой синевы*. . . (Речной трактир). *Гробовой* — безжизненный по отношению к живому, поражающий неподвижностью, застылостью, безразличием, при этом какой-либо определенный цвет не выражается. Образ поддержан серией своеобразных сочетаний, в которые вступает эпитет: *гробовые губы*, *гробовые ресницы*, *гробовая чернота* и т. д. Более всего это эмоциональное восприятие неподвижности, ср.: . . .большие черные глаза за черными ресницами имели *что-то гробовое* и вместе с тем налиты молодой животной теплотой. . . (Апрель).

Конфетное лицо: — *Лицо — конфетное*, но зато волосы совсем как у Рубинштейна. . . (Без роду-племени); Я . . .поражен был ее кукольностью . . . лубочной красивостью и детскостью *конфетного лица*. . .; . . . молодые люди, все в котелках, но тоже с пейсами, с девичьей нежностью и округлостью восточно-*конфетных лиц*. . . (Жизнь Арсеньева). Общее в *конфетных лицах* — округлость, румянец, пухлые губы при общей правильности черт, что придает «сладость» выражению.

Жирные эполеты: Беглым светом Блестят огни по *жирным эполетам* (Игроки); . . .я очутился . . . среди всяких знатных представителей города и губернии, фраков, мундиров, треуголок, *жирных* военных *эполет*. . .; . . . опять мундиры, ордена, треуголки, *жирные эполеты* (Жизнь Арсеньева). Метафора основана на сравнении дрожания эполет с зыбкостью студенистообразного, жирного.

Метафорический эпитет у Бунина редко используется как повторяющийся образ развернутой метафоры, и если такое случается, развернутая метафора также воспроизводится в тексте. *Золотой невод* встречается в двух стихотворениях: . . .А солнце под водой По валунам скользит и шевелится, Как *невод золотой* (Золотой невод);. . .Ночь тянет вдаль свой *невод золотой* — И скоро блеск померкнет и убудет (Ночные цикады). В первом стихотворении метафора развернута в деталях — угасающий солнечный свет, как сеть под водой от движения воды и теней, во втором — сокращена детализация, но метафора все же достаточно объяснена контекстом. Для развернутой метафоры характерна близость описательных контекстов: Стекла окон . . . *зарисованы серебряными пальмовыми листьями, узорчатыми папоротниками* (Учитель); . . .стекла окон сверху донизу *зарисовал мороз серебряными пальмовыми листьями, узорчатыми папоротниками* (В деревне).

Многие метафорические сочетания сами по себе не представляют чего-либо своеобразного, достаточно традиционны, встречаются в художественной речи XIX в., но у Бунина зачастую индивидуализированы. Это достигается тем, что метафора употребляется не как размытый по семантике экспрессивный образ, а как образ, применяемый к определенной реальности, закрепленный за ней многократным использованием в разных текстах. *Кроткое небо*: Она [осень] делала дали нежно-голубыми и глубокими, *небо* чистым и *кротким* (Эпитафия); Низкое солнце пригревало, *небо* было *кроткое*, ясное (Последнее свидание). В обоих случаях это осеннее небо, ясное, безоблачное, в период «бабьего лета». *Хрустальный звон* — традиционная метафора в передаче тонкого, стеклянного звука [2]. У Бунина этот звук отмечается постоянно для одной и той же ситуации: *Хрустальный звон* сливает с небом нивы (Ночные цикады); И однообразный, ни на секунду не прерывающийся *хрустальный звон* стоит во всем этом молчаливом ночном мире, подобно какому-то звенящему сну (Ночь); . . .я весь в этом знойном, *хрустально-звенящем* полусне. . . (Пустыня дьявола); Бежал по кустам шелковистый шум и шорох, однообразно и *хрустально звенела* в них овсянка. . . (Веселый двор) Непрерывный звук насекомых в степи, пустыне — традиционная метафора своеобразно повернута к реальности. В «Пустыне дьявола» содержится объяснение метафоры: *Теперь этот звонкий шепот* [насекомых] *стоит сплошным хрустальным бредом*. . .

Повторяющиеся образные сочетания нередко связаны у Бунина разными нитями с какими-либо повторяющимися элементами поэтики произведений.

---

[2] В СЭРЛЯ как обычный эпитет, иллюстрированный контекстом М. Шолохова: *хрустальный звон бьющихся льдинок.*

Повтор сочетания может быть параллелен повтору сюжетной коллизии. У Бунина в двух рассказах персонажи с бронзовой бородой: . . .*бронзовой бородкой* и зоркостью зеленых глаз он [Устин] напоминал старикам-дворовым объездчика-черкеса. . . (При дороге); Очень красивый был человек, дородный, высокий, с чудесной *бронзовой бородой*. . . (Галя Ганская). В обоих рассказах это отцы главных героинь, вдовые, у обоих красивые дочери, которых ждет трагическая участь. Очевидно, весь этот ассоциативный комплекс жил в художественной памяти писателя.

Повтор сочетания оказывается нередко связан с какой-то повторяющейся темой, мотивом разных произведений. *Стоячие глаза* [3]: Аленушка смугла была, *Глаза* у ней горячие, Блескучие, *стоячие*. . . (Аленушка); Но Захар . . . пил все жаднее, чтобы переломить ее [тоску] и наказать этого курчаво-рыжего, со *стоячими* белыми *глазами* хромого мещанина. . . (Захар Воробьев); . . . сказала она, глядя на Никанора большими, *стоячими*, прозрачно-зелеными *глазами* (При дороге); Ему лет тридцать . . . У него *стоячие* агатовые *глаза*. . . (Сосед); . . .а *глаза* за блестящими очками *стоячие*, как будто ничего не видящие и беспокойные (Братья); . . .нашли ее утром — с перерезанным горлом . . . с дикими, рачьими *глазами*, *стоячими*, изумленными (Страшный рассказ) и др. *Стоячие глаза* — всегда предвестник или спутник смерти, несчастья. Аленушка «сожгла леса . . . до пенушка», «А где сама девалася — Доныне не узналося!» Захар Воробьев напивается до смерти. Сосед — человек, переживший несчастье; англичанин, больной, со стоячими глазами (в «Братьях») в ужасе от Востока, непонятного для него и т. д. Образное сочетание постоянно сопутствует мотиву смерти.

Неоднократное употребление сочетания в некоторых случаях имеет у Бунина лейтмотивную окраску. Метафора *несметные глаза* есть в разных произведениях: . . .Стоцветной бисерной росою Кипят *несметные глаза* В ее головке раздвоенной. . . (Бред); По вечерам этажи «Атлантиды» зияли во мраке огненными *несметными глазами*. . . (Господин из Сан-Франциско); Но повсюду, в ливне сыплющихся листьев, мчится вихрь *несметных* огненных *глаз*. . . (Ночь отречения); И за этой чадрой, как бы *несметные глаза*, таинственные и прекрасные, матово и недвижно блещут несметные, далекие и близкие огни. . . (Крик).

В первом контексте *несметные глаза* стрекозы, и не совсем реальной, а символической Стрекозы, чаще — *несметные глаза* огней (города, парохода). в «Ночи отречения» — мифический *тысячеглазый Мара*. Метафора в той или иной мере оправдана то впечатлением многоглазия реальной стрекозы, то тем, что тысячеглазый Мара выражен в природе: «внутри светящиеся волны», «морские звезды, испускающие таинственное сияние». Но во всех

[3] В СЭРЛЯ — редкий эпитет с контекстом из «Аленушки» И. Бунина.

случаях это ясно связано с мотивом удивления, ужаса перед окружающим миром (мириады огней — несметные глаза живых существ). Однажды этот образ объяснен в дневнике героини: — Весь мир смотрит на меня миллионами плотоядных глаз, как когда я бывала маленькая в зверинце. . . (Дело корнета Елагина). Среди цитат, приведенных в дневнике, эта фраза — бунинская.

В целом в повторяющихся сочетаниях И. Бунина преобладает образная деталь, которая имеет для писателя самодостаточную ценность, обладает как бы абсолютной художественной достоверностью и убедительностью.

О. А. КУЗЬМЕНКО

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТИХОТВОРЕНИЯ Ф. И. ТЮТЧЕВА «ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА»

Цель настоящей статьи при помощи аппарата понятий лингвистики текста и определенного понимания структуры высказывания описать семантические связи и отношения между сторонами сложного эстетического знака, каким является художественный образ. В качестве такого художественного образа нами будет рассмотрено стихотворение Ф. И. Тютчева «Весенняя гроза» и стихотворение Н. Заболоцкого «Гроза».

Обычно под высказыванием понимается устный или письменный текст одного автора, представляющий собой единое смысловое целое (Гиндин 1971). Указание на субъект речи (автора) по существу бессодержательно и слишком формально. Оно ничего нам не говорит о содержательном богатстве высказывания. В то время как именно в тексте субъект речи объективирует себя в определенной роли и в соответствии с этой ролью создает образ самого себя как лирического героя. При таком более дифференцированном понимании соотношений между текстом, автором и образом автора существенным оказывается сам текст, все его стороны: и форма текста, и его функция, и способ речи, так как на основании всех этих сторон текста мы можем с известной полнотой интерпретировать образ субъекта высказывания. В высказывании, в разных его содержательных аспектах по-разному объективируется и концептуально оформляется образ субъекта высказывания. Любой текст можно представить как сумму намерений субъекта речи, объективированных посредством данного высказывания и в нем содержащихся. Под образом субъекта высказывания мы будем понимать сумму намерений говорящего, объективированную в данном высказывании

и реконструируемую на основании формы и содержания данного высказывания. При этом следует иметь в виду, что субъект речи не только «для нас» выступает в форме образа субъекта высказывания, но и «для себя». Другими словами, автор посредством своего слова объективирует самого себя в том или ином образе. Поскольку нас в дальнейшем будет интересовать деятельность субъекта, который для выражения своих намерений обращается к языковым средствам создания того или иного образа, а не к пластическим или музыкальным формам выражения, постольку мы будем рассматривать объективации намерений говорящего, проявляющиеся только в языковых формах, в формах словесного творчества.

Субъект речи, обращаясь для выражения своих намерений к определенным языковым формам и средствам, через набор этих форм объективирует самого себя в определенном качестве. Так, на каком основании мы обычно классифицируем тот или иной текст как текст стихотворный? На основании анализа формы текста, обладающего такими конституирующими элементами плана выражения, как определенный размер, ритм, рифма, особое интонирование. Поскольку овладение стихотворной формой речи требует от говорящих определенных усилий, умений и навыков, то, естественно, что не все люди ею владеют, а только некоторые, которых именно по этой их способности принято называть «стихотворцами», «поэтами». Стихотворение-высказывание Ф. И. Тютчева «Весенняя гроза» на основании анализа его формы обычно определяется как стихотворение, посредством которого субъект речи, автор, объективировал себя в образе «поэта». Традиционный стиховедческий анализ формы этого стихотворения дает крайне мало для понимания его семантических особенностей. Более содержательные результаты мы получим, обратившись к другим аспектам рассмотрения этого стихотворения, к другим его основаниям и модусам, опираясь на подходы современной лингвистической поэтики (Григорьев 1979). Для данного стихотворения таким модусом является способ речи. Рассматривая это стихотворение с точки зрения роли способа речи в организации его смысловой структуры, мы замечаем, что образ весенней грозы здесь дан средствами двух разных поэтик, отражающих два различных способа интерпретации и осмысления действительности, указывающих на два способа мышления, которые в составе целого эстетического знака дополняют и углубляют друг друга. В первых трех строфах образ весенней грозы решен средствами реалистической поэтики с ее ориентацией на изображение явлений действительности как таковых. В последней строфе он решен средствами классической поэтики с ее ориентацией на образы античной мифологии.

Под классической поэтикой или ее элементами в дальнейшем мы будем понимать определенную рецепцию античности, которая, естественно, может иметь различные источники. Винкельмановский идеализированный образ античности как спокойной про-

стоты и благородства, наиболее полно воплотившийся в греческой пластике, буколическая Греция А. Шенье и «Парнаса», наследовавшая поэтические модели Феокрита, Биона и Вергилия, существенно отличается от традиции классической поэзии «железного века» Гесиода и Гомера, когда molpe 'танец и пение' наиболее полно выражали существо поэзии, рождающейся из духа музыки, определяя самое существенное в поэте — творца, отличая его от скульптора-техника (banausos).

Аналогические стихотворения Фета, Майкова, Щербины, наследуя винкельмановские представления об античности, отличаются от тютчевских. В стихотворении Ф. И. Тютчева «Весенняя гроза» Геба слишком ветрена, слишком жизнерадостна, слишком простодушно-бытийственна, чтобы напомнить о стране оживших статуй, какой представлял Элладу Леконт де Лиль. Тютчевское восприятие античности носит дохристианский, языческий характер, тютчевский хаос есть именно древний хаос Гесиода, а мифологема воды у Тютчева сродни Фалесовой, что указывает на подобие первичных натурфилософских и поэтических интуиций (Лосев 1930, Козырев 1974, Murray 1966).

Мы сознательно избегаем термина «классическая поэтика», так как он вызвал бы нежелательные в данном контексте ассоциации с поэтикой французского или русского классицизма. Концепция античности Ф. И. Тютчева шире, не совпадает с тем, что принято понимать под классицизмом. Хотя на уровне формы в поэзии Тютчева содержится множество элементов поэтики классицизма, как это и отмечалось в исследовании Д. Д. Благого, который применительно к творчеству Тютчева также пользуется термином «классическая поэтика» (Благой 1933).

Начальная строфа стихотворения Тютчева «Весенняя гроза» вводится актом высказывания *люблю*, через который осмысливается все высказывание вплоть до последней строфы. Через акт высказывания *люблю* говорящий выражает свое отношение к предмету речи — весенней грозе, через этот акт высказывания субъект речи объективирует себя в образе человека, любящего грозу. В самом же высказывании поэт создает реалистический образ весенней грозы.

Не так дана и введена в текст стихотворения последняя строфа, начинающаяся оборотом *Ты скажешь*. То, что раньше воспринималось нами как самовыражение чувств поэта, связанных с переживанием весенней грозы, оказывается, имеет своего подразумеваемого адресата, поэта-классика. В результате совмещения двух различных описаний одного и того же средствами двух поэтик, реалистическая картина весенней грозы переосмысливается в плане мифологически-символическом, явление и смысл здесь празднуют свою встречу, взаимно дополняя и углубляя друг друга.

Здесь нет противопоставления поэта-реалиста поэту-классику, поэтики реализма классической поэтике, перед нами другие соот-

ношения: решение одной темы средствами двух разных поэтик указывает на то, что эти поэтики находятся в отношении дополнительного распределения, мифологически-символическое описание весенней грозы переосмысливает реалистическую картину весенней грозы, сообщая смысловую перспективу всему стихотворению, а образу весенней грозы глубину символа.

Акт высказывания *ты скажешь* не равен акту высказывания *ты сказал*. *Ты скажешь* — это «как, если бы ты сказал» (als ob). Поэтому мы говорим, что поэт-реалист подражает поэту-классику, говорит о весенней грозе так, как о ней сказал бы поэт-классик, использует арсенал его поэтических средств. А это значит, что Тютчев-поэт в одинаковой мере владел двумя разными поэтиками и умел ими искусно пользоваться для решения своих художественных задач. Таким образом, Тютчев, являясь субъектом речи всего стихотворения, создает два разных образа субъекта высказывания: образ поэта-реалиста и образ поэта-классика. Это различие мы устанавливаем по способу речи, по способу осмысления действительности, в данном случае — мифологическому. Мы полностью разделяем суждение Б. М. Козырева о том, что «высшей целью поэзии для Тютчева было создание мифов (Козырев 1974).

Обычно совокупность сообщений, сделанных разными лицами по одному поводу, принято называть диалогом, а каждое сообщение внутри диалога монологом (Рождественский 1979). Рассматриваемое стихотворение представляет собой диалог, состоящий из двух монологов, принадлежащих не разным лицам, а одному и тому же лицу. В этом одна из фундаментальных особенностей этого текста, обусловленная художественным зданием Эти монологи в рамках целого отличаются по способу речи: субъект речи, автор, произнося первый монолог о грозе и предвидя реакцию на сам способ ведения речи со стороны пресуппозицируемого собеседника, поэта-классика, строит второй монолог в виде сообщения, учитывающего и предвосхищающего способ речи предполагаемого собеседника. Вполне возможно, что Тютчев мысленно беседовал со своим наставником и учителем Раичем и ему адресовал последнюю строфу своего стихотворения.

Казалось бы, Тютчев мог, не изменяя интонационного рисунка стихотворения, точнее размера его, ввести последнюю строфу при помощи сравнительного оборота, используя союз *как будто*, но он этого не сделал потому, что остро ощущал разницу между реалистическим строем описания весенней грозы в первых трех строфах и в последней. Эта разница и предопределила художественное решение всего стихотворения. В этом мы видим проявление изумительной поэтической воспитанности Тютчева-поэта, тонкость вкуса и такта большого художника-творца. Косвенным свидетельством этому может служить также характер изменений и дополнений, внесенных поэтом в это стихотворение после первой его публикации в 1829 г. в альманахе Раича «Галатея», ко-

торый совсем не затронул соотношения между последней строфой и предшествующими.

В то же время в форме обращения *Ты скажешь* есть тонкий психологический расчет: когда мы читаем это стихотворение, то обращение *ты скажешь* переводит нас в ранг собеседника поэта-реалиста, и мы склонны думать, что текст описания весенней грозы в образах античной мифологии не только как будто записан от нашего имени, но и как бы нами создан. Конечно же, нашему читательскому самолюбию все это не может не льстить, тем более, что нам здесь приписывается не просто роль собеседника, но и роль поэта-классика.

Ю. Тынянов, исследуя литературный процесс 20—30-х годов XIX ст., правильно определил то новое, что вносил Тютчев в послепушкинскую поэтику. Это новое ученый видит прежде всего в фрагментарности жанровых форм лирических стихотворений Тютчева (Тынянов 1968). Эти жанровые особенности вызваны к жизни ощущением условности и некоторой окостенелости установившихся литературных форм, образов, которым Тютчев сознательно противопоставлял свои приемы письма. Достаточно сравнить стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновенье. . .» с не менее известным тютчевским «Я встретил вас — и все былое . . .», чтобы увидеть всю полемичность последнего, чтобы увидеть разницу между пушкинской и тютчевской поэтикой. Уже в 30-е годы Вяземский наиболее полно и точно сформулировал те новые требования, которым должна отвечать новая поэзия. В письме к А. И. Г-ой он писал: «Пишите о том, что у вас в глазах, на уме и на сердце. Не пишите стихов на общие задачи. Это дело поэтов-ремесленников. Пускай написанное вами будет разрешением собственных сокровенных задач. Тогда стихи ваши будут иметь жизнь, образ, теплоту, свежесть . . . Свой взгляд, свое выражение придают печать оригинальности и новости предметам самым обыкновенным. Может быть, лучшие стихи у всех первейших поэтов именно те, которыми выражены чувства простые, общие по существу своему, но личные по впечатлениям, действовавшим на поэта, положению, в котором он находился на ту пору» (Тынянов 1968).

Комментируя ars poetica Вяземского, Ю. Тынянов пишет: «Этот завет в полной мере исполнен Тютчевым, конкретность его почти внелитературного жанра соединяется у него с целым ассортиментом конкретизирующих средств, и все это вместе с тем дано на „общей" теме» (Тынянов 1968).

В этом смысле шедевром и образцом новой поэтики является стихотворение Тютчева «Она сидела на полу . . .».

По существу положение Вяземского сводится к требованию большей реалистичности, которая на уровне поэтического языка должна проявляться в преодолении условных поэтических клише, подобных выражению *гений чистой красоты*, воспринимавшемуся

уже современниками Пушкина как поэтический штамп (Белецкий 1964).

Реалистическое начало в лирике Тютчева усилено максимально, и эволюция стиля Тютчева шла именно по линии этого усиления. В этом плане стихотворение «Весенняя гроза» представляет особый интерес как опыт удачного синтезирования двух поэтик, новой, реалистической, и старой, традиционной. Отвлекаясь от исторического аспекта рассмотрения литературного процесса 30-х годов XIX в., следует сказать, что соотношения между реалистическим описанием весенней грозы в первых трех строфах стихотворения Тютчева с установкой на денотативно-предметную конкретность изображаемого и последней — концептуально-интерпретирующей вытекают из имманентных требований смысловой цельнооформленности всего стихотворения как сложного знака, органически соединяющего в себе представляемую денотативно-предметную область и интерпретирующий концепт.

Поэзия Тютчева во многих отношениях полемична. Эта скрытая полемичность определяет диалогические формы некоторых его стихотворений. Некоторые исследователи по сей день пытаются установить, против кого направлено стихотворение Тютчева «Не то, что мните вы, природа . . .» (Данилевский 1980). Апеллятивно-диалогические формы косвенно указывают на ту острую литературную борьбу, которая характерна для литературной эпохи 20—30-х годов XIX в. и в которой Тютчев не мог не принимать активного участия.

Оригинальность стихотворения Тютчева «Весенняя гроза» не исчерпывается формально-содержательными особенностями организации текста, но ярко проявляется в самом характере осмысления и истолкования явления, обозначаемого в русском языке лексемой гроза.

В отличие от бессубъективного подхода к рассмотрению явлений природы, характерного для научного метода и языка описания науки, в народно-поэтической традиции явления природы трактуются не как вещи, а как знаки. Явление природы воспринимается и рассматривается как знак и тем самым включается в более сложную, точнее, другую «систему координат». Знаковый подход предполагает указание на то, ч е й это знак, для к о г о это знак, ч т о он означает. Так, в народно-поэтическом сознании явление природы *гроза* трактуется как знак, слово бога, указывающий на гнев высшего существа, вызванный проступками людей против него. Именно так воспринимается гроза носителями народной субкультуры в пьесе А. Н. Островского «Гроза». Знаковый подход к трактовке окружающего мира лежит в основе порождения таких субъектов знака, как громовержец Зевс и славянский Перун.

Для Тютчева гроза — это явление природы, и в то же время знак, но не знак грозного, карающего бога, а знак богини молодости Гебы-Ювентас. И в этом случае гроза мыслится и как явле-

ние природы, и как знак, но образно-символическое развертывание в двух описаниях (реалистическом и классическом) дано по одному концепту — молодость.

Сравнивая народно-поэтическое осмысление грозы с тютчевским, мы можем сказать, что здесь происходит смена «субъектов речи» — «через природу» говорит не грозный Зевс, а сама молодость природы в лице Гебы. Творческий разум в природе вещей и мыслящий разум в человеке в трактовке Тютчева совпадают.

На основании вышесказанного можно утверждать, что одним из главных намерений субъекта речи, поэта Тютчева, было: объективация посредством словесных средств выражения испытанного им чувства любви, нашедшее свое оформление в тексте в акте высказывания *люблю*, к определенному состоянию мира в одно из времен года, описанному в тексте-высказывании как весенняя гроза, а также осмысление этого явления через образы античной мифологии в качестве проявления сущностных сил жизни в природе. Для поэта весенняя гроза как явление раскрывается со стороны смысла как молодость и пробуждение после долгого зимнего сна сущностных сил природы, соотносимых с состоянием жизненных сил в человеке в пору его юности, соотносимых также в своей быстротечной временности с вечной молодостью Гебы-Ювентас — олицетворением самой юности, легко и беспечно играющей чашей с бурлящей и переливающейся через край жизнью.

Стихотворение Тютчева «Весенняя гроза» может быть рассмотрено и в более широком контексте, контексте всего творчества поэта. Более того, в контексте всей русской поэзии. Под этим углом зрения стихотворение Е. Баратынского «Весна» (*Весна, весна! Как воздух чист!*), И. Анненского «Майская гроза» и другие стихотворения на эту тему могут рассматриваться как отдельные реплики, монологические высказывания в рамках одного большого диалога о грозе, а также и в рамках диалога между культурами и поэтическими традициями разных народов, т. е. включаться в контекст всей мировой культуры. На таком методологическом правиле последовательного анализа в свое время настаивал Густав Шпет (Шпет 1927). Ограничимся одним «локальным сопоставлением».

В поэзии Н. Заболоцкого, как и в поэзии Тютчева, образ грозы играет огромную роль (см. стихотворения «Лесная сторожка», «Портрет», «Гроза») (Заболоцкий 1965). Сопоставляя стихотворение Тютчева «Весенняя гроза» со стихотворением Н. Заболоцкого «Гроза», можно заметить, что написаны они разными размерами, различны по композиции — стихотворение Заболоцкого сугубо монологично. Но есть в них и нечто общее. Этим общим является семантическая категория, в пределах которой осмысливается и описывается одно и то же явление действительности — гроза. У обоих поэтов гроза трактуется как явление природы. И отношение к этому явлению у них одинаково любовное, что выражено

в акте высказывания: у Тютчева *люблю*, у Заболоцкого *я люблю*. У большинства людей реальная гроза обычно вызывает чувство страха, гроза грозная и угрожает молниеносной смертью. Не все люди могут сказать о себе, что они любят грозу. В то же время Заболоцкий в грозе любит совсем не то, что Тютчев. Заболоцкий любит грозу по-другому. Гроза описывается у Тютчева и у Заболоцкого в различных семантических аспектах (Гак 1977).

У Заболоцкого гроза изображается как явление природы, но поэт видит в ней не проявление молодости, а космический акт творения, в результате которого природа, как бы преодолевая брел беспамятства, в грозе и буре, через молнию-мысль и гром слово впервые осознает самое себя в совершенно новой форме. Не белемнита — грозовой стрелы, а в форме первочеловека, светлоокой девы. Поэт изображает родовые муки природы, трудные и тяжелые ее роды, в которых одна из ее частей преображается в человека, как мысль и разум ее (см. стихотворение Заболоцкого «Вчера о смерти размышляя . . .»). В стихотворении Заболоцкого природа трактуется не столько как natura naturata и forma formata, сколько как natura naturans и forma formans [1]. Стихотворение Заболоцкого «Гроза» показывает, насколько пантеизм Тютчева не только отличается от пантеистических воззрений представителей русского космизма, но и близок им. И именно поэтому, несмотря на навязчивые ассоциации с греческой мифологией, мы должны сказать, что образный строй стихотворения Заболоцкого существенно отличается от тех произведений, в основе которых лежит ориентация на образы античной мифологии. Здесь перед нами совершенно особая пантеистическая мифология, созданная на основе новых естественнонаучных представлений о природе, не теогония, а скорее антропогония. Светлоокая дева, в грозе и буре родовых схваток природы появляющаяся поверх вод, — это не Афродита, рождающаяся из пресловутой «пены», а новое звено в синкопах и паузах эволюционного ряда, новая форма существования природы, ее дитя — первочеловек (Иванов 1976).

Если мы захотим ответить на вопрос о том, каков образ субъекта высказывания стихотворения Заболоцкого «Гроза», то здесь мы должны будем сказать, что в качестве образа субъекта высказывания перед нами предстает образ человека, стоящего в сумраке влажной беззвездной ночи среди грохота и сверкания молний и со священным ужасом и восторгом наблюдающего за тем, как из смешения первоэлементов — огня, воздуха, земли и воды — возникает новая человеческая форма жизни, размыкая изначальную немоту природы. Стоя здесь, у истоков новой мировой эпохи, нового эона, наблюдая свое далекое прарождение, человек не

[1] Соответственно, со времен И. С. Эриугены и Спинозы «порожденная природа» — «порождающая природа», «формированная форма» — «формирующая форма» (у Гете).

может не испытывать восторга и ужаса при виде космического акта творения, не может не испытывать чувства своей сопричастности всему бытию, сокровенной с ним связи — таков образ субъекта высказывания стихотворения Н. Заболоцкого «Гроза», образ человека, окутанного послеродовой испариной утихающей грозы, жадно следящего за своим собственным прарождением в предрассветном тумане «неизвестно которого дня».

Подведем некоторый итог. У Тютчева гроза рассматривается как атрибут бога Зевса, персонифицируется, у Заболоцкого гроза — это одно из свойств природы, один из ее стихийно-бытийственных элементов. Заболоцкий пытается заглянуть в более отдаленное прошлое естественной истории человеческого рода, — тенденция близкая лингво-мифологической школе Марра, Эйзенштейну, Мандельштаму, особенно в таких его стихотворениях, как «На каменных отрогах Пиери . . .», «Ламарк». Для Заболоцкого чрезвычайно важно выразить новое мировосприятие и мироощущение, созданное на новой естественнонаучной основе.

В то же время в контексте стихотворения Тютчева «Весенняя гроза» лексема *гроза* имеет по крайней мере два значения:

1) выступает как иконический знак в реалистическом описании — первые три строфы;

2) преобразуется в более сложный знак-символ, соотносясь с образом Гебы-Ювентас — четвертая строфа.

В первой строфе слово *гроза* только называет и обозначает определенное явление природы, выступает в своей номинативной функции и с общеязыковой семантикой, соотносясь с денотатом и не указывая на концепт. Что обозначает слово *гроза* мы знаем, но что оно означает? Об этом мы узнаем только из четвертой строфы, в которой образ весенней грозы метонимически соотносится, с одной стороны, с образом Гебы, с другой — с образом опрокинутого кипнем кипящего кубка. В результате этих интерпретирующих операций и трансформаций возникает микромиф о происхождении грозы и символическая картина, представляющая полноту и избыток жизни.

В стихотворении Заболоцкого гроза трактуется как индексальный знак, знак-симптом, указывающий на нечто другое: на определенный процесс — роды и на субъект этого процесса — природу.

Все это указывает на то, что значение слова зависит от знаковой функции, в которой оно выступает в каждом конкретном случае, в каждом конкретном контексте. Другими словами, один и тот же план реальности в разных концептуальных системах получает различное образное и идейно-тематическое решение.

ЛИТЕРАТУРА

А. И. Белецкий. Из наблюдений над стихотворными текстами А. С. Пушкина. I. Стихотворение «Я помню чудное мгновенье». — Избранные труды по теории литературы. М., «Просвещение», 1964.

Д. Д. Благой. Жизнь и творчество Тютчева. Кн.: Ф. И. Тютчев. Полное собрание сочинений. М.—Л., Academia, 1933, Т. I, с. 53.
В. Г. Гак. Сопоставительная лексикология. М., «Международные отношения», 1977, с. 12—20.
С. И. Гиндин. Связный текст: формальные определения и элементы типологии. М., «Наука», 1971.
В. П. Григорьев. Поэтика слова (на материале русской советской поэзии). М., «Наука», 1979.
Р. Б. Данилевский. Новые работы славистов ФРГ. Русская литература, № 1, 1980, с. 216.
В. В. Иванов. Очерки по истории семиотики в СССР. М., «Наука», 1976, с. 58.
Н. А. Заболоцкий. Стихотворения и поэмы. М.—Л., «Советский писатель», 1965, с. 87—88.
Б. М. Козырев. Мифологемы Тютчева и ионийская натурфилософия (из писем о Тютчеве). — В кн.: Историко филологические исследования: сборник статей памяти академика Н. И. Конрада. М., «Наука», 1974, с. 121.
А. Ф. Лосев. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930, Т. 1, с. 9—96.
Ю. В. Рождественский. Введение в общую филологию. М., «Высшая школа», 1979, с. 26.
Ю. Н. Тынянов. Пушкин и Тютчев. — В кн.: Пушкин и его современники. М., «Наука», 1968, с. 184.
Г. Шпет. Внутренняя форма слова (этюды и вариации на темы Гумбольдта). М., 1927, с. 193—217.

Murray G. The classical Tradition in Poetry. Oxford. 1927.
Przybylski R. Et in arcadia ego. — W. Czytelnik, 1976, s. 13—49.

М. Ф. МУРЬЯНОВ

ЗОЛОТО В ЛАЗУРИ

Физическая картина солнца на небе, то чистом, то облачном, по разнообразию наблюдаемых вариантов неисчерпаема. С тех пор как она ежедневно возобновляется, абсолютно точного повторения не было ни разу, нюансы очертаний и колорита восходов, кульминаций, закатов составляют то, что на языке математики называется континуумом, причем такой континуум мог бы украсить не самые простые разделы теории множеств.

Художественное мышление обладает способностью вообразить солнце на небе не только визуально, средствами живописи, но и акустически — средствами музыки. И хотя число написанных полотен и симфонических картин конечно, иллюзия бесконечности возникает благодаря тому, что произведение искусства содержит не только образ солнца, какое оно есть на небе миллионы лет, но и признаки художественной эпохи и школы, к которой относится изображение.

Солнце на небе — вечная тема в искусстве слова. Еще не возникла греческая письменность, а египетский гимн солнцу, най-

денный в Эль-Амарне и относящийся к XIV в. до н. э., времени Нефертити, связал с солнцем фундаментальную категорию эстетики — понятие о прекрасном: «Поднимаясь на восточном горизонте, ты наполняешь каждую страну твоей красотой» (Rech 1966). На бесконечное будущее ориентирован финальный образ в гимне, рожденном Парижской Коммуной:

Для нас все так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей.

Солнечная тема дает возможность мастеру слова изображать не только ландшафты, но и внутренний мир человека, что придает ей особенную значительность. Даже если на созерцаемом небе нет ничего, поэту есть что сказать по этому поводу. Под таким небом — пароксизм отчаяния у Малларме, концовка стихотворения «Лазурь»:

Où fuir dans la révolte inutile et perverse?
Je suis hanté. L'Azur! l'Azur! l'Azur! l'Azur!

'Куда бежать в мятеже больном и бесполезном?
Я в наваждении. Лазурь! Лазурь! Лазурь! Лазурь!'

Работа умов позитивистского склада, приведшая к тому, что для Малларме «небо умерло», началась задолго до этого и была явлением не только французским, как свидетельствуют петербургские наблюдения Шевченко (1841):

Все письменні, друковані,
Сонце навіть гудять:
«Не відтіля, — каже, — сходить,
Та не так і світить;
Отак, — каже, — було б треба. . .»

Диапазон возможных художественных преобразований простирается в отрицательное столь далеко, что солнце, его цвет могут стать выражением самого зла. Пример — «Второй псалом» Брехта, антифашистская карикатура на Германию середины 1930-х годов, в русском переводе не публиковавшийся (Волкова 1969):

Unter einer freischfarbenen Sonne, die vier Atemzüge nach Mitternacht den östlichen Himmel hellmacht, unter einem Haufen Wind, der sie in Stössen wie mit Leilich bedeckt, entfalten die Wiesen von Füssen bis Passau ihre Propaganda für Lebenslust 'Под мясного цвета солнцем, которое с полуночи за четыре затяжки дыхания делает светлым восточное небо, под кучей ветра, что покрывает их ударами словно простыней, развертывают луга от Фюссена до Пассау свою пропаганду за жизнерадостность'.

Как раз между Фюссеном и Пассау, в эпицентре *кучи ветра*, находится Мюнхен, здесь начали сеять ветер те, кто десятилетие спустя пожинали бурю. Чтобы любую карикатуру вполне оценить эстетически, нужно знать и оригинал. Непревзойденными ценителями «Второго псалма» являются сами немцы того поколения, которое помнит «розовое искусство» Рейха, духовную атмосферу фашизма, помнит специфиче-

ский душок слова Propaganda — оно известно в политическом лексиконе Европы со второй половины XIX в., но в 1933 г. получило в немецком языке привилегированное положение, оказавшись на вывеске ведомства Геббельса: Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda 'Имперское министерство народного просвещения и пропаганды' ('просвещения' в политическом значении этого слова). И еще по одной причине перевод не воспроизводит без остатка семантическую информацию немецкого текста 'Второго псалма'. 'Простыня', вместо обычного Bettuch, передано Брехтом через редкое, преимущественно баварское слово, да еще в той диалектной разновидности, которая в литературном языке находится только у Гейне — Leilich, в рифме с abscheulich 'отвратительный, мерзкий'. Второе значение Leilich — 'саван' (Grimm, 1885). Но и обычную форму этого слова есть с чем сравнить: в родных для Гейне рейнских диалектах Leilack употребляется в переносном значении: *«verächtl.* dummer, unbeholfener Mensch», *'презрит.* беспомощный дурень' (Müller 1941).

В физике атмосферы при классификации фотографий солнечного неба материал располагается отнюдь не по годам съемки и именам фотографов. А филологический атлас вариантов солнечного неба, вследствие того, что солнце поэта — это солнце его внутреннего мира, был бы построен так же, как и вся история литературы. Андрей Белый мыслил его как «материал слов, образов, красок, рассортированный точно и собранный тщательно» и полагал, что изучение вариантов, созданных поэтами, «нас способно вести в глубочайшие ходы их душ и в тончайшие нервы их творчества». Сопоставив тексты, Белый нашел следующее: «Солнце Пушкина — зарей выводимое солнце: высокое, яркое, ясное... Солнце Тютчева действенно, „пламенно" — страстно и раскаленно-багрово (все слова Тютчева); оно „пламенный" „блистающий" шар в „молниевидных" лучах; очень страшное солнце: не чистейший „хрусталь", а скорей молниеносное чудище, сеющее искры, розы и воздвигающее дуги радуг (слова Тютчева)», с неожиданным выводом: «но эта пламенность — лжива». А у Баратынского «солнце (хотя и живое), как-то „нехотя блещет", рассыпает „неверное" золото; его зрительный образ опять-таки призрачен и переходит из подлинно солнца при случае в „солнце юности". (Белый 1922). Многообещающее начало сбора и осмысления фактов! Продолжения не последовало, осталось незарегистрированным художественное открытие Лермонтова — способность к синонимичности между словами *солнце* и *день*:

Где по кремням Подкумок мчится,
Где за Машуком день встает,
А за крутым Бешту садится

(«Измаил-Бей»)

Еще яснее:

По небу знойный день катится

(«Хаджи Абрек»)

В такой же функции выступает и *полдень*:

Уж полдень, прямо над аулом,
На светло-синей высоте,
Сиял в обычной красоте.

(«Кавказский пленник»)

Еще выразительнее — в другой строфе этой же поэмы:

Когда же полдень над главою
Горел в лучах. . .[1]

Чем должен открываться русский том филологического атласа солнца? «Сотворением мира», по Пушкину:

«В начале не было ни жизни, ни света — земля была разведена водою — воздух недвижим, небо густо и черно.

Вдруг на небе блеснула яркая точка, она разгоралась боле и боле и стало солнце.

Мир осветился — небо стало прозрачно-голубое, земля удалилась от воды — солнце двинулось и ветры повеяли» (Мурьянов 1971).

Следующей точкой было бы сотворение человека, по Цветаевой:

О первое солнце над первым лбом!
И эти — на солнце прямо —
Дымящие — черным двойным жерлом
Большие глаза Адама.

И так далее. Но наука о словесности обычно предпочитает иную ось времени, время историческое. Здесь чем ближе к началу отсчета, тем больше неясностей, тем меньше интереса современников к хронологии и атрибуции поэтических произведений. Для всего домонгольского периода налицо единственный памятник светской литературы, имеющий основание числиться по разряду поэзии — «Слово о полку Игореве». О его солнечной символике сказано все, что можно было сказать, а сверх — то, чего говорить не следовало. В противоположность этому хранится полное молчание о солнечных образах в другом памятнике поэзии Киевской Руси, возникшем не менее чем за столетие до «Слова о полку Игореве» и, в отличие от него, имеющем рукописную традицию, причем превосходную — начинается она с новгородской рукописи конца XI или начала XII в. Это — июльская служебная Минея

[1] В последний момент В. П. Григорьев указал мне на давнее наблюдение В. И. Абаева: «*Солнце* и *день* — два понятия, симпатически связанные; с этим согласится каждый. Однако эта связь для нас уже не настолько близка, чтобы мы могли рискнуть на взаимозамену. . . То, что не позволено нам, позволено поэту, и мы читаем у Пушкина:

Роняет лес багряный свой убор,
Сребрит мороз увянувшее поле,
Проглянет день как будто поневоле
И скроется за край окружных гор.»

(Абаев 1948; Григорьев 1979).

ЦГАДА (фонд 381, № 121), а в ней — служба первым русским святым Борису и Глебу, на 24-й день месяца. Здесь феотокион (богородичен тропарь) восьмой песни канона имеет следующий вид:

Свѣта съсоудъ чистам бывъши
просвѣти ма невечѣрнимь свѣта
ходити ми посѣщи чистам
и чрѣва твоего въсиявъша
и просвѣтивъша вѣрнихъ срдца.

Что именно здесь мыслилось киевскому гимнографу в качестве источника света, можно понять, вчитываясь в феотокионы переводных новгородских Миней 1095—1097 гг., где мотив девственного рождения солнца — не редкость, а в одном случае чрево отроковицы Марии так и названо — *слнцьное* юсно (Ягич 1886, с. 081). Было бы поверхностным усматривать здесь всего лишь один из множества возможных тропов. Углубляясь в материал, исследователь все больше будет убеждаться в фундаментальном значении этой идеи, которая основана на определенным образом понимаемых пророчествах Ветхого завета. Следуя этому, Христа сравнивали с солнцем патристика, поэзия, изобразительное искусство. В частности, широкое применение находили изобретательные парафразы на тему изречения Диогена Киника, которым он возразил на укор по поводу посещения нехороших мест: «А ведь солнце проникает даже в нужники, и не марается» (Olivar 1975). Обратим внимание, как влияет солнце на саму атмосферу христологической тематики. Дух Евангелия — в основном скорбный, в новозаветном повествовании нет ни одного случая, чтобы Христос улыбнулся. А вот тропарь канона мученикам Трофиму и Феофилу из той же Минеи ЦГАДА № 121:

Въспою ти ги бе мои'
ико въсиялъ ѥси намъ
днь веселъ.

(л. 23 об)

Ἀισομαί σοι, κύριε ὁ θεός μου,
ὅτι ἀνέτειλας ἡμῖν
ἡμέραν εὐφρόσυνον.

(Accoceia Longo 1978)

Древнерусская Путятина Минея XI в. (ГПБ Соф. 202) содержит гимн, средствами поэтического языка выразивший то, что у византийских живописцев считалось не поддающимся изображению — воскресение Христово, подменяемое на иконостасах сошествием Христа во ад. Единственной известной сегодня в искусстве восточной церкви попыткой изобразить собственно акт воскресения Христова является донконоборческая миниатюра в сирийском Евангелиарии Раввулы (586 г.): из раскрытой гробницы выходят лучи подразумеваемого солнца, антропоморфного Христа нет (Cecchelli 1959). В латинской Утрехтской Псалтыри (ок. 830 г.) решение антропоморфное: на миниатюре, иллюстрирующей Пс 18, 5-7, Христос шествует по ступеням гробницы, поддерживаемый

двумя ангелами, над ними — восходящее солнце (Wald, 1932). В гимне Путятиной Минеи (л. 6) видим следующее:

Прѣкрасьныи тѣи сн҃ъ	Ὡραιότατος ὁ σὸς υἱὸς
из гроба въсия ꙗко слнце	ἐκ τάφου ἀνατείλας
облакъ свѣтълъ пещитнмъ та покрыва	ἥλιος, ἐφαίδρυνε πάντας
дво бие	τοὺς νεφέλην φωτὸς σε
миро҇ѵ кладѧще	ἀνυμνοῦντας, παρθένε,
	καὶ μόνην θεοτόκον.

(Nikas 1973)

Понадобилась бы гениальная мера мастерства в живописной композиции, в технике колорита, чтобы это проиллюстрировать кистью — чудо солнца, вспыхнувшего не на горизонте, а как-то из земли, в центре ее изображения, превращение черной ночи в прозрачную лазурь со светлым облачком. Это — второй план содержания гимна, поставленный после ꙗко. А перед ним — план первый, с антропоморфным Христом и державной Марией. Живопись лишена возможности таких присоединений планов, она не имеет своего эквивалента для синтаксического ꙗко. Да и одного первого плана достаточно, чтобы создать для нее непреодолимые трудности.

Дело в эпитете Христа, прѣкрасьныи — такого не отмечено ни у Срезневского, ни в Пражском словаре старославянского языка, ни в безотносительном к языкам семантическом каталоге эпитетов Христа (Stuiber 1957). Каким образом мог живописец реализовать эту дефиницию? И подлежала ли она реализации, т. е. подразумевалась здесь физическая красота или что-то другое? Когда были все основания толковать библейский текст как прямое указание на выдающуюся физическую красоту человека, что имело место в случае с Иосифом Прекрасным (Быт 39, 6), упоминаемом именно с таким эпитетом в древнерусском Слове Даниила Заточника, то ничего необычного в этом смысле живописные изображения не содержат, даже если они принадлежат кисти лучших мастеров: что Иосиф замечательно красив, невозможно определить по этим изображениям, не зная библейского текста. В этом — сила слова, признанное теоретиками искусства превосходство языка над живописью (Дмитриева 1962).

Зарождающееся христианство не оставило ни портретного изображения своего основоположника, ни словесных описаний его внешности. Интерес к этой теме возник лишь несколько столетий спустя и основываться он мог только на умозрительном теоретизировании, что мы и наблюдаем в ранних патристических текстах, где опорой служит пророчество Ис 53, 2: нѣсть҇ вида ем҃ѹ, ниже҇ славы, то есть *был он невзрачным*. Климент Александрийский (ум. до 216 г.) пояснил: «С тем, чтобы никто в похвалах его привлекательному облику и в восхищениях его красотой не упустил из виду, что думать надо не об этом, а о его словах» (Kollwitz 1957).

В другом месте Климент добавил: «Он являл собою не красоту плоти, которая ведь основана на пустом воображении, а истинную красоту как души, так и тела, которая заключается для души в добрых делах, для тела — в бессмертии плоти» (Kollwitz, 1957). В старославянской Чудовской Псалтыри XI в. стих красив доброт(ою) паче сноу чист(ою) (Пс 44, 3) истолкован Феодоритом Кирроским (V в.) так: сѣтло же ѥсть. тако не о бжьствѣ но о чистѣ Христовѣ пророческое слово прѣдърече, но вместе с тем ѱаломъ же доброт(ою) его нарицѣта не тѣлесаньѣ. но дѣтельнѣ (Погорелов 1910, с. 31—32).

Древние богословы могли изощряться в теоретических выкладках о невзрачной внешности Христа, но для народной литературы средневековья ответ на вопрос был предрешен: Христос — молодой и красивый и никакой другой. Живопись нового времени, наделившая Христа властью внешнего обаяния, является конечным результатом этой концепции, которая для теологии и строго следовавшей за ней литургической поэзии была неприемлема. Царственно прекрасным Христос виделся византийским поэтам только в неземных состояниях — после воскресения, о чем и говорит обсуждаемый нами солнечный гимн Путятиной Минеи, а в земной жизни лишь однажды, на горе Фавор, где перед избранными из апостолов была на краткое время приоткрыта тайна инобытия: одеяние Христа вдруг стало белоснежным, а его лицо сверкнуло тако слнце (Мф 17, 2). Это событие, Преображение, является одним из главных праздников литургического календаря. В трех написанных по этому поводу стихирах четвертого гласа (ирмос: ’’ Εδωκας σημείωσιν, начала: Σήμερον ὑπέδειξας, Σήμερον ἐξέλαμψας и Σήμερον ἀγάλλονται) звучит финальное Ἰησοῦ παντοδύναμε (Μηναῖα 1901), чему в древнейшей славянской рукописи — Минее XII в. (ГИМ, Син. 168, л. 27) соответствует в первых двух стихирах **Исоусе вьсемогли**, а в третьей **Исоусе прѣкрасьныи**. Последнее — не ошибка, а отражение того, каким был первоначальный греческий текст: в рукописной Минее XI в. парижской Национальной библиотеки (Ms. Coislin 218, f. 39) во всех трех стихирах читается Ἰησοῦ ὡραιότατε.

До вхождения из вневременного бытия во время, в земную жизнь, Христос находился в чреве матери. Во внутриутробном состоянии он тоже уподобляем солнцу, чрево Марии для минейного поэта есть слнцьноє посмо (Ягич 1886, с. 081) или сѣта вселенѣ (апрельская Минея XI/XII в. ЦГАДА, фонд 381, № 110, л. 71 об), а саму Марию он видит как небо новое, бжиє прѣкрасьное порожение (Ягич 1886, с. 066; в оригинале — Θεοῦ τὸν τερπνότατον ἀποτεχθέντα). Первый момент земной жизни Богочеловека есть вместе с тем последний момент его пребывания в утробе матери, и, быть может, как раз в силу этого Рождество Христово вмес-

краєлю — так его называет феотокион в Триоди XI/XII в. ЦГАДА (фонд 381, № 138, л. 62 об):

Паче оума твоего ржества таинѹ
къто исповѣсть чста
всестраш'но
всекрасьно
и стран'но.

Сегодня феноменология религии усматривает во внутриутробном существовании психологический архетип райской жизни (Guhl 1972), а уже древние греки находили, что для человека лучшая участь — совсем не родиться. Что же касается поэтических произведений на тему Рождества Христова, имевших распространение в старославянской письменности, то их содержание настолько разнообразно и в ряде случаев форма столь совершенна, что, право, не следовало бы говорить с изысканным сарказмом о «проблеме так называемого художественного мышления Древней Руси» (Лурье 1976). Покажем на одном только примере, что мы имеем в виду и с каким поэтическим материалом имели дело многие тысячи древнерусских писцов, чтецов, певчих и их слушателей. Пример наш находится в печатной служебной Минее (1913) на 1 июня — это феотокион третьей песни канона Юстину Философу, второго гласа:

Облаки дш̃и моєѧ разори,
сл҃нца славы лєгкїй облаче,
и оумъ мой свѣтомъ наставн,
почерпшємъ злобы помрачєнный.

О степени его соответствия первоначальному виду можно судить по нотированной Минее XII в. (ГИМ, Син. 167, л. 3):

Облаки доуша моѧ разори
сълнцю славы лєгъкыи облакъ
и разоумьно просвѣти
помрачєнїе зълобы цтмъ̃нено.

Этот феотокион отсутствует в греческих печатных Минеях и стал известен византологам лишь в наши дни, по криптоферратской рукописи XII в.:

Τὰ νέφη τῆς ψυχῆς μου
διασκέδασον,
ἡλίου τῆς δόξης κούφη νεφέλη,
καὶ τὸν νοῦν μου φωταγώγησον
ἀμαυρώσει κακίας σκοτιζόμενον.

(Nikas 1973)

Справщики московского Печатного двора сверялись не с недоступным криптоферратским текстом, где этот феотокион находится в составе другой службы, св. Никифору, на 4 мая, а с московской греческой рукописью XII в. (ГИМ, Син. гр. 449, л. 2), где его место в точности соответствует русской структуре Миней.

Чем примечателен наш феотокион? Прежде всего тем, что в нем — три неба, и они не поддаются грамматической операции обобщения в форму множественного числа, в *небеса*.

1. *Легкое облачко на чистой лазури, рождающее солнце* — это троп, которым обозначена Дева Мария, рождающая младенца Христа. Целомудренный троп выдающейся красоты, не имеющий с чем сравниться за всю историю сюжета рождения в искусстве (Lehmann 1978). Поразительна абстрактность образа — в нем нет ничего такого, что могло бы говорить о выискивании созерцающим взглядом ускользающих контуров реалистического подобия с чем-либо от мира сего, вроде плывущих в небе очаровательных сильфид Тишбейна, вызвавших шутку Гете:

Glücklicher Künstler! in himmlischer Luft
Bewegen sich ihm schöne Weiber.
Versteht er sich doch auf Rosenduft
Und appetitliche Leiber.

(Schöne 1969)

У византийского поэта — идея в чистом виде. Чтобы убедить скептиков, ее можно сопоставить с тропом из антимира любви, с началом публицистического стихотворения Маяковского «Маруся отравилась»:

Из тучки месяц вылез,
Молоденький такой. . .

В дальнейшем тексте — больше ни слова о небе, только о девичьей трагедии, но кто скажет, что первые два стиха лишние, не имеют отношения к сюжету!

2. *Застилающие все небо облака, которые предстоит разогнать* — это троп, обозначивший состояние души молящегося. По теологическому смыслу общественного богослужения, звучащая в храме молитва произносится от лица не только того, кто ее произносит, но от каждого присутствующего, даже если она грамматически выражена в единственном числе и большинство присутствующих вообще не в состоянии расслышать и вполне понять ее слов. Следовательно, *небо* этого тропа может рассматриваться как существующее во множестве экземпляров, не абсолютно одинаковых, поскольку не все равны в греховности и соответственно в мощи облачного покрова души, но все же однотипных, поскольку принципиальная возможность безгрешности отрицалась.

3. Ни первый, ни второй троп не могли быть построены, если бы не подразумевалось как известное, как tertium comparationis, реальное, физическое небо — это его краски и пространство мы видим, читая наш феотокион. Можно представить себе экстремальный случай, когда над феотокионом размышляет слепорожденный homo religiosus. Это было не такой уж редкостью в среде хорошо знавших церковную службу калик перехожих, исполнителей русских духовных стихов — фольклорного жанра, по ху-

дожественным достоинствам и интеллектуальности ничем не уступающего другим жанрам. Чтобы интерпретировать поэтическое произведение с оптическими образами для такой аудитории, понадобилась бы необычная, весьма тонкая методика. Она нужна не только для теории, но уже из гуманных соображений. Летом 1980 г. мне довелось слушать двух слепорожденных певцов (с. Мишин на Коломыйщине); не зная, что значит видеть, они сожалеют сильнее всего о том, что не видели матери и так и не увидят *сонечко*. Такая методика возможна, верой в это убеждает Дидро своим «Письмом о слепых в назидание зрячим».

Наибольшие трудности для интерпретации с обычных позиций представляет (2), из-за того, что в качестве вместилища облаков названа душа, «по религиозным представлениям — бесплотное существо, являющееся носителем жизни и духовного мира человека и способное существовать отдельно от тела» (Бархударов 1977). Или, как выразился старый академический Словарь (он был «обработан наличным составом академиков ОРЯС при благосклонном участии некоторых гг. членов двух остальных Отделений Академии»), душа есть «бессмертный дух, влиянный в человека» (Словарь 1895). Таким образом, человек, по религиозным представлениям, состоит из двух компонентов. Это — тело и душа, она же дух. Однако должностные лица старой России, непосредственно отвечавшие за чистоту религиозных представлений, сами не были уверены в правильности этой дихотомической концепции, в их среде были и приверженцы трихотомии, согласно которой в человеке есть и тело, и душа, и дух! Когда несогласный с трихотомией ректор Московской духовной академии профессор архимандрит Алексий Ржаницын обратился за поддержкой к своему покровителю митрополиту Филарету Дроздову, который, как заметил историк С. М. Соловьев, «мог превзойти самого ловкого иезуита» (Соловьев 1915), то получил следующий ответ:

«Не могу, отец ректор, подать Вам помощи в Вашем сражении с мыслью о тричастном составе человека. Довольно необходимости сражаться с врагами, с учениями, противными догматам, какая нужда воевать против мнений, не враждебных никакому истинному догмату? В месячной Минее июня 25, в каноне, найдете следующие слова: цмый тѣло, цчисти дх҃ъ, и дшѹ мою цсти. Не угодно ли Вам сразиться и с сею церковною книгою? Ибо слово *дух* поставлено здесь так, что нельзя понять его в смысле благодатного дарования, чтобы уклониться от понятия о составе существа.

Я думаю, что решение сего спора лежит в глубине, до которой не проникают спорящие» (Филарет 1883).

Трихотомия восходит к еретику Оригену (Dupuis 1967), к ней склонялся Лермонтов: в «Демоне» *труп бесчасный* жениха находится на земле, отлетевшая *душа* (не «она», а «он»!) антропоморфна:

Небесный свет теперь ласкает
Бесплотный взор *его* очей [2]

а у трагически гибнущего Мцыри назван именно тот компонент трихотомии, который ее приверженцами считается источником добрых дел, возвышающих личность над повседневностью — пламенный *дух*:

И он прожег свою тюрьму
И возвратится вновь к Тому,
Кто всем законной чередой
Дает страданье и покой.

Уже в первых славянских переводах душа соответствует то греческому ψυχή, то, как в Киевских глаголических листках, латинскому mens, хотя семантика этих исходных слов существенно различна. К тому же, знаменитому тезису Тертуллиана *«душа — по природе христианка»* противостоит тот факт, что Кирилл и Мефодий не сконструировали для выражения понятия души специфически христианский неологизм, как они поступали в ряде других случаев, а применили праславянское языческое слово (Трубачев 1976).

Самое большее, что мы сейчас в состоянии предположить — это такое понимание нашего феотокиона современниками старославянского перевода, которое видит в понятии *душа* внутренний мир,

[2] Жених безымянен, но назван *властителем Синодала*; у оперного либреттиста П. А. Висковатова таинственный топоним превращен в личное имя: «замечательным Синодалом был Л. В. Собинов» (Уварова, 1974). «Мысль назвать жениха Тамары *властителем Синодала* возникла у Лермонтова в связи с пребыванием в Цинандали» (Андроников 1977), это мнение восходит к А. Шан-Гирею, определившему различие между словами как языковую погрешность поэта. Однако Лермонтов давал поэму для чтений в Зимнем дворце, что не оставляет места для небрежности, тем более — для немотивированного сходства со святейшим правительствующим синодом (синодалами называли чиновников этого учреждения). Недоумения в Зимнем дворце потребовали бы ответа, он мог быть только один: в астрономии синодом называлось схождение светил в одну точку небесной сферы, причем «в разсуждении только соединения с солнцем» (Яновский, 1806). Синод — это mysterium conjunctionis, главный и всегда роковой момент в астрологических выкладках. Соблазнитель Тамары назвался *прежним собратом светил*, над молящейся Тамарой *сиял он тихо, как звезда*. Это — Люцифер, как именовала его церковная латынь, вслед за Цицероном: Infima est quinque errantium terraque proxima stella Veneris, quae Φωσφόρος Graece, Latine dicitur Lucifer, quum antegreditur solem 'из пяти блуждающих (звезд) нижней и ближайшей к земле является звезда Венеры, именуемая по-гречески Фосфор, по-латыни Люцифер, когда она движется впереди солнца' (De natura deorum II, 20). Символом солнца является золото. Оно — под властителем Синодала:

Под ним весь в мыле конь лихой
Бесценной масти, золотой.

Высказано мнение, что «карабах на самом деле выглядел золотым, так как был лимонно-желтой масти с красноватыми защитными волосами» (Пагануцци 1967), но как тогда объясняется «мой златокопыт» в прозе А. С. Грибоедова?

а, стало быть, условное пространство. Из философов первым приблизился к открытию внутреннего мира человека Анаксагор — за эту догадку Аристотель сравнил его с трезвым среди пьяных — и пользовался он термином νοῦς, который в нашем феотокионе присутствует, хотя в ином значении. Для Анаксагора νοῦς — это прежде всего основание разумного порядка в мироздании, для Филона Александрийского — лучшее в личности, через посредство этого лучшего космос присутствует в человеке; для церковных авторов — νοῦς — высшая часть души. Для этих авторов высшим авторитетом в вопросах языка и стиля было Евангелие, где νοῦς встречается лишь однажды, но уж в таком контексте, который по счастливому совпадению говорит как раз о конечной цели филологии, интерпретации текста: при последнем прощании с учениками Учитель дал им озарение — διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς 'отверз им ум к уразумению Писаний' (Лк 24, 45).

Ставя себе задачу интерпретировать наш феотокион, мы из всего разнообразия возможных путей должны выбрать наиболее соответствующий профилю данного научного сборника. Ясно, что источниковедческий, синтаксический или лексикологический этюды, как бы содержательными они ни были, здесь окажутся не на своем месте. Мы сознательно берем аспект структурный и ищем в смысле текста те оппозиции, на которых будет строиться наше рассуждение. Выбираем оппозицию наименее очевидную при первом чтении и формулируем вопрос так: в каком соотношении находятся *небо* тропа (1) и *небо* тропа (2)?. Под небом мы понимаем то, что вычеркивается с помощью циркуля и линейки — воображаемую вспомогательную сферу произвольного радиуса, которая служит для решения астрометрических задач.

Ответ на вопрос бесполезно искать в курсах точных наук. Его подсказывает философия; конкретнее — теория отражения, на стадии ее предыстории, в нашей науке совершенно неисследованной.

Первое отражение самого себя — причем отменно хорошего качества — доисторический человек познал, склонившись над зеркалом воды. Одно из следствий этого отражения: нем. Seele 'душа' этимологами объясняется как реликт архаического верования в то, что души умерших обитают в некоторых озерах, ср. нем. See 'озеро'. Зеркало воды внушило саму потребность приступить к изготовлению изображений (Gadamer 1972), а так как оно обладает способностью менять местами правое и левое, понятия первостепенной важности в сфере сакрального, то магическая сила изображений сомнения не вызывала. Когда появились зеркала рукотворные, в них совместились назначения утилитарное и магическое, второе ушло лишь в самое последнее время. Пушкину художественная фантазия еще подсказывала мотив «свет мой зеркальце, скажи», немыслимый в поэтике наших дней; в обыденном сознании осталось разве лишь исчезающее суеверие по

поводу разбитого зеркала, еще встречаются люди, которые не хотели бы иметь эту «дурную примету», например, накануне помолвки или свадьбы, хотя объяснить свою эмоцию они уже не в состоянии (в фольклоре это было однозначное предсказание измены).

Символизм зеркальности в его историческом развитии изучен достаточно обстоятельно (Casel 1961). Последним важным событием в эволюции этого символа является создание Анной Ахматовой завораживающего неологизма *зазеркалье*; в словари он все еще не принят, но уже претерпел стилистическую инфляцию: «Западной Европе пора выходить из политического «Зазеркалья», пока еще не поздно» (Дерибас 1981). Однако для наших целей нужен факт не конечный, а начальный. Им является метафора Афанасия Александрийского (IV в.), который, основываясь на образности языка апостольских Посланий (2 Кор 3, 18; ср. далее 1 Кор 13, 12 и Иак, 1, 23), создал троп о душе как зеркале, потускневшем от загрязнения. «Когда душа избавляется от всякой нечистоты (ῥύπος) греха, распространившейся по ней, . . она созерцает в самой себе как в зеркале (ὡς ἐν κατόπτρῳ) Логос» (Reypens 1937; Aubineau 1966). В феотокионе зеркало не названо, но ввиду полного сходства в образности и совпадения самой темы мысль анонимного гимнографа предстает перед нами как поэтическое переложение мысли Афанасия Александрийского. Структура соотношения *неба* в тропе (1) и *неба* в тропе (2) тем самым определилась как одно небо, смотрящееся в зеркало, пока тусклое, но ожидающее просветления. То же — у Белого, в цикле «Золото в лазури»:

В сердце бедном много зла
Сожжено и перемолото.
Наши души — зеркала,
Отражающие золото.

ЛИТЕРАТУРА

Абаев В. И. Понятие идеосемантики. — Язык и мышление, XI. М.—Л., 1948, с. 28.
Андроников И. Лермонтов. Исследования и находки. М., 1977, с. 324.
Бархударов С. Г. (ред.). Словарь русского языка XI—XVII вв., вып. 4. М., 1977, с. 384.
Белый А. Поэзия слова. Пг., 1922.
Волгина А. А. Бертольт Брехт. М., 1969.
Григорьев В. П. Поэтика слова. М., 1979, с. 183—184.
Дерибас В. М. К истории слова *зазеркалье*. — РЯШ, 1981, № 2.
Дмитриева Н. А. Изображение и слово. М., 1962.
Лурье Я. С. К проблеме так называемого художественного мышления Древней Руси. — Культурное наследие Древней Руси. М., 1976.
Мурьянов М. Ф. Пушкинское «Сотворение мира». — Die Welt der Slaven, Jg. XVI, Heft 3. Wiesbaden, 1971, с. 242.
Паганучци П. Н. Лермонтов. Монреаль, 1967, с. 186—188.
Погорелов В. Чудовская Псалтырь XI в. СПб., 1910, с. 31—32.
Словарь русского языка, составленный Вторым Отделением имп. Академии наук, вып. 3. СПб., 1895, с. 1211.
Соловьев С. М. Записки. Пг., 1915, с. 15—17.

Трубачев О. Н. Этимологический словарь славянских языков, вып. 5. М., 1976, с. 164.
Уварова И. Предисловие в кн.: «Демон» А. Г. Рубинштейна. Оперное либретто. М., 1974, с. 4.
Филарет. Письма к Алексию. М., 1883, с. 27.
Ягич И. В. Служебные Минеи. СПб., 1886.
Яновский И. Новый словотолкователь, ч. 3. СПб., 1806, с. 668—669.

Acconcia Longo A. Analecta Hymnica Graeca, XI. Canones iulii. Roma, 1978, с. 390.
Aubineau M. Grégoire de Nysse. Traité de la virginité. Paris, 1966, p. 406.
Casel O. Vom Spiegel als Symbol. Limburg, 1961.
Cecchelli C., Furlani G., Salmi M. The Rabbula Gospels. Olton, 1959.
Dupuis J. L'esprit de l'homme. Etude sur l'anthropologie religieuse d'Origène. Bruges—Paris, 1967.
Gadamer H.-G. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Tübingen, 1972, S. 132.
Grimm J. und *Grimm W.* Deutsches Wörterbuch. 6. Bd. Leipzig, 1885, Sp. 695.
Guhl M.-C. Les paradis ou la configuration mythique et archétypale du refuge. — Cahiers du Centre de Recherche sur l'Imaginaire. Circé. № 3. Chambery, 1972.
Kollwitz J. Christusbild. — Reallexikon für Antike und Christentum, hg. von Th. Klauser. 3. Bd. Stuttgart, 1957, Sp. 1.
Lehmann V. Die Geburt in der Kunst. Braunschweig, 1978.
Μηναῖα τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ, 6. Ἐν Ῥώμῃ, 1901, с. 354.
Müller J. Rheinisches Wörterbuch, 5. Bd. Berlin, 1941, S. 363.
Nikas C. Analecta Hymnica Graeca, IX. Canones maii. Roma, 1973, p. 13, 50.
Olivar A. L'image du soleil non souillé dans la littérature patristique. — Didascalia, vol. V, Lisboa, 1975, p. 3—20.
Rech Ph. Inbild des Kosmos. Eine Symbolik der Schöpfung. 2. Bd. Salzburg, 1966, S. 98.
Reypens L. Ame (structure). — In: Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, t. 1. Paris, 1937, c. 436.
Schöne A. Über Goethes Wolkenlehre. — Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, 1968. Göttingen, 1969, S. 31.
Stuiber A. Christusepitheta. — Reallexikon für Antike und Christentum, hg. von Th. Klauser. 3. Bd. Stuttgart, 1957, Sp. 24—29.
Wald E. T. de. The Illustrations of the Utrecht Psalter. Princeton, 1932, Tf. 16.

ИРЯ
институт русского языка
им. в. в. виноградова

СОДЕРЖАНИЕ

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОВ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Н. Д. Арутюнова. Тождество или подобие? 3
Б. З. Лобачев. О категориях эго- и альтерэгоцентризма 23
М. А. Пробст. Две естественные звуковые системы сигнализации как системы моделирования 38
Б. В. Сухотин. Классификации и смысл 52
Я. Я. Шаламов и др. Статистическая обработка словарей как метод исследования языка 66

СЛОВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ

П. А. Соболева. Трансформационные поля аппликативной порождающей грамматики и моделирование сложных слов . . 83
И. В. Альтман. Отглагольные гнезда. Типология и семантика. III 96
Е. В. Красильникова. Некоторые проблемы изучения морфологии русской разговорной речи 107
Л. Н. Булатова. Еще о грамматическом статусе категории числа существительных в русском языке 120
А. К. Поливанова. Выбор числовых форм существительных в русском языке 130
Г. А. Смирнова. Особенности фонологической и морфонологической структуры несклоняемых существительных. II 145
Л. И. Василевская. Синтаксические возможности имени собственного (метонимический перенос у антропонимов) 156
Л. А. Месеняшина. Синтаксические свойства глаголов, образующих видовые пары 166
Ю. А. Левицкий. О грамматической форме сложного предложения. 172

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. СТИХОВЕДЕНИЕ

М. Л. Гаспаров. «Спи, младенец мой прекрасный»: семантический ореол разновидности хореического размера 181
Н. А. Кожевникова. О звуковой организации прозы А. Белого 197
С. Н. Шепелева. Некоторые закономерности эволюции русской рифмы. XX век. 212
О. Г. Ревзина. Из лингвистической поэтики (деепричастия в поэтическом языке М. Цветаевой) 220
Е. Ю. Кукушкина. Синтаксический повтор в лирике А. Блока 233
В. В. Краснянский. Повторяющиеся образные сочетания в художественной речи (эпитет И. А. Бунина) 244
О. А. Кузьменко. Семантическая организация стихотворения Ф. И. Тютчева «Весенняя гроза» 256
М. Ф. Мурьянов. Золото в лазури 265

ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
1981

Утверждено к печати
Институтом русского языка
АН СССР

Редактор издательства Г. Н. Коросо
Художественный редактор Т. П. Поленова
Технический редактор В. Д. Прилепская
Корректор Г. Н. Лащ

ИБ № 26770

Сдано в набор 14.10.82
Подписано к печати 18.03.83
Формат 60 × 90¹/₁₆
Бумага типографская № 1
Гарнитура обыкновенная новая
Печать высокая
Усл. печ. л. 17,5. Усл.-кр. отт. 17,5
Уч.-изд. л. 19,8. Тираж 2550 экз. Тип. зак. 1885
Цена 2 р. 30 к.

Издательство «Наука»
117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12



"Книга-почтой"
Центральной к[illegible]торы "Академкнига"
117192 Москва, Мичуринский проспект, 12

Уважаемый товарищ!

Предлагаем Вашему вниманию книги издательства "Наука":

Бобылев П.Н. На защите Советской республики. (Страницы истории нашей Родины). 1981.149с. 55к.
Заказ ...

Валецкая Э.Б. Сказы о древних курганах. (Страницы истории нашей Родины). 1981.112с. 40к.
Заказ ...

Кудрявцев А.А. Древний Дербент. (Страницы истории нашей Родины). 1982. 170с. 65к.
Заказ ...

Ловинская Л.Я. Во главе двух академий. Изд. 2-е, испр.и доп. (Страницы истории нашей Родины). 1983. 139с. 50к.
Заказ ...

АКАДЕМИК
Нечкина М.В. Декабристы. Изд.2-е, испр.и доп. (Страницы истории нашей Родины). 1982.181с. 65к.
Заказ ...